



ПЕТР
ПОЛЕЖАЕВ

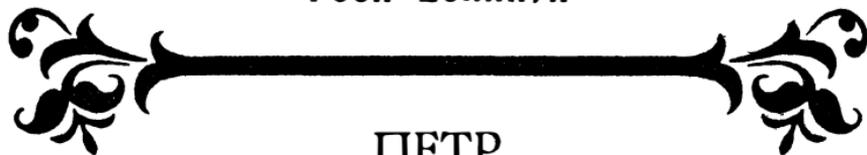


ГОСУДАРЯ
РУСИ ВОСПИКАЯ

ПЕТР
ПОЛЕЖАЕВ

ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЙ



ПЕТР
ПОЛЕЖАЕВ



ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

Исторический роман

Москва
«Современник»
1994

Серия основана в 1991 году

Ответственный редактор серии *В. А. Серганова*

Текст печатается по изданию:
Полежаев П. Царевич Алексей Петрович:
Исторический роман. Спб., 1885

Генеалогические древа и годы княжений и царствований на форзаце даются по «Иллюстрированной хронологии истории Российского государства в портретах» (Спб., 1909)

Полежаев П. В.
П49 Царевич Алексей Петрович: Исторический роман.— М.: Современник, 1994.— 336 с.— (Государь Руси Великой).

ISBN 5—270—01846—2

Имя и книги Петра Васильевича Полежаева были широко известны в дореволюционное время. Автор многих интереснейших романов, легко читаемых, он изумительно описал эпохи царевны Софьи, Петра I, Анны Иоанновны.

Книга, которую сейчас читатель держит в руках, по праву получила свое второе рождение. В ней очень подробно, талантливо и толково рассказывается о весьма темной и неоднозначной странице русской истории — о судьбе сына Петра I от первого брака, царевича Алексея, полной глубокого трагизма и скорби, о его странных и противоестественных на первый взгляд отношениях с царем-государем.

П 4702010101—048
М106(03)—94 Без объявл.

ББК 84 Р1

ISBN 5—270—01846—2

© Издательство «Современник»,
подготовка текста, 1994
© Б. Чупрыгин, оформление, 1994



Часть первая

ДО ПОБЕГА

I

— Пошто стал, Иваша, ухнем!

— Погоди ухать-то, дядя Кузьмич, моченьки моей нет, зазяб, вишь, как частит в чертовом болоте!

— А за погоди, ты огреет дубиночкой осударь, как увидит: в три дня, почитай, и пяти венцов не нарубили!

Перекидывались между собою дядя Кузьмич и племянш Иваша, плотники из одной казенной вотчины, почему-то не попавшие в рекруты и пригнанные в числе многих тысяч рабочих на постройку быстро воздвигавшегося Петербурга.

— И место-то нам, братцы, досталось что ни есть самое анафемское, магазю рубить на самом тычке; куда ни выйдет осударь, прямо на нас,— жаловался один из товарищей Кузьмича и Иваши.

— Известно, самое окаянное,— одобрительно отозвался еще голос из толпы,— только и льготы, как он занедужит.

— А в сам деле, братцы, видно, занедужил, не видать...— заметил дядя Кузьмич, перекидывая топор в левую руку, а правую отирая насевший на нос плотный шлепок грязи.

— Шибко, сказывают, занедужил, да и как тут устоишь?

Устоять действительно было трудно. Болотистая почва и вечный осенний приморский туман разрушительно влияли на рабочих, большей частью уроженцев внутренних губерний, из местностей совершенно иных климатических условий. Летом еще кое-как перемогался серый люд, но с наступлением осенней непогоды от холодной, проникающей насквозь сырости он валился огульно, удобряя потом, кровью и костями завоеванное побережье и оставляя на родине обездоленные семьи. Но зато Петербург рос, как сказочный богатырь, не по дням, а по часам. В несколько лет оба берега Невы, при впадении ее в залив, почти совершенно застроились более или менее обширными домами казенных мест и лиц, приближенных к царю.

В большинстве постройки были деревянные, самых разнообразных архитектур, по преимуществу голландской, любимой государем, более пригодной к местности и к преобладающему характеру гостей из Голландии, но нередко встречались и каменные палаты с колоннами, фронтонами и венецианскими окнами. Все приближенные государя, зная, как он дорого ценит приобретенное мозольными трудами побережье, как страстно желает скорее сделать из пустынного болота столицу, спешили, наперерыв друг перед другом, отличиться, спешили обстроиться по красивее, чтобы их усердие бросилось в глаза. Прежде всех построек на обоих берегах, почти напротив, соорудились две крепости: Петропавловская и Адмиралтейская, грозно смотревшие жерлами пушек на плескавшиеся волны и готовые дружно встретить незваных гостей, а за этими крепостями, отступя на площадь, полукругом обозначились улицы и будущая Невская перспектива — по плану, начертанному самим царем.

Топор и заступ малоросса, мордвина и финна быстро истребляли мешавшие деревья и очищали местность, проводя в разных направлениях каналы для осушки. На каждом шагу громоздились привезенные и добытые на месте материалы, кучи щебня, глыбы камня и гранита, бунты строевого и мачтового леса; везде работа кипела с лихорадочной деятельностью. Да и как было не кипеть работе, когда сам государь то с саженью, то с аршином, то с топором или каким-нибудь другим инструментом появлялся неожиданно-негаданно в разных местах, осматривая все сам, ободрял, учил, а подчас и погонял дубинкой ленивых.

В страстном увлечении и неудержимом стремлении все создать скорее, все выполнить так, как рисовалось в беспрерывно творящем мозгу, государь не щадил и не соразмерял сил ни своих, ни других. И под тяжестью такой работы даже его силы стали изменять: как ни крепок был его организм, от природы железный и в сталь закаленный с физических трудов, но и он, когда ему минуло за сорок лет, от неутомимой нервной деятельности и разрушительных влияний природы стал подламываться все чаще и чаще, подвергаясь различным недугам и немощам.

В первых числах октября 1716 года царь Петр Алексеевич, пробыв весь день под дождем на резком ветру, простудился и слег в постель. Болезнь казалась не серьезной, с обыкновенными признаками простуды, ознобом, сменявшимся периодами сильного жара, доходившего до бреда, но, однако ж, следовавшие за тем и неизвестные прежде слабость и утомление настоятельно требовали отдыха.

Несколько дней лежит государь, раскинувшись гигантскими членами, на постели в одной из низеньких комнат карточного домика на Петербургской стороне, словно в клетке, и кажется ему, что все остановилось, что без его глаз или не делается ничего, или делается совсем не так, как он задумал. Сильно негодует государь на своего протомедикуса; вместо того чтобы дать зараз какого-нибудь зелья в дозе, способной за один прием сломить болезнь, кропотливый немец только тянет каплями да ложечками через час или два. До капель ли или ложечек, когда дело идет о крупных вопросах, от которых зависит вся будущая судьба миллионов народа! Как нарочно подкралась болезнь в самое недосужное время: скоро зима, конец строительным работам, сделано мало, далеко не столько, сколько надобно, а потом, кроме этих дел, у себя, в своем собственном семействе, не менее грызущая забота.

Быстро сменяющиеся пароксизмы лихорадки вместе с тяжелыми ощущениями изнеможения вызывали в воспаленном мозгу вопросы, прежде никогда не задававшиеся, о том — не сделано ли им самим страшной ошибки, верны ли все его расчеты и прочно ли все, что им сделано? Трудов положено много, вся жизнь в мозольной работе, а будут ли иметь плоды эти труды; не пойдет ли все им созданное прахом, когда прахом сделается и он сам; где продолжатели его мысли и наследники его деятельности? Самый естественный преемник — сын, но на него-то

именно и плохая надежда, он заодно с попами, которые только и ждут его смерти — поворотить все по-старому. Да надежны ли и самые птенцы его из старинных родов, как будто привившиеся к новому, но еще не окрепшие и не устойчивые? Тяжело становится гиганту-государю, мечется он по жесткому ложу, тоскливо прислушивается к однообразному стуку маятника, считает эти звуки, и кажутся они ему все громче и громче, все яснее напоминающими, как все непрочно: и сам он, и все его дела. Тоскливо прислушивается он к мелкой дробь неустанного дождя, залепившего узкие оконные переплеты, и как будто чувствует, что там, из-за угла, несколько десятков пар любопытных глаз не сводятся с этих переплетов с робкой опаской: как бы не появился грозный вдруг на крылечке и не захватил бы их врасплох.

Скрипнула дверь, в убогую спальню царя вошла женщина лет около тридцати, красивая, с голубыми, ласково улыбающимися глазами, довольно стройная, несмотря на очень заметную полноту.

— Что, Катя, здесь Данилыч?— живо опросил государь, с видимым удовольствием смотря на свою Катеринушку.

— Не пришел еще, а вот князь-игуменья присылала гонца, да я боялась потревожить, как будто заснул,— отвечала Катеринушка тем ровным, приятным голосом, который так нравился государю и которым она так умела успокаивать его в минуты даже самых громовых вспышек.

— Что там?

— Поздравляю. Утром невестка-кронпринцесса разрешилась... С полуночи, часов пять, сказывают, страдала.

— Какой персоной?— и государь, порывисто приподнявшись, сел на кровати.

— Сыном...

Царь перекрестился широким взмахом и в то же мгновение, не успев еще узнать о здоровье невестки и новорожденного, он тотчас же решил весь план воспитания, как взрастить внука в полном удалении от бабушки и прочих недоброжелательных глаз, как он отдаст его на обучение умному и образованному иностранцу и как потом... со временем... передаст ему, а не сыну тяжелое бремя.

В это время в спальню вошел с объемистым свертком в руках давно ожидаемый Данилыч, светлейший князь Меншиков, первый любимец и интимный товарищ госу-

даря. Несмотря на ранний час, светлейший уже успел просмотреть доставленные ему из военной канцелярии доклады и исправить их сообразно с желаниями царя.

— Здравствуй, Данилыч,— оборотился к вошедшему государь, заметно обрадовавшийся,— слышал?

— Ничего не знаю, ваше величество,— невозмутимо отвечал Меншиков, сообразивший почему-то за лучшее умолчать о том, что он почти с час тихо беседовал об этой новости в соседней комнатке с Катериной Алексеевной.

— Наша возлюбленная кронпринцесса, сестра цесаревны римской, подарила нас внуком, будущим наследником,— с видимым удовольствием сообщил новость государь.

— Филиситую, ваше величество, с сею первою приятнейшею новостью и желаю такого же благополучного совершения и в предстоящем...— и, не договорив фразы, светлейший указал глазами на полноту Катерины Алексеевны.

Государь задумался.

Дворец царевича Алексея Петровича, построенный не более как за три года назад, такой же голландской архитектуры, как и домик отца, но гораздо обширнее, находился на левом берегу Невы между дворцов — с правой стороны сестры царя, а царевичевой тетки, княжны Натальи Алексеевны (ныне церковь Божией Матери Всех Скорбящих), а с левой стороны царицы Марфы Матвеевны, где помещалась впоследствии придворная шпалерная мануфактура. К небольшому крыльцу с резными колонками и узорочным фронтоном пятнадцатого октября утром, при первом рассвете, подъезжали разного вида экипажи лиц придворного штата молодого двора. В разосланной накануне повестке было оповещено, что это утро кронпринцесса назначила для приема поздравлений по случаю рождения сына великого князя Петра. В низенькой, но обширной зале толпились в парадных кафтанах придворные чины, между которыми особенно выделялись: обергофмейстер барон Шлейниц, камергер маршал Биберштейн, камер-юнкер Будберг, придворная дама гофмейстера Сантиллер и придворные фрейлины Росгартен и Левенвольд.

Все ожидали, посматривая с нетерпением на запертые двери во внутренние апартаменты, из которых должно было появиться церемониальное приглашение каждому

предстать по очереди к высокой родильнице. Но к общему изумлению, вместо приглашений в широко распахнутых дверях показалась процессия. Впереди, с официальной напыщенностью и в полном сознании своей важности, выступала утиным перевальцем бабушка Кестиера, полная, чопорная немка, поворачивавшая своим длинным носом, как рулем, на обе стороны. За бабушкой четверо дюжих гайдуков несли широкое откидное кресло, на котором полулежала кронпринцесса; за креслом следовали: родственница и друг кронпринцессы Шарлотты принцесса Луиза Юлия фон Ост-Фрисланд и тайный секретарь Кливер, а за ними замыкали шествие оба доктора, Лозе и Виль. Гайдуки бережно опустили кресло в приемной, и затем началась церемония поздравлений с целованием руки кронпринцессы.

Странный вид представлял этот маленький русский двор наследницы русского престола, при котором не состояло ни одного русского лица. Только в последние дни беременности кронпринцессу окружали русские дамы: жена канцлера графа Головкина, генеральша Брюс и князь-игуменья Ржевская, но и они после рождения принца как исполнившие поручение царя тотчас же удалились. Не у места чувствовали себя русские барыни в немецкой семье русского двора, недаром же князь-игуменья писала к государю, получив поручение присутствовать при родах: «Рада служить от сердца моего, как умею, только от великих куплиментов, и от приседания хвоста, и от немецких яств глаза смутились».

Кронпринцесса, сверх всякого ожидания, в первые дни после родов чувствовала себя совершенно здоровой, а между тем недобрые признаки последней беременности сильно беспокоили докторов и всех ее окружающих. Кронпринцесса испытывала тяжелую ношу, а в последнее время к обыкновенным болезненным явлениям присоединился еще случайный недуг. На седьмом месяце, поднимаясь по лестнице после прогулки, она споткнулась, упала и сильно ударилась левым боком о ступеньку. В то мгновение она не ощутила никакой боли, сама посмеялась над своей неловкостью и успокоила очень встревожившуюся принцессу Фрисландскую, но в последующие дни появились в левом боку сначала редкие и слабые, а потом частые и острые боли. Вскоре к этим болям присоединились лихорадка, потеря аппетита, неутолимая жажда, истощение и, наконец, слабость до невозможности выходить из комнаты.

— Всю меня как будто колят булавками,— постоянно она жаловалась медикам.

Доктора делали свое дело, говорили между собою латинские слова, глубокомысленно хмурили брови, покачивали головами, прописывали лекарства, устраивали ванны, пускали даже кровь, но от всех этих мер положение кронпринцессы не облегчалось.

К несчастью, с физическим страданием соединилось и нравственное горе. Отрыв от родной семьи, от баловника дедушки, от серьезной, умной матери и милых сестер, от той среды, где она выросла и к которой стремилась всеми фибрами своего существа, от того воздуха, которым, казалось, так легко дышится, замкнутость в каком-то болоте, в странной семье, где чувствовала себя чужою, зависимость от страшного человека, о котором ходили такие странные неестественные истории,— все это не могло не влиять на хрупкую природу молодой женщины. Если бы еще в муже она нашла друга, сочувствующего ей, понявшего ее положение, сумевшего дружно повести ее по новой дороге, разделить с ней ее тревоги, сроднить ее с новой средой, может быть, она бы увидела и другие, более привлекательные стороны своей жизни, нашла бы интерес, смысл и цель; от туманных идеалов девичества незаметно бы перешла к практической деятельности, которою, казалось, были заражены все эти грозные лица — гиганта-отца и его приближенных; но этот муж, о котором мечтало ее девическое сердце, оказался далеко не подходящим к ее идеалу мужа, друга и любовника.

С первых дней брачного сожителства между супругами началось разочарование. Кронпринцесса совершенно замкнулась в новой столице, в действительности вовсе не похожей на ее прежнюю родную столицу, а на какую-то грязную, вечно грохочущую фабрику. Мудрено ли поэтому что, принужденная жить среди чуждых ей людей, она, оторвавшись от своего народа, замкнулась в тесном интимном кругу близких людей, приехавших с нею. Муж не хотел знать этого интимного кружка — у него был свой, которого жена не понимала и не могла понять. Муж редко и виделся с женою. Да и свидания не имели той теплоты, которая так желательна и необходима между супругами-друзьями

В грустном одиночестве кронпринцесса сердечно привязалась к приехавшей с ней подруге, принцессе Ост-Фрисландской. С ней говорила она совершенно свободно

обо всем, ничего не утаивая, ей передавала жалобы на свое несчастное положение, с ней утешалась воспоминаниями одинаково проведенного детства. По целым часам упивались они мелочными напоминаниями друг другу ничего не значащих случаев из милого прошлого, вдруг получившего для них необыкновенную привлекательность. В их воображении поочередно рисовались то лица воспитателей и воспитательниц, в особенности часто одного смешного старичка, знаменитого философа и историка всегда начинавшего свои глубокомысленные беседы, верно, одним и тем же: «Итак, мой господин», хотя никакого господина не присутствовало, и при этом так смешно поднимавшего круглые большие очки с горбатого носа на четырехугольный лоб, то рисовался этот милый парк, в который они, детьми, так любили прятаться от строго наблюдавших глаз придворных аргусов* и в котором они потом, в мечтательные годы юности, так любили прислушиваться к таинственному шепоту листвы, говорившей им новые речи. О, этот парк сделался их излюбленной беседой, в нем теперь они открывали новые очаровательные виды, хотя на эти виды они тогда не обращали никакого внимания. Не раз в этих интимных беседах произносилось и имя Плейница, молодого придворного, у которого были такие милые, добродушно-веселые голубые глаза, с такою почти-тельною нежностью всегда смотревшие на Шарлотту. При этом имени очаровательного Плейница и теперь каждый раз кронпринцесса целомудренно краснела, с тихим вздохом опуская серенькие глазки.

В один из таких вечеров, перед несчастным ушибом на лестнице, принцесса Ост-Фрисландская таинственно передала другу ужасную новость, случайно подслушанную ею из разговора придворных, о неверности царевича. Говорили, будто он, шептала принцесса, имеет преступные отношения с какой-то рабой своего учителя, Афросиньей, и что будто бы это не без участия нечистой силы. Шарлотта уже несколько не любила мужа, а между тем новость поразила ее как самую нежно любящую жену. Может быть, немалую роль играло в болезненном ощущении и оскорбленное самолюбие, предпочтение ей, кронпринцессе такого высокого дома, и кого же? Какой-то рабы. С тех пор кронпринцесса еще больше стала страдать.

И вдруг все эти страдания, физические и нравственные

* бдительный, неусыпный страж (Прим. ред.)

точно волшебством исчезли вместе с рождением сына. Небыкновенно легко и радостно почувствовала она себя, будто никогда и не было ни этих томящих пароксизмов, ни этого тяжелого супружеского горя, точно будто началась новая жизнь, искупленная для счастья минувшим горем. Перед могучим голосом чувства матери замолкли все другие голоса. Все улыбнулось ей, и даже царевич Алексей Петрович, обрадованный ли появлением на свет своего произведения или просто под впечатлением тяжких страданий, вынесенных молодой матерью, в первые дни почти не отходит от постели жены, стараясь всячески угодить ей. Так счастливо провела мать первые три дня.

На четвертый день по обычаю следовало принести поздравления от всех придворных чинов, состоявших при молодом дворе, но вместо допущения их во внутренние покои кронпринцесса пожелала выйти в приемную сама. Напрасно отговаривали ее доктора Лозе и Виль, она упрямо стояла на своем, ссылаясь на совершенное здоровье; доктора могли настоять только на одном, чтобы кронпринцесса не выходила, а была бы перенесена на кресле.

В приемной кронпринцессу окружили: с одной стороны принцесса Ост-Фрисландская с бабушкой Кестнерой, а с другой — доктора и тайн-секретарь Кливер. Кронпринцесса казалась чрезвычайно веселой и с необыкновенной приветливостью обращалась к каждому, спрашивая с участием о нем, о его семье и о тех родственниках, которые оставались на родине и которых почти всех она лично знала. Ее не смущало даже и то, что в такое счастливое время не было самого виновника счастья, — где был царевич, куда и зачем он скрылся, никто не знал. Сама принцесса Ост-Фрисландская на вопросы друга с какою-то нерешительностью высказала предположение: не потребовал ли сына к себе больной государь.

Это были последние счастливые дни кронпринцессы. Во время приема уже она почувствовала себя дурно. Сначала появилось в левом боку незначительное колотье, которое вскоре повторилось сильнее, и, наконец, боли стали повторяться все чаще и чувствительнее. Доктора, заметив появившееся на лице страдальческое выражение, поторопились унести больную в спальню, откуда ей не суждено было более выходить. К постепенно усиливающимся колотьям присоединился еще недобрый признак: пульс сделался частым, слабым и порывистым. Доктора прописали

успокоительную микстуру, но больная все-таки провела тревожную и бессонную ночь. На другой день болезненные явления не только не уменьшились, а, напротив, несмотря на все предпринимаемые меры, усиливались быстро и настойчиво. Внутреннее горячее состояние вызывало неутолимую жажду, а вместе с тем на похолодевших оконечностях показался обильный холодный пот; к вечеру появились конвульсии, сначала слабые и редкие, а потом почти непрерывные и страшно ломавшие все хрупкое тело. Доктора встревожились, потребовали консилиума и дали знать царю о серьезном положении невестки.

Собрался консилиум, в котором приняли участие все тогдашние врачебные светила: протомедикус Арескин, два Блументроста — Деодат и Лаврентий, Георгий Поликалы и пользовавшие больную Лозе и Виль; при совещаниях присутствовал и присланный больным, еще не выходящим из комнат царем Данилыч Меньшиков. Все консультанты при небольшой розни во взглядах были согласны в одном — в безнадежном положении больной.

Прошло пять дней.

Молодая жизнь видимо угасала. Ночь после консилиума кронпринцесса провела несколько покойнее, конвульсии ослабели, и сон как будто освежил силы. В шесть часов утра больная проснулась и тотчас же приказала позвать к себе преданного ей барона Левенвольда.

— Смерть моя близка... знаю это и не боюсь...— едва слышно обратилась кронпринцесса к вошедшему Левенвольду,— я готова явиться к суду Всевышнего и только желала бы передать вам мою последнюю волю.

— Бог всемогущ, ваше высочество,— утешал барон Левенвольд,— и положение вашего здоровья не в безнадежном состоянии.

— Не обманывайтесь,— с оживлением перебила его кронпринцесса,— надежды нет никакой... чувствую смерть во всех членах и не жалею о жизни... Зачем?.. Царский дом обеспечился наследником... его жизнь я оплачиваю своею... Я была бы счастлива, если б Господь благословил меня самой воспитать детей, но Ему не угодно, и я повинуюсь Его святой воле без ропота.

— Меня успокоивает обещание принцессы Ост-Фрисландской вполне заменить меня моему ребенку. если государь согласится... Не правда ли?. Так?. Повтори, мой друг, свое обещание перед бароном,— продолжала умирающая, обращаясь к принцессе.

В знак согласия принцесса наклонила голову, стараясь скрыть выкатившиеся слезы и боясь голосом выдать свое отчаяние.

— Если же она забудет свое обещание,— начала снова кронпринцесса, отдохнув несколько минут,— тогда, барон, напомните ей.. Успокойте меня.. Дайте мне ваши руки...

Барон и принцесса исполнили ее желание.

— А если государь не согласится и назначит воспитывать моего сына кого другого, тогда, барон, свято исполните мою последнюю просьбу, отвезите принцессу сами.. непременно сами.. к матушке или к брату.. Помните, что она была для меня родной сестрою, что она поехала со мной сюда против желания родных и друзей... Прошу вас, барон, как честного человека и верного друга, помогите ей советом и делом, почитайте ее как сестру, как дочь.. А ты, милая моя,— обратилась она к принцессе, почитай барона как отца и верного друга. Вы исполните, добрый друг, волю умирающей? Не так ли?

Но барон, видимо, колебался. Честный и искренно преданный кронпринцессе, он боялся связать себя словом, исполнение которого зависело не от него одного.

— Вы знаете, ваше высочество, я рад... готов выполнить каждое ваше поручение,— уверял он, едва удерживаясь от душивших его рыданий,— но... знаете.. я не могу располагать собою..

— Знаю, барон, но государь милостив... Он не откажет если вы передадите ему просьбу умирающей. Обещаете вы?.. Дайте руку...

Барон подал руку; больная последним усилием сжала ее, видимо успокаиваясь и отдыхая

— Мне горько не проститься лично с государем и не поблагодарить за все его милости.. Он болен сам, а то, верно, навестил бы меня.. Передайте ему, барон, вот это письмо.. мои последние слова.. и все.. все, что от меня слышали.. Скажите, что я его благодарю.. желаю ему счастья.. благополучия..

Умирающая говорила отрывисто, с заметным усилием выговаривая каждое слово, но с полным сознанием и в ясной памяти. Утомившись, она закрыла глаза и, по-видимому, заснула.

Прошло несколько минут Больная дышала тихо и слабо, но спокойно. Потом вдруг она вскинула голову и стала

говорить порывисто, как будто спеша наговориться, высказать все, что было на душе:

— Обо мне много было вымыслов... сплетен... пожалуй, припишут мою смерть несчастной жизни и горю... Напишите, барон, моим родным, что это неправда... что я умираю по болезни.. что я всегда была довольна милостями государя и государыни... Выполнено больше, чем было в контракте...

Кронпринцесса остановилась. От внутреннего жара с пересохших губ вылетали отрывистые, несвязные слова, которых расслышать было почти невозможно. Принцесса Ост-Фрисландская подала ей питье, которого больная проглотила несколько капель.

— Напишите же, барон, моим,— начала она снова,— что государь не был при моей смерти по своей болезни, но что он присылал всех своих докторов... и Меншикова... приказывал употребить все старания спасти меня... Делали все, что могли... До последней минуты от государя я видела любовь и попечение... Это меня утешает... Отпишите матушке и сестре, римской цесареве, мою последнюю волю, чтоб они употребили все силы сохранить дружбу между государем и римским цесарем... От этого будет польза моим детям... Успокойте герцогиню Брауншвейгскую и князя Ост-Фрисландского насчет принцессы... Напишите, что она будет пользоваться милостями государя... вверена вашему попечению...

Продолжительная речь истощила последние силы, и умирающая, казалось, забылась, только по временам еще шевелились бескровные губы.

— Теперь у меня на сердце ничего нет... все сказала... Буду готовиться явиться к Господу... Прощайте, барон...

Левенвольд, несколько раз поцеловав с глубоким чувством протянутую руку, на которую скатилась не одна его слеза, тихо удалился из спальни, а принцесса Ост-Фрисландская, опустившись на колени у постели умирающей, старалась заглушить рыдания.

Но на сердце у кронпринцессы не все еще умерло; земные цепи все еще цеплялись за угасавшую жизнь.

Прошел час глубокого молчания.

— Мой бедный друг, не плачь... Я надеюсь на милость Божью.. Мне будет там лучше,— шептала она, но потом вдруг, как-то испуганно и широко открыв глаза, громко заговорила:

— Где муж? Где он?

— Он сейчас здесь будет... я поз...

— Не нужно... не нужно... пусть там.. остается.. жаль его. Он погибнет.. Ах, бедный сын мой!.. Дайте его скорее.. скорей...

II

В числе придворного штата, собиравшегося для поздравления кронпринцессы, не было ни собственного придворного штата царевича, ни его самого. Это утро Алексей Петрович, по обыкновению, проводил у воспитателя своего, князя Никифора Вяземского, куда притягивала его не привязанность к хозяину, которого царевич не мог уважать, которого подчас ругал и бивал, а другое сильное чувство: у князя жила его крепостная девушка, Афросинья Федорова. С полгода назад царевич в первый раз увидал эту девушку, и с тех пор видеться с нею и любоваться ею сделалось для него необходимой потребностью.

Раз, в один из пасмурных весенних дней 1715 года, царевич Алексей Петрович, обойдя по поручению отца производившиеся работы по устройству задуманного канала, зашел к своему учителю и воспитателю отдохнуть, выпить чарочку водки и отвести душу жалобами на притеснения отца, на его непосидчивый нрав, требовавший от других таких же мозольных трудов; кстати, дом князя Никифора Кондратьевича как раз приходился на перепутье.

— С Богом затеял спорить отец, из болота творит столицу, словно гадам каким, — ворчал царевич неровным голосом, садясь на диван, перед которым стоял круглый стол, отдуваясь и отирая со лба обильный пот, выступивший от непривычной, долгой ходьбы.

Алексею Петровичу пошел двадцать шестой год, но этих лет ему трудно было дать по тонкости линий и нервности, придававших всей его фигуре вид не вполне еще окрепшего организма. Довольно высокий, широкий лоб обрамлялся по моде того времени локонами, спускавшимися на узкие, еще как будто не сложившиеся плечи, бледный до прозрачности цвет лица и в особенности какое-то пугливое выражение больших темных глаз, почти постоянно полуопущенных, наводили на предположение или о задатках болезненности, или о неудавшейся жизни. Наружностью, казалось, он не походил ни на кого из родных, но

вместе с тем напоминал многих: некоторые черты, в особенности медленность манер, напоминали дедушку, тишайшего царя Алексея Михайловича; другие, как например, обрисовка линий рта, мать Авдотью Федоровну и дядю Абрама Федоровича; всего же менее сходства замечалось с отцом.

Учитель царевича, князь Никифор Вяземский, принадлежал к типу людей, выдвинутых временем и обстоятельствами, у которых под немецким кафтаном прятались русская смышленость, лукавство и так называемое себе на уме.

— Бывал я и в иноземных державствах, а нигде не видал, чтобы на таких трясилах хоромы строили,— продолжал Алексей Петрович.

— Мало ль каких городов на свете,— уклончиво отозвался учитель,— вот город, Венецией прозывается, весь на воде построен, вместо улиц каналы, вместо лошадей на яликах переезжают. У каждого города своя фортеция.

— Там совсем иное дело, Никифор, а ты скажи мне: зачем нам-то забиваться в трущобу? Разве мало места? Чем дурна наша Москва?

— Как зачем? Приморское место, разные альянсы и негоциации можно чинить с другими державами, корабли будут приходить.

— Да разве нет других морей? А здесь и место-то неподходящее... зимою лед, летом туманы, что зги не видно, берег — трясина.

— Захочет государь, так и трясины не будет,— не то с иронией, не то с убеждением заметил князь Никифор.

— Не будет?! Не от себя говоришь, Никифор, разве можно с Богом спорить? По гордости это отец, а гордым Бог противится и рога надменным сокрушает. Ну выстроится город, а Бог пошлет волну и потопит все это творение гордыни человеческой.

— И против потопства свое средство есть. Сам же ты, царевич, осматривал работы на каналах; они лишнюю воду восприимут и трясины осушат. Государь, что захочет все сделает, только потеря будет большая в людишках мрут они, бедные, здесь, а дома дети плачут... Оно, конечно, есть и другие места, больше сподручные,— как будто невольно и раздумчиво проговорил князь Никифор.

— Да отец разве смотрит на людишек, ему бы только свою волю творить... Вот хоть бы со мною: захотел сделать меня воином и ломает... Ну подумай сам: какой я воитель?

Слабый человек, немощной, видеть не могу пролитой крови, с дрожью и на мушкет-то смотрю, а он хочет, чтобы я произошел всю эту воинскую премудрость — как можно больше людей убивать. Вот я и показываю личину, будто слушаюсь, а на уме совсем другое. Провести ведь и его можно. В позапрошлом году, когда я воротился из чужих земель, отец спрашивает, обучался ли я фортификационным чертежам, отвечаю: как же, мол, довольно обучен. Он приказал мне принести чертежи. Хорошо, что у меня валялись чертежи иноземных учителей — я и приношу. Посмотрел он на них, потом пристально на меня. «Твой ли?» — спрашивает. «Мой», — отвечаю. Апробовал «Большой», — говорит, — приобрел ты авантаж, а ну-ка начертай мне вот тут, при мне...» Пошел я будто за инструментами и думаю, как быть? И придумал. Как вошел я в свою камеру, взял пистоль да и пальнул в свою правую руку, пулька пролетела мимо, а руку изрядно ожгло. Потом отыскал угломер, линейку, бумагу, прочее что нужно и иду к отцу. Пришел, разложил все на столе в порядке и начал будто бы приловчаться через силу, а руку-то и взаправду так и задергало, хоть впору кричать. Заметил это отец и спрашивает: «Что это у тебя с рукой-то?» — «В цель, — отвечаю, — палил, так порохом охватило». — «Похвально, — говорит, — в стрельбе упражняться, только во всем потребна сноровка, покажи-ка руку-то», а сам посмотрел на меня так пронзительно, словно в душу, в самый-то тайник залезает. Показываю. Посмотрел и засмеялся. «Недавно, видно, палил, — говорит, — успеешь еще мне фортецию начертить». На мое счастье, и прибеги дочурка его, Лизок, кричит: «Дай пятак!» Отец любит ее, играет все с ней, взял ее на руки и начал качать кверху, приговаривая: «Видна ли Москва?» — «Не вижу, — пищит девчонка, — выше!» Государь подбрасывает еще выше, а та так и заливается, хохочет, отец и забыл про меня. Этим временем вошел денщик. «Ну, Лиза, теперь мне недосуг, — говорит отец, — пошла прочь к матери, да и ты поди, — оборотился он ко мне, — в другой раз начертаешь». Рука потом разболелась: волдыри натянуло, почитай, во всю ладонь, долго тогда маялся, а когда выздоровел, государь уж уехал в чужие края. Так и прошло... Эх... Никифор, Никифор, (дал бы ты мне водочки!

— Сейчас, сейчас, — заторопился учитель, — какой прикажешь, царской, что ль, анисовки?

— Какой хочешь, только не анисовки, терпеть ее не могу

Вяземский вышел и через минуту воротился, а за ним вошла девушка с подносом, на котором были поставлены графин с водкой, объемистые рюмки и ломти черного хлеба с солью.

Наливая рюмку, Алексей Петрович вскинул глаза на девушку и, встретив ее взгляд, смутился, покраснел и пролил водку на поднос.

— Хорошая примета, царевич. Когда в счастье будешь, вспомни об нас,— проговорил, улыбаясь, учитель, заметивший смущение Алексея Петровича, который в то время, неловко установив рюмку на поднос, круто солил хлеб. Молодой человек искоса любовался зардевшимся лицом девушки, потупившей свои большие голубые глаза.

— А вот мы так не прольем драгоценной влаги,— продолжал Вяземский, осушая в свою очередь рюмку и устанавливая поднос на столе.

Девушка вышла.

— У тебя новая прислуга, Никифор, откуда добыл?— спросил Алексей Петрович.

— Своя, государь-царевич, крепостная. На днях привезли из вотчины двух: брата — полонного человека и сестру.

— А как прозывают?— продолжал любопытствовать царевич.

— Его-то Ванькой Федоровым, а ее Афроськой. Чего доброго, не приглянулась ли она тебе, государь?

Царевич проворчал что-то себе под нос и, выпив еще рюмочку-другую водки, стал собираться.

Провожая гостя, Никифор Кондратьевич вспомнил, что до сих пор не спросил о здоровье кронпринцессы, как того требовало придворное учтивство.

— Все то же,— коротко оборвал царевич, махнув рукой.

Весенняя погода между тем выяснилась, и жгучие лучи, ярко обливая роскошно распутившуюся зелень, придавали даже неприглядной местности живописную окраску.

Выходя на улицу, царевич увидел Афросинью, стоящую у воротного столба дома Вяземского. Теперь, без свидетелей, он сделался несколько решительнее и прямо взглянул в лицо девушки. Афросинья тоже в свою очередь оказалась смелее, не опустила глаз, а, напротив, зарумянившись маковым цветом, окинула его ласковым женским взглядом. Алексей Петрович, проходя мимо, приветливо

кивнул головой, за что в обмен получил низкий поклон деревенской женщины важному барину.

Тем и кончилось первое свидание царевича с Афросиньей.

Девушка произвела на Алексея Петровича сильное впечатление, одно из тех необъяснимых впечатлений, которые, зарождаясь Бог весть отчего и почему, глубоко врезаются в душу, присасываются к ней, не покидая до последней развязки. Афросинью можно было назвать миловидной, симпатичной, но далеко не красавицей: черты лица неправильны и резки, лицо загорелое, губы сочные, более пухлые, чем бы следовало, здоровые зубы, ярко сверкавшие в широкой улыбке, не отличались ровностью и молочную белизною, стройность если и была, то вполне закрывалась доморощенным, грубым и запачканным кафтаном. Хороши были волосы, русые, с золотистым отливом на солнечных лучах, спускавшиеся толстой плетенкой ниже пояса, но и от них за несколько сажен отдавало резким запахом постного масла. Но, несмотря на это, во всей ее фигуре было что-то особенно притягивающее к себе и не поддававшееся никаким определениям. Никакое многоречивое и красноречивое описание не могло выразить во всей полноте мягкость ее голубых глаз и ее бесхитростную доброту в ласковой улыбке.

Алексей Петрович не раз оборачивался назад и встречал следившие за ним голубые глаза. А потом, когда он вернулся домой в свою обыденную обстановку, все окружающее показалось ему совершенно чуждым, и серые, тоже мягкие, но не живые, а тускло-туманные, нередко слезливые немецкие глазки Шарлотты, жадно выжидавшие от него нежного супружеского взгляда, потупились долу, не получив следовавшего законного дара.

Алексею Петровичу претили чопорные немецкие сантименты, аккуратно размеренные по вся дни и часы золотниками и гранами. Не раз случалось ему по возвращении из гостей разгоряченным винными парами вместо горячих супружеских ласк встречать или холодный отказ, или выговоры и упреки о том, как неприлично зашибаться хмелем. По рецептам кронпринцессы, всем отношениям должны быть отведены приличные место и время по установлению придворного этикета. И царевич, в бессилии проявить более реальным способом свой протест, только изливался в жалобах перед своим камердинером Иваном

Большим Афанасьевым на семью Головкиных, отца с сыновьями, устраивавших свадьбу:

— Это Гаврило Иваныч с детьми жену мне на шею чертовку навязали, как к ней приду, все сердитует и не хочет со мною говорить.

На другой день после визита к Вяземскому царевич снова навестил учителя и снова полюбовался на Афросинью. Затем свидания начались ежедневно, а наконец и по два раза в день. Девушка казалась все краше и милее. Вскоре и действительно трудно было признать в этой зацветшей полною жизнью девушке прежнюю полонную крепостную девку, запачканную и неуклюжую, хотя и прежде жившую в барских хоробах родовой вотчины Вяземских: так быстро привились к ней манеры и привычки горожанки. С своей стороны немало приложил стараний и сам хозяин, князь Никифор, верно оценивший, какое глубокое впечатление должна производить на царевича его крепостная холопка не в дырявых лохмотьях, а в роскошном, с кружевными вышивками сарафане на полных молочных плечах.

Афросинья, перестав дичиться царевича, ласково встречала его приголубными словами и еще более заманчивыми взглядами. Алексей Петрович ободрился, сделался решителен и, наконец, дошел до такой смелости, что раз, встретив девушку одну в полутемных сенях, отважился взять ее за руку и притянуть к себе для горячего поцелуя. Афросинья не выбивалась; не знакомая с мудрыми уроками кокетливости, она не отталкивала его от себя, а, напротив, сама же вскинула на него белые руки, прижимаясь к нему любовно и доверчиво.

Учитель видел, как молодые люди привязывались друг к другу, радовался этому и с своей стороны усердно помогал. Афросинья из крепостной холопки в доме Вяземского сделалась барышней, за которой ухаживали, которую голубили и обучали. Через нее князь Никифор рассчитывал со временем подняться высоко, чуть ли не выше Милославских и Нарышкиных, не сумевших закрепить за собою влияние. Князь же Никифор — совсем другое дело, он чувствовал себя способным умело провести свою личную роль, обставить ее так, чтобы сделать неприступною для интриг завистников, и все это незаметно, до времени, не задирая никого. Его нисколько не смущало то, что место, назначаемое им для Афроси, занято законным образом другою, принцессою из высокого владетельного дома

В его глазах подобное обстоятельство не имело решительно никакого значения — разве не умирают принцессы, как и все смертные, совершенно естественным образом, не возбудив даже и подозрений! Да и может ли сделаться какая-нибудь Шарлотта русскою государынею, когда она не крестится по-православному, когда при ней не русский поп, а немецкий пастор, когда во столько лет она не научилась вести вразумительно русскую речь, когда ее дворик так и остался каким-то особняком, не связанным никакими нитями с русским обществом.

Права кронпринцессы Шарлотты не смущали князя Никифора, но пугало его по временам то, как посмотрит государь-отец на привязанность сына. Как ни берегся князь, как ни хоронил Афросинью, но многие узнали про новые отношения царевича и, без всякого сомнения, поспешат все передать государю, когда он придет домой. Конечно, князь Никифор знал, что суровый государь, по сознанию собственных нежных грехов, склонен снисходительно извинять увлечения молодости, что кронпринцесса Шарлотта не пользовалась его особенным расположением, но вместе с тем знал и то, что государь дорожил политическими отношениями и из желания ввести отечество в семью европейских государств не захочет навлечь неудовольствия венского двора и разорвать связи с римским цесарем. К довершению беды, и личные отношения между отцом и сыном, государем и царевичем, в последнее время приняли особенно опасный характер.

III

Страстную любовь бабушки и матери повиты были первые годы царевича Алексея Петровича. Наталья Кирилловна не могла в досталь налюбоваться на внука. Она ухаживала за ним, пеленала, нянчила, ревнуя к нему молодую невестку. Вся нежность изболевшегося сердца, израненного горем трагических утрат близких, дорогих лиц, перешла на курчавого, хорошенького внука-ребенка. Не красно сложилась жизнь бабушки Натальи Кирилловны. Рано овдовев, она сосредоточила всю свою любовь на сыне, дрожала за его жизнь, оберегала, думала видеть его всегда при себе, мечтала разделить с ним всю жизнь, но вышло не так. Сынок пошел по иной дорожке, спознал-ся с чужими людьми и как только подрос, почувял силу,

так и отлетел. И как ни заманивала его мать домой то любовью молодой жены, то собственными болезнями, то вестями о херувимчике, сын редко возвращался в родное гнездо, а когда и возвращался, то ненадолго. Приедет, бывало, взглянет на сына, поворчит на излишние нежности и баловство к ребенку, отгрызнется от слезливых упреков истомившейся жены да тотчас же и укатит к синим волнам, к своим излюбленным корабликам.

Как ни была развита Наталья Кирилловна, получив воспитание в доме умного и образованного в то время Артамона Сергеевича Матвеева, но все-таки она не могла сознавать необходимости реформ. Мало того, под влиянием бесед с отцом патриархом Иоакимом она находила реформы вредными, горько раскаивалась, что давала слишком большую волю сынку якшаться с уличными мальчишками да безродными проходимцами. И теперь, глядя на милого внука, отыскивая в его мелких чертах сходство с покойным мужем, царем Алексеем Михайловичем, она обещала себе не повторять новой ошибки, оберечь дитя от вредных влияний. Бабушка не спускала глаз с ребенка, в котором видела единственное свое утешение в мире, а между тем ей самой было еще только около сорока лет и ее сердце требовало любви.

Алеша рос на руках бабушки и матери тепличным цветком, изнеженным, чутким, понятливым и нервным до болезненности. Но так как бабушка много видела, много испытала, на многое смотрела верным взглядом, то при ее жизни зло не дошло бы до крайности. К несчастью, едва ребенку минуло четыре года, как вдруг обыкновенный, часто повторявшийся недуг обратился в смертельный: в пять дней Натальи Кирилловны не стало.

С рук бабушки царевич перешел на руки матери, неопытной двадцатилетней женщины, выросшей в семье старинного покроя, пропитанной в плоти и крови отцовскими преданиями. Относительно нежности и заботливости ухода за собою ребенок ничего не потерял; напротив еще, вечно одинокая, постоянно покинутая, вечно тоскующая по любимом муже, молодая женщина всю свою привязанность сосредоточила на сыне; точно так же, если не больше, она холила, нежила и расслабляла детский организм; но как женщина, у которой чувства еще не замерли, жизнь еще не износилась, Авдотья Федоровна не могла ограничиться одними тесными рамками материнских обязанностей и не могла оставаться глухой к окружающему ее,

а окружали ее матушки, нянюшки, приживалки, юродивые и духовные, видевшие в новшествах поругание веры и оскорбление святой старины. Авдотья Федоровна около себя со всех сторон слышала только одни жалобы на мужа, осуждения, недобрые предсказания о будущем, религиозные внушения о борьбе с антихристовыми кознями, проникалась общими толками и сама высказывала их в полнейшем убеждении их правоты.

Эти толки западали в голову ребенка, росли и развивались.

Шести лет Алешу посадили за грамоту под ферулу* учителя, витиеватого князя Никифора Кондратьевича Вяземского. Ребенок схватывал быстро и учился прилежно; не достигнув семи лет, он уже знал буквы, слоги и разбирал Часослов. Об успехах царевича князь Никифор аккуратно извещал отца подробными сладкоречивыми донесениями, в которых, разумеется, умалчивалось о том, как и в каком направлении развивается царский наследник; а самому царю некогда было проверять донесения и лично следить за воспитанием. Отцу было не до сына: с каждым новым шагом по новому пути все больше и больше вырастали затруднения, одолеть которые могла только одна сила гиганта, вся его мощь, обращенная на дело реформы. Государь, получая донесения, оставался покоен.

А между тем одновременно с развитием новаторской деятельности царя укреплялась и реакция массы. Общее недовольство, долго, незаметно таившееся, наконец выразилось в последнем стрелецком бунте, вспыхнувшем во время поездки государя за границу, при смутных слухах о его смерти. После усмирения бунта и по возвращении из-за границы государь казнями тысячей виновных и заподозренных отстранил на далекое будущее всякую возможность протеста своей воле,— стрельцы казнены или разосланы, сестра, царевна Софья, заключена в монастырь и навсегда удалена от политической сферы.

Но из лично произведенного государем розыска открылось одно поразившее его обстоятельство: из многих показаний он узнал, что протестующие смотрели на его сына как на главу поборников старины, что они были глубоко убеждены в ненависти Алеші к иностранцам. Тут только отец узнал, какое губительное влияние имела на сына

* Ферула — хлыст, розга, линейка, которыми били по ладоням провинившихся школьников. (Прим. ред.)

мать, и, конечно тотчас же, по природе своей, поспешил принять энергические, крайние меры, неспособные по резкости своей вести к достижению цели. Авдотью Федоровну постригли в суздальском Покровском монастыре, а царевича Алешу отдали на руки к сестре государя — царевне Наталье Алексеевне.

Для радикального же изменения в направлении воспитания отец решился отправить сына, под руководством надежного иностранца, за границу, в Дрезден, к союзнику своему Августу II. Наставником выбран был саксонский генерал Карлович, бывший в то время в Москве, но предположение это не состоялось: выбранный наставник был убит на приступе Динаминда, а австрийский двор, искавший союза с Петром и боявшийся сближения России с своими врагами в случае отправления царевича в Берлин или Дрезден, завел интриги и устроил переговоры о присылке Алексея Петровича в Вену. Переговоры по этому поводу сначала затянулись, а потом и совсем прекратились, так как тем временем началась шведская война, и началась для русских очень неудачно. Неустойчивые и не привыкшие к правильным действиям, под командою иностранных начальников, не любимых солдатами, русские войска не могли выдержать натиски шведского войска, обученного и привыкшего к победам под начальством непобедимого Карла XII. Поражение под Нарвой нанесло русским тяжелый удар; потребовалось напряжение всех государственных сил, потребовалась вся неусыпная деятельность царя, чтобы перенести поражение, оправиться, изыскать и выставить новые силы. В эту тревожную пору было не до заграничного воспитания — и царевич остался дома.

Дома Алешу окружила прежняя атмосфера, та же среда тех же лиц — только не стало нежной, заботливости бабушки и матери. Наталья Алексеевна не любила Авдотью Федоровну... На мальчика смотрела она холодно и не обращала внимания, как с ним занимается витиеватый князь Никифор и чем набивают маленькую головку попы и черноризцы.

Так прошло с лишком два года, и ребенку минуло двенадцать лет. В это время отец успел оправиться от поражения и стать твердой ногой на Балтийском побережье. Тогда, обеспеченный более счастливым ходом военных дел, он получил возможность обратиться к домашним делам и заняться воспитанием сына. Для дальнейшего образования царевича государь выбрал достойного наставни

ка в лице получившего основательное образование в германских университетах барона Гюйсена, а для главного руководства выбрал любимца своего Александра Даниловича Меншикова.

Дело образования, однако ж, двигалось медленно; Гюйсена непрерывно отвлекали от его назначения различными дипломатическими поручениями, да и самого царевича стали отвлекать от учебных занятий практической деятельностью по званию солдата бомбардирской роты. За исправление воспитания и за укрепление слабого организма сына принялся сам государь с обыкновенными своими приемами, чем окончательно и испортил. Страстная природа отца, которому в то время самому минуло только тридцать лет, за всякое дело принималась сгоряча, разом, беспощадно. С таким же увлечением государь принялся и перевоспитывать сына; силою, дубинкой и побоями думал он выбить из головы сына всю дурь, навеянную туда бородачами. Конечно, такой прием должен был привести к совершенно другому результату.

Природы отца и сына были диаметрально противоположны. Вечная жажда практической деятельности не могла даже сознавать возможности существования созерцательной жизни, все воспринимающей в себя и не изливающейся во внешних образах. Для отца Алеша казался не более как юношей, изнеженным женским воспитанием и испорченным уродливыми понятиями черных ряс, но которого стоило только отдалить от вредных людей и закалить физическим трудом. На деле же перевоспитание явилось не по силам отцу. У сына оказалась одна общая черта с отцом — страстная упорность в идее, еще более сильная по замкнутости.

Может быть, в детские годы, в которые сын перешел на руки к отцу, и было еще возможно перевоспитание путем постепенного влияния, путем разумного убеждения, постоянного анализа ложных взглядов, но отец не понимал такого приема, он привык все ломать силой. Он рубил сына, горячо, с увлечением рубил, не замечая, что этою рубкою он сам отрубался от своей цели. Царевич покорялся, гнулся, но его нравственные убеждения укоренялись все глубже и глубже.

Тринадцати лет царевич совершил свой первый поход в войске отца, присутствуя при осаде и взятии Ниеншанца. Государь оставался доволен покорностью сына, тогда как

именно это-то безответное повиновение и ставило непременную стену между ним и сыном.

В следующем году царевич вместе с наставником Гюйсеном находился при войске во все время осады Нарвы, взятие которой штурмом праздновалось царем с особенным торжеством. В продолжение этой осады в первый раз отец с изумлением и неудовольствием заметил в сыне тайную неприязнь к излюбленному своему воинскому делу, какую-то автоматическую покорность невольника и полнейшее отсутствие живого участия. Это закравшееся неудовольствие выразилось в каждом слове речи, сказанной государем сыну при торжестве победы в главной квартире фельдмаршала Огильви, в присутствии всех главных чинов, как будто с целью возбуждения самолюбия и гордости.

«Сын мой! Мы благодарим Бога,— сказал государь-отец,— за одержанную над неприятелем победу. Победы от Господа, но мы не должны быть нерадивы и все силы должны употреблять, чтобы их приобрести. Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен, при твоих летах, любить все, что содействует благу и чести Отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего. Как мне невозможно всегда быть с тобою, то я приставил к тебе человека, который будет вести тебя ко всему доброму и хорошему. Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и примешь правилом жизни страх Божий, справедливость и добродетель,— над тобою будет всегда благословение Божие, но если мои советы разнесет ветер и ты не захочешь делать то, чего желаю, то не признаю тебя своим сыном: я буду молить Бога, чтобы он наказал тебя в сей и будущей жизни!»*

Эта речь была первым предвестником тех отдаленных ударов, той грозы, которая ожидала непокорного сына. Государь требовал безусловного повиновения, полной веры своим словам, слепого убеждения в том, что он посту-

* Как речь отца, так и ответ сына приведены в записках Гюйсена, которому не доверять нет никакого повода, хотя почтенный воспитатель несколько и увлекался риторикой. (Прим. авт.)

пает справедливо и добродетельно, а между тем в четырнадцатилетнем уме уже успели сложиться иные мысли, внушенные людьми, которым сын привык верить, которых он уважал; в его ушах не раз раздавались стоны и раздражающие душу жалобы легионов ободранных и жалких людишек на невыносимые тягости и притеснения, на несправедливость отца и его злобу.

Кому же верить: громким ли фразам или хватающей за сердце скорби народной?

На этот раз впечатлительное дитя поверило на слово. Царевич, с полными слез глазами, горячо целовал и жал руки отца.

— Всемиловитейший государь-батюшка!— с искренним еще чистосердечием сыновней привязанности отвечал он.— Я еще слишком молод и делаю, что могу. Но уверяю ваше величество, что я, как покорный сын, буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже! Сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, чтобы я еще долго мог радоваться столь знаменитым родителем».

Царевич говорил искренно: в впечатлительную душу врезались слова отца, и в эти минуты он действительно готов был следовать его советам, идти его дорогой; но впечатления скоро изглаживаются другими впечатлениями.

По окончании Нарвского похода государь с царевичем воротились в Москву к обычному ходу жизни: государь к прежней своей неутомимой деятельности, заставлявшей его беспрерывно скакать из одного конца государства в другой, а царевич к прежним учебным занятиям. К несчастью, эти занятия не продолжались постоянно. Гюйсен в последующие три года почти постоянно ездил за границу: то в Берлин с изъявлением сожаления о кончине королевы и для присутствования при ее погребении, то в Вену с поздравлением императора Иосифа по случаю восшествия его на престол, то к принцу Евгению Савойскому с предложением польской короны после отречения Августа II, то к венгерскому князю Ракоци с убеждениями подчиниться австрийскому императору. Втиснув Россию в систему европейских держав, государь придавал большую цену подобным сношениям и никогда не пропускал случая заявить о существовании на севере нового сильного государства.

Во время отлучек Гюйсена Алексей Петрович продолжал заниматься с своим князем Никифором или, лучше

сказать, почти вовсе не заниматься, если не включать в число занятий обучения токарному мастерству у мастера Людвига де Шепера. «Его высочество государь-царевич неоднократно в доме моем бывает,— доносил де Шепера государю,— и зело уже изрядно точить изволит». Это известие было едва ли не единственным приятным сведением о сыне.

Сам государь в Москву наезжал редко и ненадолго, за недосугом по ратным делам и по случаю новой заботы о постройке Петербурга. Петр вообще не любил Москвы — тяжелую память оставила она по себе в его детские годы. Вместе с государем уезжал из Москвы и главный воспитатель царевича Александр Данилович, вероятно давно уже забывший, что ему вверено главное наблюдение за воспитанием юноши. Недаром же Александр Данилович сделался светлейшим — он знал, где и как показать свое усердие.

IV

Алексей Петрович жил в Преображенском, преуспевая если не в науках, то в познаниях народных поверий, взглядов и убеждений. По примеру отца, и у него была своя всепьянейшая компания: отец корова, отец иуда, господин засыпка, бритва, грач и другие. Любимыми его собеседниками были: духовник Яков Игнатъич, попы и чернецы, калики перехожие, юродивые, пестун князь Никифор, над которым воспитанник по-приятельски любил забавляться, Александр Васильевич Кикин и все недвольные отцом. Виделся он из любопытства тайком с теткой Софьей, бывшею царевной и правительницей, а теперь инокинею Сусанной, об уме которой ходило столько толков, но Софья не произвела на него особенного впечатления. Ему даже показалось странным, как могла эта обрюзгшая, желчная, преждевременно состарившаяся женщина бороться с его отцом, с гигантом, мощь которого могла изломать весь мир. Ему так хотелось бы ближе сойтись с обиженной его отцом, по душе разговориться с ней, разделить ее негодование, уверить ее в своей непричастности в делах отца; но никакого негодования он не услышал, никакой жалобы на притеснителя и никакого сочувствия лично к нему не выразилось в глубоких полужакнутых глазах тетки. Юноша хотел прижаться к ней,

жаждал ласкового слова, а услышал только сухое: «Так ты, Алешка... сынок Авдотьи... не в батюшку...» — и при этом так зло и насмешливо скривились некогда сочные и алые губы, а теперь иссохшие, из которых вырываются какие-то несвязные слова. Тем свидание и кончилось.

Более по душе царевичу приходилась другая тетка — Марья Алексеевна, живая летопись всех бывших придворных интриг, с окраской собственного воображения. От Марьи Алексеевны он узнал, как жесток и несправедлив был его отец даже в юных летах, сколько страданий и мук вынесла его мать, ни в чем не повинная и несчастная, теперь томящаяся в злом монастырском заключении.

На юношеский ум рассказы тетки производили сильное впечатление. В его памяти живо вырисовывался облик молодой матери как жертвы нечеловеческого зверства отца, ясно вспоминались ее страстные ласки ему, материнские поцелуи, и чем более работало возбужденное воображение, тем настоятельнее становилась потребность увидеться с ней еще хоть один раз и утешить ее сыновнею любовью. И он решился во что бы то ни стало побывать в суздальском монастыре; дело было трудное и опасное. Если б отец проведал о таком дерзком поступке сына, тогда не избежать бы тяжкого наказания, которому предела не знала необузданная запальчивость. У Алеши леденилась кровь при одном представлении гнева отца, огненных, дико сверкавших глаз, нервного подергивания мускулов лица, поднятой мощной руки. Но странное дело: рядом с этим ледящим чувством, с трепетом за свою жизнь еще сильнее разгоралось желание видеться, обмануть грозного идола, перед которым все падали ниц и которого все так боялись.

Царевич решился и стал обдумывать, как бы исполнить похитрее — не оставить по возможности никаких следов преступления.

Прежде всего царевич хотел было посоветоваться с пестуном своим, но тотчас же откинул эту мысль. Князь Никифор хотя и красно говорил, но на остроумные выдумки голова его не годилась. Всего лучше и надежнее казалось довериться умному духовнику Якову Игнатьевичу и тетушке Марье Алексеевне: они не выдадут и сумеют замести следы, если что-нибудь и прорвется наружу.

Отец Яков даже присел от страха, когда царевич высказал ему свое намерение.

— Что ты! Господи, Господи! Да как же это? Подумай

только, милый чадо, какое ужасное деяние затеял ты совершить,— уговаривал духовник,— какой грех берешь на душу и чему подвергаешь своих пособников.

— Какой же грех, святой отче, видется с матерью? Сомневался я и боялся греха, великого греха в том, что не люблю отца, что иной раз желаю ему смерти, каялся в том тебе на духу, но ты сам разрешил мои сомнения, сам же ты сказал: «Много зла сделал твой отец, многие желают ему смерти, и несть в этом тяжкого согрешения».

— Не в том грех, чадо, что не любишь и ослушаешься злых вожделений отца, всех утеснителя и притеснителя святой Церкви, а тяжкий грех возымеша на душу в погублении ближних своих. Узнает государь и без милосердия казнит.

— Обдумал я, отче, дело это и устрою так, что никто отвечать не будет. Поеду в свою вотчину Алатырскую Порецкую волость, а с дороги поверну в Суздаль. Знать никто не будет, окромя моего большого Ваньки, а ему какая корысть выдавать меня? Да если б и узнал государь, так отвечу я, а иному никому и дела нет.

Успокоившись за безопасность собственной шкуры, отец Яков больше не возражал и даже вполне одобрил желание сына.

Через несколько дней царевич собрался для хозяйственного осмотра в Алатырскую Порецкую волость, что не могло показаться странным никому: все знали, как молодой государь-наследник любит заниматься вотчинными распорядками, сам лично вел хозяйственные дела и наблюдал за отчетностью. Никто не подозревал главной цели, которую тем легче было скрыть, что Суздаль недалеко в стороне от пути и поездка туда не представляла никакой трудности.

Царевич ждал этого свидания с лихорадочным нетерпением. Возбужденный мозг постоянно представлял ему картины страданий матери; ему так живо вспоминалось теперь то утро, когда Наталья Алексеевна его увезла, не кинув обезумевшей от отчаяния матери ни одного слова утешения. После этой раздирающей сцены он не видел матери, но получал от нее нередкие вести от чернецов и черниц, бывавших в Москве для сбора, от сестры жены князя Вяземского Марьи Соловцовой, от калик переходящих и паломников, которыми наводнена была тогда Русь, бежавшая от новых порядков. Во всех этих рассказах облик матери одевался в симпатичную форму невинно стражду-

щей жертвы. Много придавала поэзии и самая таинственность путешествия.

Наконец сын увидел мать, но встреча оказалась далеко не такой, о какой он мечтал, далеко не удовлетворила его, даже оставила в его душе какое-то странное, неопределенное ощущение. Вместо похудевшей, убитой горем — он увидел женщину несколько расплывшуюся, с странным капризным выражением, в светском платье и окруженную проходимицами и приживалками. Авдотья Федоровна встретила сына причитаниями, слезливыми излияниями, но в этих причитаниях слышалось деланное и напускное, высказались мелкие жалобы на скудость средств, обычные советы о послушании отцу и даже вырвалось несколько слов, из которых видно было, что надежда на возвращение к прежнему не была покинута. Царевич, пробыв лишь несколько часов, простился с матерью под тяжелым давлением чувства обманутого ожидания.

Казалось бы, некому было доносить о свидании, так скрытно и осторожно оно было устроено царевичем, однако вскоре после возвращения Алексея Петровича в Москву от тетки Натальи Алексеевны полетели в Москву, где находился тогда государь, подробные сведения о поездке. Отец тотчас же вызвал к себе сына, а по приезде его с обыкновенной своей запальчивостью стал допрашивать: зачем, с какою целью была учинена такая поездка? Царевич отрекся, с клятвами забожился, что никогда и в помышлении не имел такого свидания, что это наветы злых людей, желавших очернить его в глазах отца. Царевич уже напрактиковался свободно лгать и притворяться; как и все слабохарактерные, он гнул себя во все стороны, не ломаясь в корне.

Поверил ли государь оправданиям сына или показал только вид, но наказания никакого не было; даже как будто в знак особого доверия он послал Алексея Петровича в Смоленск для распоряжений о сборе рекрутов и провианта для армии. Прожив в Смоленске около полугода, царевич возвратился по окончании поручения в Москву, где должен был наблюдать за укреплением Кремля, за сбором солдат и казаков, присутствовать в канцелярии министров и в то же время продолжать с Вяземским учебные занятия по истории, географии и в немецком языке, а затем по возвращении Гюйсена начать занятия по фортификации и по французскому языку.

В походах отца Алексей Петрович лично более не

участвовал, да и самая шведская война уже не требовала теперь, после Полтавской виктории, прежнего напряжения сил. Царевичу пошел двадцатый год. Государь решил не медлить более отправкою сына за границу как для окончания научного образования, так и для выбора невесты из владетельных домов.

В письме из Мариенвердера в октябре 1709 года отец писал сыну: «Зоон! Объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали более учению, а именно: языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию кончишь, отпиши к нам».

По разным затруднениям поездка замедлилась, и только через год, в 1710 году, царевич приехал через Варшаву в Дрезден, откуда переехал в Карлсбад для лечения минеральными водами. Здесь, в окрестностях Карлсбада, не дальше десяти верст, в Шлакенверте у королевы польской, царевич в первый раз увидел принцессу Блакенбургскую Шарлотту, свою будущую жену.

Мысль о женитьбе сына на Шарлотте возникла у царя давно, более трех лет, когда еще невесте было только тринадцать лет, вследствие предложения барона Гюйсена. Невеста не отличалась ни красотой, ни грацией. Черты лица чисто немецкого типа обезображивались следами оспы, а высокий рост поражал своей худобой; но в политическом отношении этот брак по близкому родству невесты с первыми, влиятельными европейскими дворами вполне мог удовлетворить тщеславию северного государя, искавшего сближения с Европой и приличных альянсов. С другой стороны, этого союза желал и австрийский император, женатый на сестре Шарлотты, надеявшийся на поддержку России в своих отношениях с Турцией и на противодействие возникавшему влиянию Пруссии.

Лично Шарлотта не произвела на царевича приятного впечатления. Дед невесты, герцог Антон Ульрих, писал к своему доверенному Урбиху: «Царевич кажется очень встревоженным, он догадывается о переговорах относительно его союза с принцессой. Русские не желают этого брака из опасения потерять кровную связь с своим государем, и царевич под их влиянием. Если царь потеряет время и не прикажет тотчас же окружающим сына склонить его,

то этот брак, как ни желает государь, наверное не состоится. Царевич оказывает особенное внимание принцессе Вейсенфельской и госпоже Фирстенберг; в надежде выиграть время, он просил у своего отца дозволения посмотреть и других принцесс. Молодой граф Головкин мог бы быть очень полезен в этом отношении, он человек честный и разумный, на князя же Трубецкого надежды мало. Жена русского посла Матвеева высказывалась в Дрездене, будто царевич германской принцессы в замужество за себя не возьмет. В желании самого царя я несколько не сомневаюсь, но может ли он принудить сына к супружеству и чего должна ожидать принцесса от мужа, вышедшая за него против его воли? Здесь все жалеют о невесте».

Хитрый старый дед о многом догадывался верно, несколько ошибся он только относительно нерасположения жениха к невесте. Царевич относился совершенно равнодушно к принцессе Шарлотте. Извещая о предстоящем браке духовника своего Якова Игнатьевича, царевич писал: «Он (отец) писал ко мне ныне, как она Шарлотта мне показалась и есть ли моя воля с нею в супружество; а я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней — на какой я захочу. И я писал, что когда его (государя) воля есть, что мне быть на иноземке жено-тому, и я его воле согласую, чтоб меня женить на вышеписаной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее здесь мне не сыскать».

Брачный договор был подписан в апреле 1711 года, а самый брак совершился через полгода, по возвращении отца из несчастного Прутского похода, в королевском замке города Торгау, с соблюдением торжественных обрядов и с подобающей пышностью. Государь придавал особенную ценность всем церемониям, когда дело касалось до представительства России как европейской державы. «Господа сенат! — писал государь тотчас же после совершения брака. — Объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершен здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей Вольфенбютельских, наших сватов, изрядный».

Был ли доволен тот, до кого это касалось ближе всех, — сам царевич? По всей вероятности, был доволен, его сердце было свободно, он никого не любил, а в жене своей видел все-таки человека доброго. Может быть, если бы молодые

были оставлены в покое и имели бы время ближе узнать друг друга, то могло родиться и более нежное чувство, могла окрепнуть привязанность, установиться взаимное уважение. Кронпринцесса готова была полюбить, если уже не любила мужа; но не в натуре царя было оставлять кого-нибудь в покое. Через три же дня после свадьбы государь, уезжая от сына, дал ему подробную инструкцию, что ему делать в его отсутствие, и по этой-то инструкции Алексей Петрович, прожив с женой не более трех недель, должен был ехать в Торунь собирать провиант для русской армии, подвигавшейся к Штетмину. Кронпринцесса уехала к родным в Брауншвейг и только после пяти недель, когда царевич мог уже определить сколько-нибудь положительно свое пребывание, приехала к нему в Торунь.

И здесь молодые прожили недолго. По исполнении поручения, месяцев через пять, князь Меншиков привез приказание государя царевичу — немедленно отправиться в Померанию для военных действий, а кронпринцессе — ожидать мужа в Эльбингене.

Понятно, с каким чувством должен был повиноваться царевич, по природе своей вообще не любивший войны, а тем более в настоящем случае за обладание таким краем, от которого он лично желал бы во что бы ни стало откреститься.

Затем весь следующий год супруги были в разлуке: первое полугодие царевич провел в отряде князя Меншикова, а второе — в Мекленбургии; кронпринцесса же, соскучившись ждать мужа в Эльбингене, переехала в Брауншвейг.

Молодые соединились только во второй половине 1713 года, не прожив вместе, в продолжение почти трех лет, и пяти месяцев. Мудрено ли, что они остались друг для друга чужими, и кронпринцесса Шарлотта продолжала быть прежнею немецкою принцессою, не задававшаяся мыслью о своем назначении для нового отечества, с которым, кроме призрачных супружеских уз, у нее не оказывалось ничего общего. Точно так же и русские смотрели на нее, как на совершенно чужую; смотрели даже неприязненно. До нее русские государи выбирали себе жен из своих же подданных, а потому женитьба царевича на иностранке была новшеством, и новшеством едва ли не самым неприятным, так как оно отделяло государя от подданных и вводило в самое сердце русской жизни иной язык, новый двор и другую религию. Недаром же

почтенный Яков Игнатьевич при первом известии о заграничном браке царевича советовал ему понудить невесту к восприятию православной веры, на что духовный сын отвечал положительно, что «разве после, когда она (невеста) в наши края приедет и сама рассмотрит, может, то и состоится, а прежде того весьма тому состояться невозможно».

Но не могло такое восприятие состояться и после по тому положению, какое приняли отдельными особняками дворы кронпринцессы, царевича и самого царя,— каждый с своими интересами, с своими взглядами, почти открыто неприязненными друг к другу. По численности и твердости убеждений двор царевича и вообще ему преданные составляли громадную массу, в центре и главной основе которой стояло духовенство, начиная с высшего иерарха — Стефана Яворского, блюстителя патриаршего престола, и кончая закорузлым степным попиком. К царевичу примыкали все истые русские, ненавидевшие новшества, все преданные заветам отцов и дедов как из высших фамилий, так и из низших сословий, и, наконец, к нему же тянулись, хотя тайно, даже приближенные сотрудники отца из русских старинных родов, не отвергавшие образования, сами люди просвещенные, но не одобрявшие крутых заимствований, огульного отвержения старинных обычаев и рабского поклонения иностранному. К несчастью этой могущественной партии, во главе ее находилось лицо, слишком еще молодое, с нервной впечатлительной природой, неспособное самостоятельно и стойко вести свое дело. В массе старорусской партии совершенно незаметно исчезла горсть двора кронпринцессы; этот интимный ее кружок не мог даже назваться партией: это была колония без всякой связи с целым, не наметившая никакой цели, жившая воспоминаниями о тенистых парках Зальцдалена и о минувших светлых днях в милой родине.

Немногочисленная партия самого государя крепко держалась единством воли и направления. Ее составляли несколько русских, выдвинувшихся из низших слоев, людей, способных, смысленых, угодливых, расторопных и видевших в новшествах свою фортуна; несколько иностранцев, авантюристов, искателей счастья, не найденного ими на родине, но главную мощь этой партии составлял сам царь, до мозга костей убежденный в необходимости коренной ломки, энергичный, рубивший всякие препятствия

Между обеими партиями велась отчаянная борьба за существование: с одной стороны, пассивная, упорная, отрицающая слепо каждое новшество, с другой — деятельная, силою навязывающая свои убеждения.

V

Часы отчеканивают бесстрастно: «Тик-так, тик-так, тик-так», как будто нет им никакого дела до людского горя, до того, что с каждым их стуком угасает какая-нибудь жизнь, порываются надежды, расчеты и желания. Полдень. В полутемной спальне дворца царевича тихо; лишь отчетливо отдается часовой монотонный звук, слышится слабое прерывистое дыхание, да изредка невольно вырвавшиеся рыдания. Смерть начала накладывать свою таинственную, торжественную печать на все и на всех: на бледное, осунувшееся лицо молодой женщины, почти неподвижно лежавшей на постели, на каждую складку парадного постельного убора и на самый воздух — удушливый, пропитанный запахом лекарств.

Кронпринцесса или в забытьи, или в спокойном ожидании перехода в тот невидимый мир, в который готовилась вступить. И не кажется теперь ей этот переход таким грозным и страшным, как прежде, она как будто предвкушает его, мирно простившись со всеми, отпустив всем их вины в отношении себя и испросив прощение в своих грехах. Изредка она открывает глаза и оглядывает тех, которые остались еще ей близкими в последние минуты: мужа и друга, принцессу Фрисландскую. Царевич Алексей Петрович стоит на коленях подле изголовья, припав лицом к подушке, с нервным подергиванием плеч от подавленного плача. На другой стороне, припав к руке умирающей, принцесса Фрисландская усиливалась отогреть своим дыханием начинавшие уже холодеть пальцы. Взгляд больной с любовью переходит с одного милого лица на другое: холодность и измену мужа она простила; мало того, она забыла все, что с такою болью разделяло их; теперь для нее одинаково дороги и муж, и верный старый друг.

В соседней комнате послышались чьи-то уверенные, тяжело наступавшие шаги. Кронпринцесса как будто ожилилась; раскрыв глаза, она прислушивалась и ждала. Принцесса Ост-Фрисландская выпустила руку больной и обратилась к двери в каком-то боязливом ожидании, но

больше всех отразился страх от этой поступи на царевиче. Он вздрогнул, приподнялся было, как будто собираясь бежать, но потом снова упал, еще плотнее прижавшись и глубже запрятав голову в подушку. В дверях показалась массивная фигура царя, в первый раз вышедшего после болезни навестить больную невестку и лично удостовериться, в таком ли опасном она положении, как докладывали ему врачи.

Государь подошел к постели и, мимоходом оглянув сына и принцессу Ост-Фрисландскую, с особенным вниманием стал рассматривать больную. Он хотел знать, что за болезнь могла так быстро уничтожить молодой организм, как она проявляется и какие признаки смерти. Он положил широкую руку на голову кронпринцессы, пылливо заглянул в глаза, не пропустил без внимания бледности и вялости кожи, багровых пятен на щеках, синевы под глазами, обострившегося носа, ощупал пульс и прислушался к дыханию. Результат его не опечалил: люди умирают — это естественный закон, да и горе не приносит ведь практической выгоды, но любопытно: смерть, как и жизнь, должна же иметь свои законы. Государь не заметил, как больная силилась что-то выразить ему, что о чем-то просил ее не потерявший сознания взгляд, попеременно переходивший то от мужа на друга, то от друга на мужа. Ей, видимо, хотелось оставить после себя мир и спокойствие для любимых лиц; но государь не хотел заметить усилий умирающей. Да и что могла она сказать ему? Какую пользу мог он извлечь из ее просьбы.

Простившись с умирающей, поцеловав у нее руку и перекрестив ее, государь приостановился было, хотел что-то сказать сыну, но раздумал, махнул рукой и вышел тем же тяжелым шагом. Сын во все время не поднимал головы. Он чувствовал, что встретит не участливый взгляд отца, а суровый упрек судьи, хотя настоящий судья, приговора которого царевич в эти минуты больше всего боялся, простил ему и молился за него. С беспощадною ясностью теперь представлялось царевичу все его прежнее гнусное поведение к умирающей жене; все его ей огорчения, даже мелочные, которые прежде ускользали от внимания и которые казались тогда естественными и даже заслуженными, теперь принимали резкие и обличительные формы.

В последние сутки с того числа, когда, воротившись от князя Вяземского, еще под обаянием страстного поцелуя, царевич встретил бесконечно ласковый, примиряю-

ший взгляд умирающей, он не отходил от ее постели. Этот взгляд совершил чудо: вытеснил вдруг, без всякой борьбы, образ любовницы, — этого взгляда он никогда не забудет! Ему вспомнились бабушка и мать, которые так именно смотрели на него в счастливом детстве, память о котором стерлась было растлевавшими отношениями, развратившими болезненную впечатлительность. Дурные товарищи, грязные отношения учителей, вино и лицемерие, развив в нем много порочных инстинктов, не истребили, однако ж, отзывчивости доброго сердца.

В эти минуты прощения, когда острые раны самоистязания болели до физического страдания, царевич искупил многое в своем прошлом. Это были те критические минуты, когда совершаются коренные повороты, когда злодеи становятся святыми и, наоборот, когда святые делаются злодеями; но они прошли бесследно. Его слезы увлажнили только изголовье, облили холодный лоб больной, но ни в ком не нашли поддерживающего, нежного участия.

Больная с полудня видимо стала слабеть. Царевич не отрывался от нее, за исключением только тех минут, когда его самого, потерявшего чувство, выносили на свежий воздух. На его глазах происходила грозная борьба жизни со смертью, видимая им в первый раз и производившая на него странное впечатление. Он терзался, его мозг и нервы дрожали, а между тем он не мог оторваться, не имел силы убежать от раздирающей картины, как будто он упивался ею.

Вечером началась агония, стали холодеть оконечности рук и ног, вся жизнь сконцентрировалась только в отправлениях сердца. Умирающая то переставала дышать, то с заметным усилием вбирала в себя воздух, хрипло проходивший к испорченным легким; по временам она делала конвульсивные движения руками, как будто желая захватить как можно большее количество воздуха. Скоро и эти усилия стали слабеть, движения делаться редкими и тоскливыми, руки судорожно прижиматься к груди, а голова запрокидываться. В полночь борьба кончилась последним нервным усилием: глаза вдруг широко раскрылись, как будто что-то дикое блеснуло в них; все тело дрогнуло и вытянулось. Царевича без чувств вынесли из комнаты.

Начались обыкновенные приготовления, которых Алексей Петрович не видал, да если бы и видел, то не понял бы; ничего не сознавал он во все за тем шесть дней, в которые тело кронпринцессы лежало на парадном одре для послед-

него прощания. Царевич не видел, как на следующий день после кончины явились какие-то люди и стали рыться во внутренностях дорогого ему праха, чего-то отыскивая; как будто могли отыскать те нравственные муки, которые вернее ножа отправляют в другой мир. Но царь не мог пропустить такой любопытной okazji: он присутствовал во все время анатомирования, рассматривая с обыкновенной своей любопытностью вынимаемые докторами части и поучаясь. По окончании этого любопытного зрелища царь отправился крестить новорожденного внука Петра вместе с сестрою, царевною Натальей Алексеевной.

Через неделю по церемониалу, составленному самим государем, большим охотником и мастером устраивать всевозможные церемонии, совершилось торжественное погребение тела кронпринцессы. Ровно в четыре часа пополудни военные, офицеры в новой парадной форме, вынесли из дворца гроб под балдахином и несли его на руках между рядами войск гвардии, расположенных шпалерами, до берега Невы, где процессию ожидал траурный фрегат. Непосредственно за гробом шли государь и царевич, за ними царевна Наталья Алексеевна с вдовствующей царицей Прасковьей Федоровной, шествие замыкал весь двор. Лицо государя было важно и сурово, обычная энергическая вертикальная складка между бровями говорила хорошо знавшим его, что им принято какое-то неизменное решение. Бледный царевич как-то растерянно осматривался кругом, будто не узнавая, где он и что такое творится. Траурный фрегат перевез процессию в крепость — место упокоения кронпринцессы.

Улеглась немецкая принцесса Шарлотта под надежную охрану крепостных петропавловских пушек нового отечества, и, казалось бы, все кончилось с ее последним житейским расчетом, но в те легендарные времена не так скоро, как ныне, расставались с историческими личностями. Через несколько лет в Америке вдруг появилась женщина, выдававшая себя за кронпринцессу Шарлотту, будто не умершую и не похороненную в крепостном соборе, а бежавшую от постылой жизни в Новый Свет. Кто была эта женщина — так и осталось для всех тайной, но, вероятно, из близко знавших покойную, так как она совершенно верно передавала все интересные подробности жизни кронпринцессы. К счастью, самозванка не обладала достаточной энергией выставить всенародно свои права, да и судьба оттолкнула ее от скользкой дороги. В Америке (Луи-

зиане) она познакомилась с французским лейтенантом Обером, вышла за него замуж, переехала с ним в Европу, жила счастливо сначала в Иль-де-Франсе, а потом в Париже и умерла старухой в Брюсселе.

Из Петропавловской крепости весь двор и сам государь воротились во дворец царевича, где происходило обычное поминовение. Во все время заупокойного стола государь, против своего обыкновения, пил мало и не шутил. Тут же за столом еще более ясно все заметили странные отношения отца к сыну. С самого начала процессии отец ни разу не обратился к сыну и не сказал ему ни одного слова. Никто не знал причины, кроме, может быть, одного Данилыча, но все чувствовали и все догадывались по этой злой вертикальной складке, что будет что-то недоброе. Не замечал этого только один тот, до которого гроза касалась ближе всех: не замечал сам царевич — он не успел еще прийти в себя, да и вообще в присутствии отца всегда совершенно терялся.

После поминального обеда, простившись со всеми тем небрежным приветом, который замечался в государе всегда в минуты сосредоточенной неприятной думы, царь собрался уходить и в то время, когда царевич целовал его руку при провожании, отдал ему письмо, проговорив обрывисто:

— Прочти и дай мне отповедь о твоей резолюции.

Вслед за государем отправились все; даже и те всегдашние застольные гости царевича, которые, бражничая, нередко засиживались долго за его столом.

Проводив гостей, царевич дрожавшими руками развернул письмо и прочитал его, останавливаясь на некоторых местах и перечитывая их.

Это было грозное «Объявление сыну моему».

В начале письма говорилось о причинах шведской войны и о победоносных результатах, добытых ею для могущества России, а затем следовало обращение к сыну: «Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость (победы над шведами) рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на правление дел государственных непотребного (Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отъял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли и которых не знали

в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить: ибо сия есть единая из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона».

Далее в доказательство приводятся в пример греки, которые по любви к миролюбию были побеждены и отданы тиранам. После же этого примера государь обращается к сыну:

«Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, но сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата моего не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих и дела нет и до чего охотник начальствуяй, до того и все, а отчего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, кольми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь не может».

Далее как доказательство важности охоты государь приводит в пример опять покойного брата Ивана Алексеевича, который любил лошадей и при котором, несмотря на его болезненное состояние, конюшенная часть была в самом удовлетворительном положении, и затем — в пример покойного французского короля, лично не ходившего на войну, но любившего воинские дела, отчего войны его «театром и школою света называли».

В заключение в письме говорилось:

«Сие все представя, обращаюсь паки на первое, о тебе рассуждати: ибо и есть человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое и возвращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу Евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что Бог дал, бросил)! Аще же и сие вспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколько много за сие тебя бранивал, и не точию бра-

нивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству.

Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо избрал сей последний завет тебе написать и еще мало пождать, аще не лицемерно обротить. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангрезный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие только в устраску пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный».

Письмо ясно и положительно требовало перерождения, полного отрешения с размаху от всего, что всосалось с молоком матери, что воспиталось наставлениями и, наконец, что вколотилось рукою отца, так как брань и вколачивания могли отвратить, а никак не привязать; требовало такой ломки, какую ломалось тогда все: нравы, обычаи, убеждения и жизнь. У Алексея Петровича была чисто славянская, расплывчатая натура, и в том размягченном состоянии, в каком находился тогда, нежное, дружеское слово, участливое отношение заставило бы его делать над собою усилие; может быть, и изменило бы многое; но требование резкое и суровое вызвало реакцию в тягучей природе.

«Что делать?» — спросил сам себя царевич, перечитав несколько раз письмо, опустившись к столу и подперев обеими руками голову; а между тем в глубине души бессознательно подсказывался ответ, на какой бывают способны подобные характеры.

VI

- Как все слабохарактерные, Алексей Петрович всегда искал для себя внешней поддержки, подтверждения своих убеждений и мнений лицами, близко стоявшими к нему

которых считал себе преданными и разделявшими его взгляды

Почти всегда царевич не знал наперед, что ему ответят, верно оценивал этих лиц, а все-таки обращался к ним как будто в оправдание себя или из желания сложить с себя часть ответственности в случае неудачи, хотя точно так же знал и то, что эти лица не будут для него ни оправданием, ни даже умалением ответственности Преданных лиц у него было много. весь серый люд, почти все церковники, духовник Яков Игнатьевич и сам Степан Яворский, всегда втайне благоволивший к нему, сельские и городские попы и чернецы, большинство господ сената, но всех ближе, разумеется, стоял к нему пестун его князь Никифор К нему-то и обратился царевич за советом, как отвечать отцу на грозное его объявление

Впрочем, не одна потребность видеться с князем Никифором, от которого трудно было ожидать умного совета, тянула царевича к заветному дому, а другое чувство, в котором он не хотел дать себе ясного отчета, в котором обманывался или, по крайней мере, старался обмануться. Алексей Петрович не хотел признаться себе, что его милая Афросюшка, с которой он не видался в последние дни, была ему по-прежнему дорога, если еще не дороже, не хотел признаться, что он идет не к учителю, а к Афросе, от которой он, по-видимому, совсем отказался как от виновницы своих отношений к покойной жене

Вечером, в день получения объявления, царевич отправился к князю Вяземскому Учитель еще спал после обильного обеда, и гостя встретила похудевшая и покрасневшая Афрося.

Жадно ждала во все это время Афрося своего милого Алешу, ждала каждую минуту и каждую секунду, отдававшиеся болезненно в ее сердце. Слышала она, что кронпринцесса тяжело заболела, потом услышала и о ее смерти, но никак не могла понять, отчего же это мешало другу повидаться с ней хотя на одну минуту Афрося относилась к болезни, а потом и к смерти жены царевича совершенно равнодушно, не предчувствуя даже существования какого-нибудь недоброго чувства Алексей Петрович как-то разделялся в ее глазах на два образа на царевича, до которого ей не было никакого дела, и на человека, с которым она составляла одно нераздельное, который был ее правом ее силой, ее жизнью. Афрося вовсе не ревновала своего милого друга как мужа кронпринцессы, может быть, от

инстинктивного понимания его любви к себе, а может быть, и от приниженного своего положения как в отношении к земному владыке; не ревновала даже до такой степени, что в своих молитвах о сохранении жизни и здоровья своих близких людей она не пропускала и имени Шарлотты Афрося не подозревала тех страшных упреков, которые говорил себе царевич во время тяжкой болезни кронпринцессы, не понимала его борьбы и обвинения себя

В последние томительные дни она каждую минуту выбегала в сени прислушаться, не раздадутся ли по ступенькам крыльца слишком знакомые шаги. Но часы проходили за часами, дни за днями, а царевич не приходил. От барина своего, князя Никифора Кондратьевича, она знала, что делается во дворце, но не могла знать, что делается в глубине души своего Алеши

Наконец-то ее чуткое ухо отчетливо отличило стук отворенной калитки, потом торопливую, неровную походку по лестнице, скрип сенной двери, распахнутой дорогою рукою,— это он, непременно он! До этого момента она постоянно думала: как он придет, как она бросится к нему, обнимет, приласкает его, а вышло не то. Он пришел, но она не бросилась к нему, а, напротив, точно остолбенела с раскрытыми, испуганными глазами; словно все замерло в ней, словно и сердце перестало колыхаться в груди. Он тоже не подошел к ней, а остановился далеко,— каким-то сконфуженным, смущенным, пойманым в непростительной шалости, с опущенными глазами и с полуопущенной головой. В таком страшном и томительном положении простояли они много минут.

— Я... к князю... Никифору,— проговорил наконец заминаясь и нерешительно Алексей Петрович, будто оправдываясь в приходе.

— Спит... после поминанья.. прикажешь разбудить?— отвечала девушка точно не своим, а каким-то чужим, отдавшимся издали голосом, почти не шевеля губами

— Зачем? Пусть спит я в другой. али подожду..

Царевич взглянул на девушку боязливо и недоверчиво, как будто не на свою милую Афросю, а на чужую опасную женщину; но этого взгляда было довольно.. Он прочел в глазах девушки многое, мгновенно вытеснившее все его горькие упреки самому себе и досуха высушившее его недавние слезы.

Царевич пошел за девушкой в ее комнатку, в дверях

они остановились, оба под влиянием одного и того же побуждения.

— Афрося... милая... знаешь?.. слышала? Я... мы... виноваты... много виноваты... Мне так больно... столько плакал...— бессвязно бормотал царевич, невольно овладев рукою девушки и не спуская с нее глаз,— а ты?..

— Я... я, царевич, все ждала тебя... и не гадала...— девушка, не договорив, заплакала.

Слезами смылись последние следы раскаяния, и оба они вошли в свою милую горенку прежними друзьями. О чем говорили они там — это их тайна, но только поздно вечером, по выходе из светлицы, Алексей Петрович казался другим человеком — спокойным и счастливым.

На барской половине Алексея Петровича встретил учитель тревожным вопросом:

— Какую цидулку передал государь после обеда?

Царевич подал учителю объявление с тем покойным, равнодушным видом, в котором не было и тени обычной нерешительности.

— Ну что скажешь, Никифор?— спросил царевич, когда князь Никифор прочитал письмо.

— Зело гневен государь и в чрезмерное сумнительство меня приводит... По чьей бы это инсинуации произошла такая резолюция?— рассуждал учитель, с изумлением поглядывая на спокойное лицо Алексея Петровича, обыкновенно такое подвижное и тревожное.

— Инсинуация известно чья — Сашки Данилыча Светлейшему охота мачеху выставить и обеспечить ей самой наследство, благо, теперь и сынок у ней родился. Будет Катерина государыней — ему хорошо, из его воли не выйдет

— Так... так... ну, а как же ты, царевич?

— Я-то?.. Да так же, как и прежде, все буду тянуть свою канитель... болен-де да неспособен. У отца эпилепсия, а доктора говорят, что когда эта болезнь прилучается в пожилых годах, так тот человек долго не проживет; вот и святые люди тоже...

— Спрашивал и я,— то же говорили; да ведь ты знаешь, какой нрав у отца? Откладывать не любит.

— А ежели пристанет и невтерпеж будет, так убегу

— Убежишь?

— Убегу.

— Куда убежишь?

— Найду куда, лишь бы время протянуть. Я уж давно

об этом думаю. В прошлую еще поездку мою в Карлсбад, года два назад, при покойной жене, Кикин советовал мне остаться за границей, побывать в Голландии, в Италии и выбрать себе местечко на случай, да я тогда не решился. Советовал он мне еще поискать при французском дворе, тамошний король, слышно, великодушен, — многих королей под своей протекцией содержит, так не большое дело и меня ему принять.

А как здесь-то? Ведь государь лишит тебя наследства, назначит, пожалуй, новорожденного своего сына, либо жену, либо какую из дочерей.

— Что ж за беда? Ну и назначит хоть бы сына Катеринушки. Ежели отец долго не проживет, так за малолетнего кто-нибудь да должен же править? Народ, святые отцы и господа сенат на моей руке и выберут меня правителем, а там много времени, что-то еще будет!

Ладно ты придумал, царевич, только никому не сказывай и Кикину-то очень не доверяйся.. Да вот еще что: убежишь ты, а мы-то тут как? Государь жилы у нас повытянет

Да вам что? Вы и знать не знали, ведать не ведали. Уеду я за границу с разрешения отца, а там и скроюсь. Разве вы ответчики за меня? Спрашиваться, что ль, у вас буду?

Решено было тянуть настоящее положение дел до последней крайности, а потом убежать; но утром на другой день — утра у царевича всегда были мудренее вечеров — снова явились сомнения и нерешительность. «Что делать? Как отвечать отцу?» — снова, в сотый раз, повторял себе Алексей Петрович и за разрешением отправился теперь к другим, на этот раз к самому хитроумному из своих приближенных, к Александру Васильевичу Кикину, жившему в своем великолепном каменном доме близ Адмиралтейства.

Царевич слепо верил в необыкновенную изобретательность Александра Васильевича; да и как было не верить, когда Александр Васильевич сумел выпутываться благополучно из таких сетей, из которых, казалось, и невозможно было бы извернуться обыкновенному смертному.

Семья Кикиных славилась богатством, не родовым наследством, а благоприобретенным: типом благоприобретений наших современных кассиров. Старший брат из Кикиных, Петр Васильевич, занимая тепленькое местечко по заведованию всеми рыбными промыслами и мельни-

цами по всей России, сумел извлекать при самом даже Петре всевозможные и невозможные доходы, хотя и бывал в переделе: бывал пытан за разные фальшивые подписи, был и сечен кнутом за неурядное преступление — любовное насилие над тринадцатилетней девочкой; но за всем тем все-таки выплывал на глубокую воду. Младший брат, Александр Васильевич, считался еще замысловатее брата, умнее и богаче его. В одной Москве числилось за ним больше ста больших лавок, в которых торговали его крепостные, платившие ему немалый оброк. Впрочем, он получал оброк не с одних крестьян, а со всех, с кем ему приходилось только иметь дело. Дела же Александр Васильевич водил немалые: государь Петр Алексеевич, оценив его тонкий, сообразительный ум, пользовался им во всех случаях, когда надобно было разузнать и выяснить какое-нибудь темное обстоятельство. Случалось и Александру Васильевичу проворовываться и подпадать под тяжелую руку государя. Раз был он сечен за взятки и разные злоупотребления, лишен чинов, имения, сослан; но опала продолжалась недолго. Государь помнил его, чувствовал себя без него в некоторых случаях как без рук и в том же году, простив, снова взял к себе на службу. Но Кикин не простил государю розог; может быть, не простил более потому, что не мог оттеснить Данилыча и не мог один завладеть волею государя. Кикин замыслил месть. Ходил даже по городу слух между современниками, будто он три раза пробовал стрелять в спящего государя и три раза пистолет его осекался, будто он сам добровольно каялся в том государю и получил прощение; неизвестно, справедлив ли был этот слух, об этом знали только он да государь, но, во всяком случае, Александр Васильевич тайно поддерживал сына против отца. Мало того, разными хитросплетениями он постоянно возбуждал между ними взаимное раздражение и неудовольствие. Как человек расчетливый и дальновидный, он видел, что при отце-государе его песенка спета; что он никогда не будет играть главной роли, всегда будет в подчинении у своего личного врага Меншикова и всегда будет в опасности повторения опалы; при Алексее Петровиче же, когда тот воцарился бы, роль его была бы первенствующею и бесконтрольною.

Царевич нашел мужа и жену Кикиных в роскошном кабинете за утренним чаем, который в то время даже и у аристократии распивался очень рано: в зимнее время, при свечах, а в осеннее время на рассвете. Оба хозяева,

Александр Васильевич и Надежда Григорьевна, при входе Алексея Петровича казались чем-то смущенными; на длинных шелковистых ресницах хозяйки висели слезинки. Надежда Григорьевна считалась не последнею красавицею Петровского времени, вообще нескудного красивыми женщинами. Не считая самой Катерины Алексеевны, сохранившей молодость и миловидность, подобные звездочки, как Наталья Федоровна Балк, Анна Гавриловна Головкина, сестра ее, Матренушка и Аннушка Монсовы, Трубечкая и фрейлина Гамильтон, по прозванию современников, Гаментова, могли бы блистать и при любом дворе Запада И в среде этой плеяды Надежда Григорьевна была заметна по красоте форм и милому выражению белоснежного личика. Но не всегда на этом личике лежало кроткое и ясное выражение; у себя дома, в кабинете, с глазу на глаз с мужем, молодая женщина делалась капризною, раздражительною и требовала видного общественного положения. Александр Васильевич страстно любил жену — это была едва ли не единственная его слабая сторона, угождал ей, нежил, окружал роскошью и лез в высоту

— Оставь нас, Надя, с царевичем, обратился к жене Александр Васильевич, направляясь навстречу Алексею Петровичу, заметив особенное тревожное состояние гостя.

— Верно, дурные новости, государь? — спросил он, когда они остались одни.

— Очень дурные, Александр Васильевич, вот почти сам, — отвечал царевич, подавая хозяину письмо отца.

— Я это предвидел и недаром советовал тебе оставаться за границей.. Напрасно ты тогда меня не послушал, — высказал Кикин, отдавая письмо.

— Прошлого не воротишь, Александр Васильевич, лучше посоветуй, что мне теперь делать.

— Самое лучшее, по моему мнению, — отречись от престола.

— Я то же сам думал... да лучше ли.. у меня дети...

— Отречешься ли ты или не отречешься — все равно: ни ты, царевич, ни дети твои, говорю тебе прямо, не наследники. Прямой наследник родился на днях Неужто ты думаешь, Данилыч не работает? С тобою давно у них покончено.. Если не отречешься добровольно, так заставят насильно, а то еще хуже сделают: либо опоят, либо изведут каким-нибудь средством Теперь и выбирай сам ежели нынче откажешься добровольно, так останешься жив и в будущем можешь воротить За тебя, почитай,

все, кроме выскочек, встанут и при случае возьмут на державство. Сашке без государя не жить... А ежели будешь упрямитесь и волочить, так, пожалуй, и пропадешь.

Предположение, высказанное Кикиным, вполне подходило к убеждению, вскоренившемуся в болезненном воображении царевича, о том, что отец только выискивает благоприятного случая, как бы погубить его. Кто хочет и старается убедить себя даже в самом уродливом предположении, тот в конце концов непременно дойдет до уверенности. Царевичу ясно открывалось, зачем государь и его любимец Данилыч подавали ему, такому слабому и болезненному, объемистую чару вина, от которой ему становилось дурно и он падал без чувств; зачем в походе морили его чуть не голодом, заставляли стоять на холоде и ветру по несколько часов. Ясно, что и прежде отец не любил его, а теперь, когда от любимой жены родился сын, так, очевидно, этому сыну и перейдет наследство. Остается, стало быть, только оберегать свою жизнь.

От Кикина царевич отправился к одному из приближенных отца, но в традиционной преданности которого к себе он был уверен,— к князю Василию Владимировичу Долгорукому, всеми уважаемому сенатору, отличавшемуся в походах и любимому солдатами.

— Зачем пожаловал, государь, аль беда какая стряслась? — с обычно своею грубою откровенностью встретил князь Алексея Петровича.

Тот подал ему молча отцовское объявление.

— Так.. так... не без Сашкиных шашень... Знаем мы. Как же ты решил, государь-царевич?

— Да чего тут гадать-то, князь, решил отречься...

— Верно, Алексей Петрович, теперь тебе больше и ходу нет никакого.

— Боюсь только, князь...

— Чего?

— Свяжешь себя письменно, а у меня дети...

— Э.. чего выдумал бояться! Разве письмо значит что?.. Ничего... Давай хоть тысячу писем, кто знает, когда еще что будет? Ведь твое письмо не запись какая крепостная с неустойкой, какие мы преж сего промеж себя давали. Старинная пословица сказывается: улита едет, когда-то будет!

Убедившись, что действительно его письмо с отречением не запись какая крепостная с неустойкой, царевич, воротившись домой, принялся за сочинение ответного письма

Много перервал он бумаги, находя то выражения слишком ясными, то слишком неопределенными и досадливыми для отца, то слишком резкими; наконец он остановился на одной редакции, которую на следующий же день и отправил к отцу.

В его письме говорилось:

«Милостивый Государь Батюшка!

Сего октября в 27 день 1715 года, на погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел; на что иного донести не имею, только буде изволишь, за мою непотребность, меня наследия лишишь короны Российской, буди на воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, понеже памяти весьма лишен (без чего ничего возможно делать), и всеми силами умными и телесными (от различных болезней) ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (дай Боже вам многолетнее здравие!) Российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай Боже здравие) не претендую и впредь претендовать не буду; в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою, и, ради истинного свидетельства, сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, себе же прошу до смерти пропитания.

Сие все предав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей».

Прошло несколько дней, а от отца нет никаких вестей. С тоскливым нетерпением царевич идет тайком к князю Василию Владимировичу узнать, как принял его ответ государь и на что решился.

— Чаю, наследства лишит и кажется доволен, — высказал князь и потом добавил: — Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет.

И царевич поверил такому благополучию, обрадовался и успокоился. Да и как же было не верить, когда говорит так сам князь Василий Владимирович, один из любимых приближенных отца, но в тайном расположении которого к себе царевич вполне был убежден. Царевич живо помнил: как раз давно уже, несколько лет назад, еще при осаде Штетина, когда они — он да князь Василий — ехали вдвоем для осмотра диспозиции войск, откровенно передавая друг другу жалобы на отцовские тягости, князь Василий с особенной резкостью высказался:

«Кабы на государев жестокий нрав да не царица (Екатерина Алексеевна), нам бы жить нельзя; я бы в Штетине первый изменил».

VII

Ярко освещен громадный, сравнительно с низкими постройками того времени, дом адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина на том берегу Невы, где тогда существовала пристань для сообщения с возвышающеюся напротив Петропавловскою крепостью и где ныне находится, Зимний дворец. На берегу и по углам дома расставлены смоляные бочки. Волнующиеся ветром пламенные языки освещают фасад, а густые клубы черного дыма прихотливо тянутся змеями через широкую темную поверхность реки. Из окон яркий свет прорезывает глубокую осеннюю ночь длинными светлыми полосами, в которых появляются подъезжавшие экипажи и косматые головы черного люда, жадного посмотреть на выходявших у подъезда именитых особ.

Граф Федор Матвеевич справляет день своих именин великолепной ассамблеей. Хотя ассамблеи формально учредились только три года спустя, но и в 1715 году они практиковались лицами, приближенными к царю, знавшими его твердое намерение уничтожить, по примеру Запада, затвор, вывести из него русскую женщину и сделать из нее общественного члена. Конечно, первые ассамблеи составляли только первообраз тех последующих, для которых организовалось формальное положение — закон, устанавливающий их форму и обрядность. На ассамблеи пятнадцатого года еще рассылались особые приглашения гостям; существовала обязанность хозяина и хозяйки встречать гостей, занимать их; и открытие ассамблейного сезона не возвещалось еще всенародным объявлением на всех площадях и перекрестках.

На стенных часах с кукушкой, новости того времени, пробило шесть часов пополудни — обыкновенный час съезда гостей и открытия ассамблеи, продолжавшейся обыкновенно до полуночи, а в случаях особенно торжественных — именин хозяев или при особенном одушевлении гостей — до двух или трех часов ночи. В парадных комнатах все приготовлено. Обширная зала, где должны были производиться танцы, обливалась режущим глаза светом

от бесчисленного множества свечей, или вставленных в массивную люстру и стенные бра, или просто расставленных в серебряных подсвечниках по окнам, по столам и везде, где только выискивалось подходящее местечко. Кругом залы единственную мебель составляли стулья вдоль стен для отдыха танцующих и пожилых маменок. Навощенный пол блестел отражением переливчатых огней от хрустальных подвесок люстры. Двери в небольшую смежную комнату отворены, и в ней видны расставленные пюпитры с нотами, а над ними головы пленных шведов — музыкантов, составлявших почти единственный оркестр в тогдашнем Петербурге. Правда, были и другие оркестры: у герцога Голштинского трубили двенадцать волторнистов; солидный оркестр у княгини Марьи Юрьевны Черкасской, урожденной Трубецкой, второй жены Алексея Михайловича, игравшего впоследствии при Анне Ивановне такую видную роль; у самой государыни Екатерины Алексеевны был организован прекрасный оркестр; но все эти оркестры были доступны далеко не всем или по дороговизне своей, или по множеству требований; у недостаточных же лиц нередко фигурировали или какой-нибудь скрипач, или просто казак с бандурой. Другие, противоположные двери, тоже отворенные, вели в соседнюю комнату, предназначенную для нетанцующих мужчин. В этой комнате для конврсаций находилась более мягкая мебель со столами и столиками для игры в шахматы и шашки — картежная игра на ассамблеях не допускалась, — а посредине круглый стол с пачками табака различных сортов и лучинками для закуривания.

Сам хозяин граф Федор Матвеевич, в высоком алонжевом парике с пышными буклями, в богатом, вышитом по бортам адмиральском мундире, в чулках и башмаках, заботливо осматривал все приготовления, в особенности по части курения: хорош ли табак, тот ли именно крепкий кнастер, который так любит государь курить из своей коротенькой трубочки. Музыканты настраивали инструменты, перекидываясь предположениями, какие будут танцы, будет ли участвовать сам государь, пойдет ли недавно изобретенный им хитрый, ноголомный цепной танец и танец с поцелуями, тоже введенный государем.

Гости стали съезжаться в назначенный час; в этом отношении тогдашнее петербургское общество резко отличалось от московского. В Белокаменной, несмотря на все настояния государя, ассамблеи открывались одним или

двумя часами позже; персоны спесивого барства, из опасения явиться первыми, выжидали приезда других, и нередко подъехавшие к подъезду кареты возвращались с своими владельницами назад. В Петербурге же, напротив, люди новые, ранговые служилые и иностранцы, подлаживались под тон царя, дорожили временем и всегда являлись на ассамблеи аккуратно, как на службу.

Из первых приехало семейство Головкиных, сам канцлер граф Гаврило Иванович с сыном и двумя дочерьми, отличавшимися на всех ассамблеях. Старшая, Анна Гавриловна, едва заметно рябоватая, высокая и стройная брюнетка, особенно славилась грациозностью в танцах и привлекательною любезностью. Гаврило Иванович вечно торопил дочерей сборами на ассамблеи, в которых не без справедливости находил немаловажный шанс и к служебным успехам.

Почти вместе с Головкиными вошла царица Прасковья Федоровна, вдова царя Ивана Алексеевича, с дочерьми Катериной, Анной и Прасковьей. Царица Прасковья Федоровна не жаловала новых порядков, смотрела на танцы как на богомерзкий, безнравственный соблазн для девиц, но, в угождение царю, на ассамблеях бывала почти постоянно. Теперь же она сочла своей обязанностью приехать ради старинных отношений своего Салтыковского дома с апраксинцами и ради настояний царя, твердившего о необходимости племянницам выбрать себе женихов. Все три царевны были уже очень на возрасте — самой младшей, болезненной Прасковье, минуло двадцать лет, — и все не отличались миловидностью и любезностью. Правда, старшая любила поболтать, болтала за всех своих сестер, но ее крикливый голос немилосердно тиранил уши; миловиднее других сестер казалась средняя, вдовствующая герцогиня Курляндская, Анна, если бы не портили ее довольно заметные рябины и не проглядывала во всей фигуре какая-то сдержанность. Старшие две сестры танцевали довольно охотно, особенно когда за ними не следил наблюдательный глаз матери, но младшая почти никогда не участвовала в танцах, а если и танцевала, то только по приказанию дяди-царя.

— Здравствуй, голубчик Федор Матвееч, поздравляю тебя с ангелом! Вот пришлось и мне, старухе, забавляться вашими бесовскими играми, или, как, бишь, вы их называете, ассамблеями, — пробасила царица.

— Благодарствую, матушка-государыня, за твои оне-

ры ко мне,— рассыпался перед старой царицей хозяин, расшаркиваясь неуклюже, но по моде того времени.

— Полно, голубчик, какие тут нашел онеры? Были да сплыли... плясать, что ль, будешь?

— Как же, матушка Прасковья Федоровна, государь изволил приказать все изготовить для танцев. Намедни говорит мне: «Мало у нас танцоров знатных, я, говорит, всех повыучу».

— Неужто, родной, и ты будешь тешить нечистого?

— Что делать, государыня, велит, так буду ломать косточки.

— Меня-то, голубчики, уж избавьте от срама на старости лет. Мои пусть пляшут, Катюша любит, а Параня не знаю, нешто заставит.

Позади вдовствующей царицы стоял фельдмаршал Борис Петрович Шереметев.

— Отчего же не пожаловала дочка, Борис Петрович, разумница твоя Наталья Борисовна?— пенял хозяин, дружески обнимая старого товарища.

— За дочку прошу у тебя, братец, прощения, ребенок она... учится.

— Что же, фельдмаршал, ей, чаю, без малого годков десять, а по приказу государя все десятилетние девицы должны являться на ассамблеи.

В это время вошла толпа новых гостей, вслед за которыми изволила прибыть сама государыня Катерина Алексеевна, одетая со вкусом и по моде того времени в бархатную малиновую робу, еще рельефнее оттенявшую ее белоснежный цвет лица. За государыней следовали ее придворные дамы и пажы в зеленых суконных мундирах с алыми отворотами, прошитых по швам золотыми галунами. Государь, одевавшийся сам всегда очень просто, любил, однако ж, видеть свою Катеринушку, особенно на парадных выездах, одетую роскошно. В этот же вечер была и особенная, исключительная причина: Катеринушка выехала в первый раз после родов, и государь особенною пышностью хотел указать на то положение, какое она должна занять как мать новорожденного великого князя.

Апраксин рассыпался в комплиментах перед государыней.

— Смотрите, адмирал, вас государь оштрафует. Он запретил встречать и провожать гостей; желает, чтобы все веселились без чинов,— благосклонно говорила государыня, грациозно наклоня голову на общий низкий поклон.

Проводив государыню к назначенному ей креслу, хозяин выбрал себе такое местечко у окна, с которого он мог бы наблюдать приезжих и при входе государя встретить его как будто случайно. Дамы занимали места вдоль стен, причем принималась в соображение не столько родовитость, сколько общественное положение их мужей и фаворитизм; более приближенные и более влиятельные садились ближе к государыне, менее приближенные далее. Кавалеры толпились в углу отдельной группой, не решаясь подходить к дамам; только двое: светлейший Данилыч, приехавший почти в одно время с государыней, подсел к ней с любезной и дружеской улыбкой да денщик государев Иван Орлов топтался около девиц Головкиных и фрейлины Гамильтон. Почти во всем обществе царила полная принужденность; разговоры слышались только около государыни, более же отдаленные сидели молча, опустив глаза, не смея шевельнуться в непривычных еще костюмах. Видимо, новые формы прививались с трудом, большинство смотрело еще на ассамблею не как на общественное увеселение, а как на обязанность, и притом тяжелую.

Скоро вся масса заколыхалась и оживилась. Заметив подъезжавшую крытую одноколку, в которой сидел государь с денщиком Павлушей Ягужинским, Федор Матвеевич направился в обход кругом залы и как будто случайно столкнулся с государем у дверей.

— Филиситую, герр адмирал, с тезоименитством, много лет здравствовать, а нам пировать в сей день,— проговорил государь, обнимая Федора Матвеевича и целуя его в лоб.

Государь был одет в обыкновенный свой кафтан, перетянутый кожаным поясом с бляхой, впрочем, ради именинного праздника на нем красовались чистые манжеты, а на левой стороне груди звезда. Царь казался в духе; веселым взглядом окинув все собрание, он заметил общую принужденность кавалеров и дам.

— Немые, аки статуи или антики какие, сидят,— проговорил он, засмеявшись и с упреком обращаясь к хозяину.

— Что стоишь, Федя, время начинать танцы!

Федор Матвеевич засуетился и бросился отыскивать букет. По моде петровских ассамблей хозяин открывал танцы с букетом в руках, который потом и передавал даме, выбранной им распорядительницею танцев. Эта же избранная дама, с своей стороны, в конце вечера должна была подарить его тому кавалеру, в доме которого она

назначала быть следующей ассамблее. В благодарность за выбор кавалер обязан был накануне назначенной им ассамблеи послать избравшей его даме букет, веер и перчатки.

Впрочем, роль распорядительницы иногда почти ступенывалась именно тогда, когда сам государь участвовал в танцах. В этих случаях он сам назначал танцы, устраивал пары — и тогда горе бывало всем подневольным танцорам.

Музыканты заиграли какой-то церемониальный марш, вроде похоронного. Согласно с модой, хозяин открыл ассамблею церемониальным танцем с Катериной Алексеевной, а за ними выступал государь, выбравший себе госпожу Румянцеву, знаменитую танцовку, с которою он особенно любил танцевать и с которою впоследствии танцевали великие мира сего почти в продолжение целого столетия. Едва ли не последний ее танец был с Александром Павловичем при императоре Павле Петровиче.

Много сердечек под зашнурованными корсетами колотилось тревожно от ожидания, кому будет передан заветный букет Федора Матвеевича. Все знали, что государыня не возьмет его, а между тем с передачей букета соединилось много надежд и ожиданий. Для девушек в нем нередко заключался важный вопрос о партии. В распорядительнице девушка выдвигалась вперед; получала возможность выказать всю свою грацию в том именно танце, который исполняла лучше; могла обратить на себя внимание самого государя, а всем была известна его страсть устраивать свадьбы. Для замужних дам был тоже интерес не последней важности; разве не выдвигались на служебной иерархии мужья по милости своих ловких жен?

Не меньшим смущением тревожился и Федор Матвеевич. Предпочтение, оказанное одной даме, неизбежно оскорбляло самолюбие других, а Федор Матвеевич хорошо знал, что оскорбление женского самолюбия самое опасное из всех зол. Предпочтение на первой же ассамблее, и притом такой торжественной, возбудило бы против него всех мужей, отцов, братьев, родственников и всех поклонников милых очаровательниц.

Каждая из этих очаровательниц находила себя достойною выбора и почему-либо считала себя выше другой: одна понимала, какие у нее прекрасные волосы; другая тщеславилась своей великолепной талией; третья восхищалась своим цветом лица, а четвертая любезными манерами.

Не испытывал Федор Матвеевич и во время самой сильнейшей бури на море такого смущения, какое испытывал теперь, вертя в руках свой злосчастный букет. Вдруг его осенила счастливая мысль.

— Простите меня, государыня, если я, как моряк, не знаком со всеми модными обычаями и не знаю, что мне делать с этим букетом,— простодушно говорил он государыне, ведя ее под руку кругом залы.

— Вы, господин адмирал, должны поднести его той даме, которую выберете достойною быть хозяйкой и распорядительницей вашего бала.

— Достойною, государыня? Но если я не нахожу никого достойнее своей государыни, которая во всякий момент обретается хозяйкою всех наших сердец и за светом которой я не вижу никого?— вкрадчиво льстил Федор Матвеевич, хотя под его алонжевым париком насчитывалось много достойных и хорошеньких хозяек.

Как ни груба была лесть, но она приятно щекотала ухо Катерины Алексеевны, не привыкшей еще отличать правды от придворной лжи. Воспитанная в черной работе, в убогом домишке бедного пастора, попавшая потом случайностями войны в дом царского фаворита Данилыча, замеченная и взятая царем, она, при всем своем находчивом уме, не приобрела еще навыка правильно оценивать льстивые речи: она верила им, как верит каждая женщина, не обожженная еще ложью.

— Государь не любит, когда меня выбирают хозяйкою; говорит, будто это мешает свободе и общему веселью. Выберите, граф, другую.

— Но я не знаю никого достойной.

— Так я помогу вам. Дайте мне свой букет, я передам его даме моего мужа, фрау Румянцевой. Государю это понравится, он любит с ней танцевать.— И, взяв цветы, она обернулась к следовавшей позади паре — Румянцевой с государем.

— Граф просит меня передать букет вам как самой достойнейшей царице бала.

За церемониальным танцем следовал менуэт, исполненный двумя парами: Павлушей Ягужинским с Анной Гавриловной Головкиной и денщиком Иваном Орловым с фрейлиной Гамильтон.

Государь и Катерина Алексеевна сидели в конце залы, любясь грациозным танцем обеих пар.

— Посмотри-ка, мутерхтен, на наших кавалеров!

Чудо! Хоть в сей момент в Версаль! Молодец Павлуша, ловка ж и Аннушка! Что за пара!— вскричал государь, видимо довольный успехами своих денщиков-адъютантов.

— Знаешь ли, Катя,— обратился он к государыне с серьезным видом,— я хочу женить Павлушу.

— На ком, государь?

— На ком же, как не на Аннушке, дочке Гаврилы Ивановича. Видишь, какая славная пара! Гаврила, знаю, заупрямится, да я буду сватом, авось не откажет... Павлуша мой далеко пойдет, малый смысленый, расторопный.

В это время к царской чете подошло семейство из двух дам и одного кавалера: это была знаменитая Матрена Ивановна Балк, урожденная Монс, с дочерью Натальей Федоровной и братом Вилимом Иванычем. Матрена Ивановна — женщина на вид лет двадцати, хотя в действительности ей минуло за тридцать, заметно красивая даже и в этом замечательном цветнике роскошных роз; ее же дочка, пятнадцатилетняя девочка, обещала быть еще красивее. Наташа была из тех очаровательниц, перед которыми становится на колени восторженный художник в созерцании удивительного сочетания нежности, мягкости и правильности черт прелестного личика. Дядя ее Вилим, молодой еще человек, несколькими годами моложе сестры Матрены Ивановны, но такой же красивой наружности, невольно привлекал к себе все женские сердца.

Семейство Монсов, известное гнездо красоты, давно было близко к царю и связано с ним воспоминаниями печальной истории. Давно, лет шестнадцать назад, сестру этой Матрены Ивановны, Аннушку, государь страстно любил; так же страстно, как Аннушка любила, только не его, а саксонского посланника, потом утонувшего в одном из строящихся петербургских каналов. Долго государь не мог простить измены своему чувству, долго не хотел никого видеть из этого семейства, но наконец время взяло свое, а может быть, и новая привязанность к Катеринушке заживила прежнюю острую боль. Государь простил, выдал виновную замуж за хорошего человека, оплакал потом без особого жгучего страдания ее преждевременную смерть и, наконец, нисколько не противился сближению своей Катеринушки с Матреной Ивановной, когда они вместе жили в Эльбингенге. Мало того что не противился, он даже сам вызвался снова приблизить Матрену ко двору а брата ее Вилима принять к себе на службу. Вилим Ива-

нович сделался камер-юнкером государыни и самым близким, домашним человеком в царском семействе...

Государыня приветствовала Матрену Ивановну дружески, как близкого человека, ласково поцеловала в лоб Наташу, потрепав ее нежную щеку, и слегка наклонила голову на грациозный поклон своего изящного камер-юнкера. Ее взгляд, скользнув по благородным, привлекательным чертам Вилима Ивановича, перенесся на мужа, оглянул его колоссальную фигуру и... невыгодное сравнение для мужа выразилось на ее лице легким румянцем.

— Почитай, в сей момент получил я экстраординарную депешу от твоего мужа, Матреша, и не без удовольствия прочитал оную,— обратился государь к матери.

— Он всеми силами старается выполнить инструкции вашего величества,— отвечала Матрена Ивановна, всегда умевшая тонко и ловко сказать приятное, где это было нужно.

— Отменно хорошо он ведет свои акции, и я им презрительно уконтентован.

— Ваше величество всегда и прежде были милостивы к нам.

— О прежнем, Матреша, не поминай... Кто старое помянет, тому глаз вон — слыхала нашу старинную поговорку? Забыл я старое, и ты забудь,— серьезно проговорил государь с несвойственной задумчивостью.

Может быть, в эти минуты в его памяти пронеслось давно минувшее, его свидания с синеокой Аннушкой, которая ему так жестоко изменяла; коварные обманы этой самой Матрены, устраивавшей свидания сестры с саксонцем и сторожившей у них. Но государь не любил — не в его натуре было — переживать прожитое и надолго отдаваться сантиментам; и, встряхнув головой, как будто отогнав воспоминания, он продолжал:

— Сказал я тебе, Матреша, позабочусь об тебе и держу слово. Брата твоего взял к себе, и об нем не думай: я и государыня его полюбили... он малый добрый, старательный, не на все руки только... да ничего... привыкнет, оботрется. Теперь надо позаботиться о твоей красавице дочке... Замуж ее пора.

— Молода еще дочка, всемилостивейший мой владыко и государь, и неразумна... Впрочем, если милость ваша будет показать жениха...

— Поищем, Матреша; посмотри вон там, между кавалеров, моряк... Чем не жених?

— Лопухин, Степан Васильевич?

— Он самый. Апробуешь?

— Мне кажется, не пара, — вмешалась государыня.

— А чем не пара, изволь сказать? — с нетерпением спросил государь, не любивший слышать возражений, иногда даже и от своей Катериночки, хотя в действительности она в конце концов незаметно всегда ставила на своем.

— Не пара по наружности и по всему. Наташа красавица, а он какой-то неотесанный, точно чурбан.

— Чурбан?! Не чурбан он, сударыня, а моряк, лейтенант Российского флота, у англичан учился, делал кампании, я немалую пользу чаю от него получить.

— Да ведь ты не Наташа, вкусы у вас разные, — возражала государыня и при случайном сравнении мускулистой железной фигуры мужа с хрупкой, миниатюрной Наташей невольно засмеялась.

— Ничего не нахожу достойного осмеяния в моем проекте, — продолжал настаивать государь, — и диферансы служат еще вящим резонем. Большой авантаж будет для государства, если мои люди кровью смешаются со старыми.

— Я заметила только о наружности жениха вашего, государь, — оправдывалась Катерина Алексеевна.

— И наружность ничего. Господин лейтенант Лопухин не урод какой, годный в Кунсткамеру, а персона, как и все. Посмотри, Матреша, — обратился государь к матери, указывая на молодого моряка, это ли не человек? Здоровый, крепкий... и генерация от него будет знатная.

— Воля вашего величества для меня священна, а мудрость ваша, государь, дальше видит всех нас, — успокаивала царя Матрена Ивановна.

В сердце своем Матрена Ивановна была нисколько не против проектируемого брака Наташи. Как испытавшая ту низменную сферу, из которой вышел ее отец, видевшая в своем детстве крайнюю скудость средств и вдруг случайно выплывшая на фаворитную высоту, Матрена Ивановна знала цену богатства и почестей. Партия с Лопухиным, бывшим в родстве с государем, льстила ее тщеславию и самолюбию. Не то думала сама Наташа, побледневшая при первых словах государя, с крупными слезинками на длинных ресницах; не о крепыше, широкобровом и кудластом Лопухине Степане Васильевиче, мечтало ее девическое сердечко, не понимавшее ни важно-

сти перекрещивания пород, ни государственного авантажа.

Между тем менуэт кончился на двух парах. Либелла Румянцева подошла к государю справиться, будет ли танцевать и какой именно танец будет угодно ему назначить.

— Всенепременно буду,— отвечал государь, и вслед за тем обер-полицмейстер, всегда бывавший на ассамблеях, громогласно оповестил о гротфатере, в котором примут участие государь и государыня.

У всех прояснились лица, появились улыбки; но вместе с тем у всех, начиная с самой государыни, в душе шевельнулось неприятное чувство. Государыня любила танцевать, но не любила быть в паре с мужем. С другими кавалерами она держалась свободно, иногда даже небрежно, любила перемолвиться с кем желала, большей частью вовсе не выделяла па, но с государем совсем не то: с ним она была обязана старательно и искусно исполнять все установленные правила и па, делать реверансы по всем правилам балетного искусства. Сам государь танцевал с энергией, выкидывая всевозможные и невозможные каприолы с полнейшим воодушевлением, где нужно, притоптывал, подскакивал и кружился.

Когда государь сам танцевал, тогда он любил вмешиваться во все: назначал сам фигуры, назначал даже, какому кавалеру танцевать с какой дамой. Для лучшего обучения танцам, от которых не были избавлены и пожилые люди, государь вздумал применить и здесь систему перекрещивания, занимавшую его в то время; он старался старым кавалерам, едва передвигавшим ноги или неуклюжим, назначать дам самых молоденьких, ловких и, наоборот, ловким кавалерам давать дам самых несообразных. И теперь из этого правила сделано было не более двух или трех исключений, по недосмотру или вследствие каких-либо особых соображений.

Заиграла музыка; кавалеры и дамы стали в два ряда, друг против друга, каждый кавалер против своей дамы. Государь и государыня, танцевавшие в первой паре, исполнили первую фигуру гротфатера почти совершенно безупречно. Похудевшая и похорошевшая после родов, государыня реверансы своему кавалеру и потом другим парам сделала с ловкостью, вполне выказавшей ее прекрасные формы и умение в танцевальном искусстве. Реверансы государя если и не были мягки и грациозны, зато

усердны и смелы. По исполнении реверансов кавалер и дама первой пары выступили вперед, сошлись на середине, взяли за руки друг друга и, сделавши круг влево разошлись по своим местам. Это была первая фигура, которую должны были повторить и все пары.

Во второй паре стояли Данилыч и Румянцева. Князь Александр Данилович танцевал с немалым трудом и усердно подражал государю в непринужденности и подвижности; Румянцева же отличалась, как и всегда. Строго говоря, эта пара не представляла собою крайности, но была допущена только по необходимости, по невозможности Данилыча и Румянцеву как распорядительницу поставить не во второй паре. Государь внимательно следил за всеми движениями своего любимца и одобрительно кивал головой под такт музыки.

Следующую пару составляла уже противоположность: пожилой и неловкий граф Гаврила Иванович Головкин с молоденькой валахской княгиней, урожденной Трубецкою, второю женою господаря Дмитрия Кантемира. Княгиня выделялась поразительной красотой. Высокая и чрезвычайно стройная, блондинка, с отличными руками и чудным цветом лица, она отличалась от других еще одною странною особенностью, впрочем, нисколько ее не портившею: у ней на веке левого глаза на молочном фоне резко отливало черное пятнышко, похожее на мушку.

Третья пара стала делать свои реверансы.

— Не так! Не так, Гаврила Иваныч! — вдруг закричал государь и, не стесняясь, подбежал сам к неловкому кавалеру.

— Сделай, Гаврила, новый реверанс!

Головкин исполнил, но, заторопившись, ткнулся на сторону.

— Что у тебя, чужие, что ль, ноги-то? — сердился государь и стал тут же учить, как и насколько нужно отставлять ногу и как плавно наклонять весь корпус.

Головкин повторил, но вышло еще неудачнее. Государь махнул рукой как на неисправимого и отошел было, но, когда граф и княжна делали круг, снова не утерпел.

— Бери влево, Гаврила, забирай влево! Не пугай ногами! — кричал государь, и снова стал сам повертывать несчастного канцлера.

Алонжевый парик графа съехал на сторону, открыв на выпуклом виске пряди полуседых, слипшихся от пота

волос; обрюзглое лицо залоснилось, раскраснелось и представляло самый жалкий вид. Повторив круг несколько раз по требованию царя, Гаврила Иванович окончательно выбился из сил. Гости хохотали.

Хохотали и те, которые несколько больше не выказывали ловкости; хохотал, например, чуть не до упаду подчиненный канцлеру, служащий в Иностранной коллегии Андрей Иванович Остерман; хотя он, в своем уродливом парике, в кафтане, запачканном и покрытом пухом, с своими длинными, чопорно выступавшими ногами, скорее походил на цаплю, чем на элегантного танцора. Да и вообще как кавалеры, так и дамы, а в особенности кавалеры первых ассамблей, изображали собою полнейшую карикатуру. В новых немецких расшитых кафтанах, у которых широкие фалды торчали как картонные, в плотно обтягивающих ноги панталонах и чулках с подвязками, в лайковых, тесно сжимающих руки перчатках, со шпагами на боку, запутывающими каждый шаг, кавалеры боялись шевельнуться, делали неуклюжие движения; чувствовали себя связанными по рукам и ногам. Дамы как-то скорее осваивались с новыми костюмами, хотя и из них многие казались еще смешными и неуклюжими. Перетянутым корсетами, с пышными фижмами, на высоких, почти двухвершковых каблуках, на которых они не привыкли ходить, с длинными шлепами, как тогда называли шлейфы, трудно было тогдашним львицам кружиться плавно и выделывать каждое па. Исключениями из общего числа были: княгиня валахская, графини Головкины, молоденькая жена статс-секретаря Макарова, Румянцева, княжна Щербатова и княжны Долгоруковы, которых современные иностранцы называли француженками; остальные же все задыхались в танцах, проклиная в душе затеи царя.

Не довольствуясь даже и такими обширными залами, какая была, например, в доме Федора Матвеевича, стеснявшими большой круг танцующих при затейливых фигурах, царь иногда проносился с своей дамой и по другим комнатам. В этих случаях от оркестра обыкновенно отделялся какой-нибудь скрипач, который обязан был точно так же нестись впереди пары по всем комнатам. Веселье!

Наконец первая официальная фигура гросфатера исполнена последней парой, и, по очереди, первая пара должна была начинать вторую фигуру. Государь выбрал

танец, напоминающий нынешнюю мазурку, с разнообразными причудливыми осложнениями, в которых во всем блеске выказывались его балетное искусство и изобретательность: он то плавно неся с государыней рука в руку, то вдруг подпрыгивал, кружил ее около себя, подбрасывал и ловил, как перышко. Все эти каприоли обязаны были проделывать и все прочие пары.

Гросфатер кончился около двенадцати часов, истощив до последней крайности изможденные силы пожилых танцоров. По принятой тогда моде, после окончания танца кавалер элегантно расшаркивался перед своей дамой и целовал у нее руку; но теперь государю вздумалось ввести другой обычай — он поцеловал у жены не руку, а прямо губки. Это должны были исполнить и прочие кавалеры. Многим и весьма бы многим это нововведение было по вкусу, если бы составление пар предоставлялось воле самих танцующих; но в том-то и беда, что вследствие системы перекрещивания теперь молодому человеку приходилось лобызать вместо розовых губок морщинистые, заскорузлые и табачные уста какой-нибудь Марфы Савишны или старухи Салтычихи.

VIII

В смежной курительной комнате собралась особая компания. Здесь, мирно прислушиваясь к стуку и топоту в танцевальной зале, заседали иностранные негоцианты, шкипера, корабельные мастера и другие, тоже не последние гости на ассамблеях. Федор Матвеевич пригласил и их ввиду того, что сам вел с ними не безвыгодное для себя кумовство, а главное — на тот случай, если бы государь, отказавшись от танцев, вздумал бы, как это случалось не раз, позабавиться своим любимым крепким кнастером и дружеской беседой с нужными людьми.

В этой комнате на этот раз было немного гостей — очень уж манили в залу веселые танцы; только около круглого стола несколько голландцев за кружками пива и с носогрейками в зубах; за небольшим отдельным столиком двое игроков в шашки: князь Яков Федорович Долгоруков и князь Дмитрий Михайлович Голицын, да еще два-три из русских сановников, увернувшихся от царской вербовки в танцы.

Князь Дмитрий Михайлович и князь Яков Федоро-

вич — два типа немногих русских людей, сознававших необходимость просвещения, считавшихся образованными не в уряд того времени, но находивших новшества государя если не вредными, то, во всяком случае, резкими и преждевременными.

— Проиграешь, Дмитрий Михайлыч,— подразнивал князь Долгоруков, беря шашку противника, а свою проводя в дамки.

— Не радуйся, князь Яков, прежде времени, не всяким дамкам дают ход, случается иной раз, и их запирают по-старинному,— отвечал князь Голицын, отчеканивая особенно на дамках.

— Ну иную дамку, Дмитрий Михайлыч, не сможешь запереть, спроси хоть самого светлейшего.

Дмитрий Михайлович что-то промычал; по низко спустившимся бровям видно было, что намек задел его за живое.

— Не в ударе ты нынче, Дмитрий Михайлыч,— продолжал подсмеиваться князь Яков Федорович, делая один за другим решительные удары и отбирая шашки; одна, остальная пешка оказалась запертою.

— Поневоле будешь не в ударе от этого гаму и трескотни,— брюзгливо оправдывался князь Голицын, слышавший тоже не последним игроком.

Расставили шашки для новой партии.

Дмитрий Михайлович сосредоточил все свое внимание: не любил он проигрывать ни в какую-то игру. Противники глубокомысленно обдумывали каждый ход.

— Видел я намерения твоего родственничка Николашу,— снова начал Яков Федорович,— сказывал, что государь Петр Алексеевич был у тебя утром.

— Ну что ж? Был.

— Был-то, это так, да будто ты долго к нему не выходил?

— Не выходил потому, что Богу молился.

— И он ждал тебя?

— Если бы не ждал, так ушел бы.

— И долго ты не выходил?

— Не мерил. Когда отмолился и оделся, тогда и вышел.

В это время из залы выскочил скрипач и, наигрывая на бегу какие-то отчаянные звуки, выбежал в противоположные двери, а вслед за ним пронеслась пара государя и государыни. Дмитрий Михайлович ярко зарделся и низ-

ко опустил голову над столиком. И долго спустя, когда давно уже пара исчезла в следующей комнате, он пробурчал, поднявши голову:

— Скоморошество!

Яков Федорович, как будто не расслышав дерзкого замечания товарища, принялся рассказывать, какие бывают безобразия при иностранных дворах.

— Не видел ты, князь Дмитрий Михайлыч, какие случаются попойки за границей, в Польше альбо в Вене Пьют как!

— Чаю, не больше нашего? Нет, брат, больше нашего пить нельзя. В последней ассамблее разве не видел, каков был светлейший Сашка? Мертвым упал, лекарь кровь бросил... Голштинец чуть на ногах держался, а Павлушка каков был? Чуть не передрался, так и лез ко всем с кулаками... — Осуждая пьяниц, князь Дмитрий Михайлович забыл, что и он сам был не последним петухом, что недаром у него побагровел нос, а в ногах показывается недобрая ломота.

— Больше — не больше, князь Дмитрий, а народ там своеволен. Лях и трезвый-то не боится короля, а как напьется, черт чертом становится... В каждой попойке скандал.

— Скандалов-то, Яков Федорыч, и нам не занимать стать, особливо в этих машкарадах! И зачем только их ввел государь?

— Для увеселения народа, князь.

— Народ у нас увеселять нечего, наш народ не заморский... Народ — воск ярый, что перед образами теплится; из него можно вылепить что хочешь, и грешно будет тому, кто из него вылепит свечку для черта. Ну Венеция, что ль, у нас? Там, брат, не то что люди, и воздух-то другой! Пристало ли нам тешить нечистого в масках по нескольку ден? Ну какое будет к нам уважение, когда в самом сенате, в эдаком святилище, господа сенат все сидят в масках?

Вторую партию князь Голицын тоже проиграл, и началась третья. Властолюбивый и самолюбивый, он при первой же ошибке начинал горячиться и, естественно, делал промахи, которыми и пользовался более хладнокровный князь Яков Федорович.

Игра всегда начиналась ровно и с равными шансами на победу с тех пор, пока между товарищами-соперниками не завязывался разговор о близком для каждого из них предмете.

— Когда видел ты царевича? — на этот раз первым спросил князь Дмитрий Михайлович.

— Давно не видал. Сказывают, болен.

— Чем болен-то?

— Полагаю, ничем, — отлынивает. Говорил ли тебе, Дмитрий Михайлыч, о письме государя князь Василий Владимирович?

— Сказывал, да я не совсем-то верю.

— Правда, князь, истинная правда, мне Павлушка показывал и письмо царевича... отрекается...

— По какой оказии отрекается?

— Говорит, будто немощен, не в состоянии править толиким государством.

— Да что ему, в кузнице, что ль, работать? Разве не были болезненные цари? Дядя-то его, Федор Алексеевич, здоров, что ль, был?

— Говорил мне еще Павлушка, будто государь потребовал от сына решительной резолюции: или исполнять все, что он велит, или отречься... тот и отрекся.

— Глупо сделал.

— Что ж ему было делать, князь Дмитрий Михайлыч? Если б сам не отрекся, так все едино заставили бы, а то постригли бы силком.

— Что сделано силком, Яков Федорыч, так то, ты сам знаешь, не в счет. Все же он прирожденный государь, сын и наследник.

— Эх, князь Дмитрий Михайлыч, забыл ты, что у нас не так, как в Швеции иль в какой иной иноземщине, у нас захочет государь, так и сын будет не сыном, наследник — не наследником. Сказывал мне Павлушка, будто государь вознамерился издать указ о том, чтобы наследником считали того, кого он сам назначит помимо крови.

— Пустяки, Яков Федорыч, такое дело не бороды брить, не немецкий кафтан пялить. Вздумается ему назначить себе наследником Сашку-пирожника, так мы и должны у того руку целовать. Враки. Тут настоящий корень. Прочти-ка, братец ты мой, в наших летописаниях, — везде родство святое дело.

— И корни выдергиваются, Дмитрий Михайлыч; если захочет посадить после себя Катеринушку или новорожденного, так и посадит.

— Нет, не посадит, — горячился уже князь Голицын, — говорю тебе, не посадит... не посмеет... Кто она? Знаем

ли заподлинно, что она настоящая жена, по закону?

— Говорят, будто свадьба была в Эльбингене.

— А кто видел? Сашка Меншиков? Так он мало ль что наскажет — ведь она ему тоже своя. По-моему, до тех пор, пока мы сами не увидим на их головах брачных венцов, инокиня Елена все-таки царица, а сын ее наследник. Мало ли у него по свету может быть таких Петрушенек!

— Об чем вы это горячитесь, князюшки мои? — спросил хозяин Федор Матвеевич, подходя к игрокам.

— Да вот князь Дмитрий Михайлыч проигрывает третью партию и сердится, — поспешил сказать князь Яков Федорович, предупреждая ответ Голицына.

— Горд князюшка мой, неохота и в шашках уступить. Ох, Дмитрий Михайлыч, друг ты мой сердечный, не все-то так делается, как желается... иной раз и взаперти насидишься. А теперь, друзья мои, пойдемте-ка ужинать, — пригласил хозяин, указывая на следующую комнату. — Государь приказал не порывать танцев: одна половина будет ужинать, а другая танцевать.

В следующей комнате сервирован был ужин с роскошью, которою отличались высокие персоны и которую сам государь любил видеть в домах своих сановников при торжественных случаях. Ужинный стол блестел посудой, хрусталем, серебром и золотом; на середине вышалась необъятная пирамида вин. В первую смену сели за стол участвующие в grosфатере: государь, государыня, граф и графини Головкины, Меншиков, Румянцева, княгиня Кантемир и гости иностранные. За прибором государыни, бывшим подле прибора ее мужа, стоял новый камер-юнкер.

— На сегодняшней ассамблее учинилось два штрафа, — возвестил государь, поднимая громадный кубок, известный всем под названием Большого орла, — Гаврилу Иванычу за то, что не сделал приличного реверансу своей даме, а самому хозяину за то, что встречал гостей.

Напрасно оправдывались провинившиеся: Гаврила Иванович тем, что он делал реверанс не один, а тысячу раз; а Федор Матвеевич тем, что его ассамблея не зауряд другим, а особая, именная; они должны были осушить кубок до дна. После них выпил и государь, вероятно, тоже по чувству виновности. Царскому примеру последовал Данилыч, а за ним и другие, не исключая даже и дам, обязанных хоть только свои губки омочить в вине.

Впрочем, некоторые и из дам, по благому примеру царицы Прасковьи Федоровны, не последнего питуха того времени, далеко не довольствовались одним прикосновением к рюмкам, а сами, даже и без царского приказа, не уставали угощать себя полными стаканами. Под влиянием винных паров, после первого утоления аппетита, разговор оживился: гости все заговорили, не слушая друг друга; говор смешивается со стуком тарелок, звоном стаканов и ножей, а под этот общий говор завязываются и особые интимные беседы без опасения быть подслушанными.

Царский денщик Иван Орлов извернулся занять местечко подле хорошенькой фрейлины Марьи Гамильтон. У них, как видно, был свой особый интерес, который они старались скрывать на всех ассамблеях, но который все-таки был подмечен завистливыми глазами. Замечено было, что бравый денщик приударивал за молоденькой фрейлиной и что девушка также не отворачивалась от него; замечены были их частые взгляды друг на друга, частые танцы друг с другом; подмечены были даже и украдкой сорванные поцелуи, но молодые люди, занятые только собой, не думали о завистливых взглядах.

— Пей, милая, дорогая моя, пей за наше близкое счастье, за нашу любовь... Государь милостив ко мне, и скоро, скоро мы всегда будем вместе,— шептал Иван Орлов, наклоняясь к девушке и подавая ей бокал.

И бедная девушка пила; нельзя же не доказать своему любимому Ване, как дорожит она счастьем, как она искренно и сильно его любит. Вино отуманило слабую головку и странно повлияло на хрупкое существо девушки; какое-то еще не изведенное жгучее чувство разлилось по всем нервам, охватило жаром и высоко заколыхало грудь. Ей вдруг так непреодолимо захотелось во всей полноте испытать те обаятельные ощущения, яд которых она пила в жадных глазах своего друга. Все окружающее отошло от нее далеко; явилась жажда бравировать и жертвовать всем для него, не стесняться глупыми приличиями, от которых так холодно и которых так не любит ее Ваня. Как очарованная, она наклонялась к нему, и ее страстное дыхание охватило зноем его лицо. К счастью, все гости находились в таком положении, в котором было не до наблюдений над соседями; иначе не избежать бы неопытной девушке от преждевременной огласки.

— Люба моя, зачем нам откладывать свое счастье?

Разве не все равно... Ты будешь же моею... Сегодня я приду в твою комнату...— тихо настаивал Ваня.

— Приходи... буду ждать тебя...— прошептала девушка, не сознавая, как и кому она готовится принести себя в жертву.

Странное, не испытанное прежде чувство ощущала и повелительница фрейлины, сама государыня Екатерина Алексеевна. Обдумчивая, холодная по природе, незнакомая с увлечениями, теперь она чувствовала в себе какое-то недовольство, неудовлетворенность, запрос на то, чего прежде не требовалось. Было ли то просто запросом жизни, почувствовались ли после тяжелой болезни новые силы, или просто под влиянием выпитого после разгоряченных танцев вина, которого муж заставлял ее пробовать и отведывать, но она безотчетно затосковала; ей вдруг показались чуждыми все эти сидящие за столом персоны, и даже сам муж, который осыпал ее благодеяниями, поставил высоко, выше всех, любил ее по-своему — практически, и окружал заботами. До сих пор, поглощенная всем существом своим в житейскую суть, она никогда не задавалась вопросом, что кроме обыденных мелких условий есть еще потребность сантиментов, потребность могучая, но о которой муж ей никогда не говорил, как о вещи совершенно ненужной, из которой нельзя ни хлеба испечь, ни ничего одеть. Не до сантиментов было и всем этим алонжевым парикам; этим покрасневшимся масляным лицам, усердно потягивающим из кружек вино; всем этим практикам: «У меня тоска, а им вот весело,— думалось ей,— верно, надобно больше пить, пить много, пить до самозабвения, до полного задушения этого нового голоса».

— Налейте мне...— глухо приказала она своему камерюнкеру Вилиму, кивнув на пустой бокал.

Вилим Иванович не пил; его бледное, прекрасное лицо резко отделялось необыкновенной привлекательностью от прочих красных и потных лиц. С очаровательной грацией он наполнил бокал и подал его государыне.

— Благодарю... пью за ваше здоровье,— едва слышно сорвалось у ней с языка, и, невольно оглянув его, она встретила слишком много говорящие глаза, покраснела и порывисто обратилась к мужу. А тот в это время с кружкой в руках горячо спорил и доказывал превосходство корабельных снастей, привезенных из Голландии, против русских и входил как тонкий техник во все подробности канатного дела.

Ужин продолжался долго, и продолжался бы, может быть, еще неопределенное время — государь уж очень увлекся любимой беседой, — если б не совершился курьезный случай с светлейшим. Князь Александр Данилович, выпив через край, осовел, опустил и, потянувшись к бокалу соседа мимо своего невыпитого, потерял равновесие и грузно свалился на стол.

Гости окончили ужин в обычном ассамблейном настроении, и каждый из них сидел на своем любимом коньке. Павлуша Ягужинский приставал к соседу Андрею Ивановичу Остерману, задорливо теребил у него обшлаг кафтана, крикливо доказывая, что немцы народ дрянь, плюгавый и что они хоть зело пьют пиво, да от пива толку нет, только живот пучит; а Андрей Иванович бессмысленно слушает его, хлопает отяжелевшими веками да пятится назад, пытаясь ухватиться за край стола и удержаться на ногах. Хозяин, Федор Матвеевич, трется между гостей, хнычет, обливается горячими слезами, натывается на Гаврилу Ивановича, обнимает его и утешает в несчастии.

— Голубчик мой, Гаврилочка... не огорчайся, миленький... ну что делать... плохи ножки... возьми хоть мои... — предлагал Федор Матвеевич, смешивая свои обильные слезы с слюнями Гаврилы Ивановича, но у него самого ноги не слушались и разъезжались во все стороны.

Из всех кавалеров, кроме исправного камер-юнкера, один государь держался на ногах твердо и даже, к общему удивлению, объявил свою волю совершить еще один танец, при этом он предложил свою руку Катеринушке.

— Простите, государь, по законам ассамблеи дама не имеет права отказываться от приглашения кавалера, и я дала слово своему камер-юнкеру.

— Резонт, апробую вашу резолюцию, — засмеялся государь и пригласил на танец стоявшую близко племянницу свою Анну Ивановну.

В отказе мужу и в выборе, может быть случайном, кавалером своего камер-юнкера Катерина Алексеевна руководилась желанием освободиться от выделявания всех каприолой и надеждой, по возможности, сократить танцы — так как государь долго танцевал только с ней да с Румянцевой, а между тем этот случайный выбор был роковым для бедного Вилима Ивановича.

Впрочем, и без отказа государыни танцы не могли бы продолжаться долго: одни кавалеры никак не могли уста-

новиться в ряд и прямо, другие хотя и держались твердо, но не могли делать ни па, ни реверансов, ни круга; пары беспрерывно перепутывались, и как ни бился государь, но на этот раз должен был ограничиться одной фигурой.

После танца государь чмокнул племянницу в губы — это было немим приказом для остальных. Не решался на такое святотатство только один Вилим Иванович, который принялся расшаркиваться перед государыней, мечтая как о самом высшем блаженстве поцеловать ее руку.

— Ей! Господин камер-юнкер! Извольте в точности экзекутировать ордонансы,— крикнул государь, заметив маневры камер-юнкера.

Вилим Иванович и Катерина Алексеевна поцеловались...

По закону ассамблей хозяин не должен был провожать гостей, и на этот раз Федор Матвеевич свято, хотя и невольно, исполнил закон. Не заметив даже выхода царской четы, он по-прежнему в курильной комнате продолжал хныкать, обниматься со всеми, на кого натыкался, и уверять каждого в своей сердечной любви. За государем и государыней пошли только Павлуша Ягужинский и счастливый камер-юнкер как лица, составлявшие их свиту, хотя и не ладившие между собою. Особенно во весь этот вечер Павлуша неприязненно посматривал на Вилима и беспрерывно пытался придирается к нему. Наконец в антикамере, где государыня надевала теплое манто, между ними едва было не разыгралась трагикомическая сцена. Павлуша бросился помогать государыне, но ревнивый Вилим Иванович не желал никому на свете, ни за какие блага земные, уступить своих обязанностей. Он с удвоенною силою схватил за плечо не совсем твердого на ногах Павлушу и отбросил его на несколько шагов. Разъяренный Ягужинский вцепился в воротник камзола камер-юнкера, и не миновать бы самому курьезному скандалу, если б государь не остановил своего любимца.

— Не мешай, Павлуша, господину камер-юнкеру исполнять его оффицию,— строго приказал государь, выходя на подъезд.

Царь и Павел Иванович уселись в крытую одноколку, а за ними вышла и государыня к ожидавшей ее карете. Вилим Иванович ловко помог ей войти в экипаж, за

что и был награжден взглядом, высказавшим ему что-то иное, кроме благодарности, отчего у него будто закружилась голова и замерло сердце.

Вслед за царской четой разъехались и гости, или, вернее, их развезли по домам.

На этой ассамблее загорелась новая, яркая путеводная звезда для Вилима Ивановича; выше и ярче всех других заблистала она и, одарив счастьем, довела — до эшафота. — На этой ассамблее все гости заметили, что государыня особенно благосклонна к своему камер-юнкеру, изволила говорить с ним после ужина во время танцев тихо, так тихо, что даже самые ближайшие, как ни напрягали непослушные уши, не могли ничего расслышать. Фавор подмечен, и все высокопоставленные персоны вдруг с необыкновенной пронизательностью оценили высокие достоинства камер-юнкера и сестры его Матрены Ивановны.

IX

Апраксинская ассамблея чуть не стоила жизни государю.

Выйдя из душных, насыщенных копотью и испорченных дыханием компат, после разгоряченных танцев, государь с жадностью вдыхал свежий воздух; осенняя сырость и морской влажный ветер приятно щекотали возбужденные нервы, и, желая как можно более и скорее освежиться, он распахнул кафтан навстречу холодным, ласкающим струям.

Переезд от апраксинского дома до временного, убогого царского дворца был неблизок, и хотя дорога шла в одном направлении, берегом реки, но ехать быстро по ней оказывалось не совсем безопасно. Во многих местах на берегу лежали бугры разных материалов: камня, гранита, канатов, досок и бревен, объезжать которые в такую темь было нелегко. Раза два одноколка чуть не опрокинулась, задев за концы бревен; раза два государь принужден был выходить из одноколки и осматриваться. Царь отлично знал всю набережную местность, каждый выступ берега, каждый самый ничтожный заливчик, все бугры, канавы и рытвины, но в непроглядной мгле спутывались все соображения. Только и можно было знать, что едешь берегом, — об этом говорили и близко, в стороне

журчащие волны, и звездочкой мерцавший свет фонаря на Петропавловской крепости, но где именно — память обманывалась; вместо ровной, хотя грязной и тонкой дороги на каждом почти шагу натывались на рытвины и ямы. Верх одноколки защищал плохо, только сверху, спереди же и с боков совершенно свободно охватывали ветер и мелкая изморось. К концу переезда измокший и иззябший государь уже досадовал, зачем **не** позволил провожать себя с фонарями.

И дома вместо того, чтобы осушиться и принять все предосторожности, государь тотчас же разделся и лег спать — ночи оставалось немного, а завтра с рассветом работы предстояло немало. От усталости он действительно заснул скоро, но не живительным сном, а каким-то онемением мускулов, измученных неустанной дневной работой и потом танцами.

На другой день государь проснулся в определенный час с страшною головною болью и болью во всем теле, но перемогся и принялся за просмотр бумаг, изготовленных накануне, чем обыкновенно занимался до выхода на осмотр работ. Затем, точно так же в определенный час, захватив аршин, разделенный на футы и дюймы, он вышел в поход, как ни уговаривала его Катерина Алексеевна остаться на этот день дома и как ни настойчиво предлагал свои услуги Данилыч осмотреть все работы внимательно и строго. С обхода обыкновенно государь приходил аккуратнo к обеду, но в этот раз физическая немощь принудила его воротиться ранее. За обедом, в полдень, аппетита не было, даже несмотря на обычный прием анисовки, а к вечеру все болезненные явления усилились до серьезных размеров. При давящей головной боли и воспалительном состоянии глаз палящий жар охватил весь организм; вместе с тем появились и местные острые колики ниже груди. Вечером он слег в постель, с которой пришлось ему не вставать почти целый месяц.

Ночью с больным открылся бред и все признаки горячечного состояния. Длинною, нескончаемою вереницею проходили в воспаленном мозгу воспоминания забытых детских и юношеских лет, сменявшиеся уродливыми фантазиями. То ему виделась давно уже истлевшая сестра, только не смиренную инокиню Сусанною, а полновластною царевною Софьею, с грозным допросом. Будто судит его царевна за страшные казни тех близких ей людей, которые до последней минуты ее жизни, все иссле-

ванные и изорванные, не уставали качаться маятниками перед ее глазами с посмертными обвинительными челобитьями в руках Судит будто его сестра, а у самой недобрая улыбка пробегает по полным губам, из широкого рукава по временам выставляется длинный, заботливо отточенный нож, а кругом памятные страшные орудия пыток. Потом облик царевны ширится, растет с каждой минутой, не теряя, однако ж, своего страшного сходства, делается каким-то чудовищным, гигантом, занимает все пространство, протягивает руки, обнимает его, давит.. Государь вскрикивает, открывает блестящие глаза, обводит кругом, не признавая никого и ничего, потом снова бессильно закрывает; и снова длинные вереницы лиц, молодых и старых, мужских и женских, в числе которых он ясно узнает и свою отвергнутую жену. И все эти суровые лица грозятся, стараются сгубить его, а со стороны его защитников нет никого: нет ни искусного Данилыча, ни находчивой, всегда рассудительной Катериночки.

Ночью же привели к больному протомедикуса Арескина и обоих Блументростов. Государыня тревожилась все боле и боле усиливающимися болезненными припадками, которые в последнее время хотя и появлялись нередко, но далеко не с такой силой. Ученые мужи глубокомысленно осмотрели больного, внимательно выслушали биение пульса, заглянули на язык и единогласно нашли простуду с засорением желудка, точно так же, как в нынешнее время господа врачи безапелляционно определяют более или менее острые катары в легких, желудке или кишках. Модными, универсальными лекарствами тогда были в ходу очистительные, кровопускания и успокоительные микстуры. По предписанию докторов употребили эти средства в солидных дозах, но почти бесплодно. Правда, в следующие дни жар как будто уменьшился, больной реже бывал в бреду, но зато все больше и больше увеличилась слабость, усилились и участились острые боли. Больной громко стонал, метался на постели и инстинктивно растирал грудь. Кровопускание через несколько дней повторилось, и опять с таким же плохим результатом только силы ослабели еще больше. Медикусы начинали беспокоиться, чаще стали переменять лекарства и на тошнотливые вопросы Катериночки не давали положительного и успокоительного ответа.

Государыня не отходила от постели, ухаживая за больным с тою мелочною, всевидящею заботливостью, на кото-

рую способны только одни преданные женщины. Она не опаздывала ни одною минутою наливать лекарства, успокаивала, облегчала, успевала вовремя подложить подушку, вовремя освежить. Точно так же почти не отходил от постели и светлейший Данилыч, в котором больной чувствовал постоянную нужду. Как ни страдал государь, как ни ослабели его силы, а правительственные заботы его не покидали. Часто в те минуты, когда вовсе нельзя было ожидать, больной открывал глаза, подзывал к себе Данилыча и шепотом, таким неслышным, что даже светлейший наклонял ухо к самым губам говорившего, передавал ему приказания или осмотреть что-нибудь, или послать куда-нибудь или спрашивал, как сделано то или другое. Данилыч на это время сделался единственным адъютантом и статс-секретарем.

К небольшому низменному царскому домику во весь день подъезжали экипажи с сановниками, справлявшимися о положении царя. Болезнь захватила врасплох, в самое трудное время, когда старое почти все сломано, а для нового пути еще не означены грани, когда все зависело от личного руководства, от твердости и крепости руки кормчего, когда никто, даже и самые приближенные, не знали, куда идти и что делать. Обычная деятельная жизнь молодого Петербурга затихла; обаяние неугомонной работы царя было до того сильно, что когда несколько дней на улицах и в коллегиях не являлась массивная фигура с дубинкой, все как будто терялось, ждали чего-то и у всех складывались руки. Еще томительнее затишье в самом домике больного: в нем словно все замерло, говорили мало, и то шепотом, ходили подобравшись, на цыпочках; даже шалунья Лизок присмирела и тихо уселась в уголке, боязливо прислушиваясь то к таинственному шепоту в соседней спальне, то к раздирающим крикам отца; забыты любимые игрушки, бедный, уродливый бородач с пленным шведским солдатом лежат себе под стулом в пыли.

Прошла томительная неделя, а недуг не поддавался врачебным усилиям.

После одного из страшных пароксизмов острых болей государь, казалось, успокоился сном. Катерина Алексеевна отошла от постели и под села к столу, за которым, облокотившись на руку, в раздумье сидел Александр Данилович.

— Что? — скорее тревожным взглядом, чем голосом

спросил светлейший, кивнув головою на больного с тем оттенком фамильярности, с которою он всегда обращался к ней, когда они оставались одни.

Уснул,— отвечала так же тихо государыня.

Что протомедикус?

Государыня печально покачала головой и едва слышно проговорила:

— Арексин почти не дает надежды. Сегодня на рассвете он,— государыня указала на больного,— сам пожелал причаститься, а тебе приказал собрать к нему министров и сенат.

Не сказывал, для какой надобности?

— Не сказывал, да и сама знаю... приказать насчет престола... Перед этим призывал Петрушеньку... долго на него смотрел и благословил... Аннушку и Лизу тоже благословил.

— Царевич не был у него? Не призывал?

— Не был и не поминал об нем.

— Это хорошо, Катерина Алексеевна, очень хорошо. Если же придет царевич, скажи, что нельзя, мол, тревожить, уснул. А письмо с отречением не уничтожил?

— Нет, оно у меня спрятано. Как полагаешь, Александр Данилович, кому прикажет государь?

— Полагаю, государыня моя Катерина Алексеевна, что министрам и сенаторам он назначит себе преемником новорожденного твоего Петрушу... Не домекаю только, кого он думает правителем...— протянул Александр Данилович последнюю фразу, как будто рассчитывая заранее всевозможные комбинации и случайности. Потом светлейший, несколько повысив голос, добавил:— Впрочем, кого бы ни назначил правителем, главное, чтобы перед всем собранием назвал новорожденного. Если же этого не сделает,— снова понизил голос Александр Данилович,— не миновать смуты. У царевича много доброхотов... все бородачи, да и из наших-то много переметнется

— Не знаю, как ты, а я думаю, Александр Данилович, что управлять делами они назначат тебя... Кого же больше? Ты и теперь знаешь все его мысли...

Александр Данилович самодовольно улыбнулся.

— Скажи, Катерина Алексеевна, государю, как проснется, что я скоро опять буду: пошел-де по его приказу,— поручил Александр Данилович, неслышно выходя из спальни.

Государыня осталась одна с невеселыми думами под

давлением тяжелой атмосферы, насыщенной острым аптечным запахом. В мертвенной тишине мерно стучит маятник, а под его однообразный звук все шире и шире развиваются мысли молодой женщины. Напомнились ей детские годы, тяжелые годы, но зато выработавшие из нее женщину сдержанную, умеющую ценить действительное и не увлечься мечтами. Благодаря этим годам она и сумела приноровиться к суровому и требовательному человеку, сделаться ему необходимой, а через него встать в положение, завидное для коронованных особ. Удержаться ли ей только на этой высоте? Ей, пришедшей, незнакомой, не имеющей под собой почвы в той среде, которую судьба отдала ей в руки. Одна только и есть у ней опора — муж — но и он немощен теперь, лежит без всякой силы и вряд ли встанет на ноги. Будут ли стоять за ее интересы и ее детей его приближенные, теперь такие угодливые при нем? Не отвернутся ли они от нее, когда он умрет? На одного только можно положиться — на первого друга и покровителя Данилыча, да удержится ли он сам? Вопросы нанизывались в голове государыни один за другим, и не замечала она, что государь давно уже проснулся и смотрел на нее с такою любовью и благодарностью за все последние тревожные годы, в которые ему было так трудно и которые она, постоянно ровная, постоянно одинаково любящая и преданная, сумела ему облегчать. Много передумал больной в свои недужные дни, и немало эти думы ухудшили физические страдания. В нем теперь, как и прежде в опасные времена, происходила та же острая борьба кого оставить по себе наследником, — старшего ли — по праву и по укоренившемуся обычаю, но зараженного злобой ко всему, к чему так стремился он, или ребенка еще в пеленках, под именем которого будут властвовать другие, и кого назначить, этих других? Будущее темно; самый пронизательный человеческий ум не в состоянии его провидеть. Если бы еще прошло несколько лет, он успел бы многое сделать, успел бы утвердиться бесповоротно на новой дороге, а тут немощь. и государь мутился

— Катя! тихо позвал больной. Посылала за священником?

— Здесь, государь, дожидается Александр Данилович тоже все время был здесь и сейчас только вышел по твоему наказу за министрами и сенаторами

Хорошо, Катя, спасибо Позови священника

Вошел духовник с Святыми Дарами; государыня удалилась, и началась исповедь.

Исповедь продолжалась очень долго. О чем говорил государь и в каких грехах он просил у Бога прощения, осталось тайною для всех; но когда позваны были жена и любимец для присутствия при принятии Святых Даров, они заметили в больном большую перемену. Вместо тревожного, измученного выражения на исхудалых чертах покоилось глубокое всепрощающее спокойствие, на широких губах непривычно лежала кроткая улыбка, а из суровых глаз выливалось столько ласки и христианской любви!

Приняв причастие и поздравления от духовника и своих близких, государь как будто стал искать глазами кого-то, вероятно того, кого желал видеть подле себя в эти торжественные минуты, и — грустно улыбнулся.

— Министры и господа сенат желают поздравить вас, государь,— доложил Александр Данилович.

— Поблагодари их от меня, Данилыч, скажи им, что Бог милостив, может, и поправлюсь,— поручил государь любимцу.

Но Данилыч не спешил исполнением. Подождав еще несколько минут, не будет ли еще какого приказа, он снова обратился к больному:

— Министры и господа сенат собраны по вашему приказу, государь, не прикажете ли их позвать?

— Позвать?— переспросил больной.— Нет, Данилыч, теперь не нужно... раздумал... посмотрю... увижу, что дальше...

Александр Данилович вышел, но исполнил приказание государя только наполовину. Он поблагодарил собравшихся министров и сенаторов, но не отпустил, а, напротив, на вопрос их, что им теперь делать, отвечал:

— Подождите... ночуйте здесь, может быть, и понадобится...

И снова в спальне больного прежняя мертвая тишина, и снова томящий и мерный звук маятника.

Отдохнули за это время рабочие; не боятся они строго царского взыскания. Плотники, каменщики, слесаря и весь ремесленный серый люд не торопится кончать уроки; часто собираются в кучки и болтают о том, нужны ли еще будут их работы, не пойдет ли прахом все, что они понаделали на этом проклятом болоте.

Работа магази, недалеко от домика царя и Троицкой

церкви, должна бы быть кончена, а она все еще тянется Плотники, дядя Кузьмич, племянш его Иваша с односельчанами беседуют себе, усевшись рядком на толстом бревне и посматривают на окна домика все-таки с опаской, не покажется ли в них грозное лицо. но лицо не показывалось, а слухи все настойчивее и настойчивее говорят, будто суровый царь так занедужил, что вряд ли и встать ему

— Кончать бы нам, братцы, может, и домой отпустят, малость и осталось-то, говорил дядя Кузьмич, выправляя широкую бороду из-под воротника тулупа

— Что, дядя, таперича небось вывалил бородищу напоказ,— подсмеялся Иваша-племянник, а то, бывало, так и норовишь, как бы сокрыть ее под тулуп, словно клад какой хоронил

Ребята засмеялись.

— Пора бы кончать, настаивал дядя Кузьмич, которому хотелось поскорее отправиться домой, к своей хате слепой старой матери, к жене и малолеткам

— Пошто кончать-то? — вопросительно отозвался товарищ, плотник Ерема.— Кончать ли, не кончать ли все едино, вода смоеет..

— Это ты, Еремка, про половодь-то вспомнил? Опоздал, брат, и древо срублено, ответил дядя Кузьмич, указывая на торчавший невдалеке ольховый пенек.

— Что ж, срублено... Он приказал, ну и срубили, а половодь все-таки будет, не нынче, так весной — про то все старые люди толкуют. Властен антихрист над миром, да все ж не навеки. Святые угодники потерпят, потерпят да и заступятся... Тогда всю нечисть смоят.

— Ты вот жди здесь, когда посмоют, а сам голодай, недовольным тоном проворчал дядя Кузьмич

Случай с ольхой волновал тогда все ремесленное население Петербурга В конце лета пронесся между рабочими слух о каком-то пророчестве: будто в конце сентября поднимется на взморье вода, дойдет до самой верхушки высокого ольхового дерева, растущего на Троицком берегу, затопит и снесет все постройки Рабочие пророчеству верили и работали кое-как. Государь, узнав о предсказании, велел срубить дерево и разыскать того, от кого пошли те слухи Язык довел до какого-то ледящего крестьянина Царь приказал несчастного засадить в казематы, а по прошествии времени, назначенного пророчест-

вом жестоко высечь кнутом подле срубленной ольхи при полном сборе всех рабочих.

Крестьянина высекли до полусмерти, но слух все-таки упорно держался с отсрочкою только времени половодья.

Х

Кончается всенощное бдение на особенно чествуемый праздник Петра и Павла в суздальском Покровском монастыре В главном Благовещенском храме, где совершается торжественная служба, наполненном молящимся народом, тесно и душно: от тесноты в самом храме многие из богомольцев разместились на паперти, на широком крыльце и даже просто на лужайчатом монастырском дворе, куда только по временам долетают высокие ноты басистого дьякона. Обитель девичья, и контингент молящихся почти исключительно или вдовы или девушки окрестных посадок и поселков. Из мужчин почти никого нет, разве только старики старые-престарые, не способные ни к какой работе, кроме отмаливания прежних грехов, калики переходные, прибывшие к этому дню в Суздаль, разные юродивые да малые ребята. Не до молитвы было в это время человеку крепкому, способному твердо держать в руке пистоль, заступ, топор или лопату. Всех таких угнали царские посланцы: кого в армию для пополнения громадных убылей от свейской войны, кого на работы для постройки новой столицы; во всей округе не стало даже и нетчиков, а где они еще и были, так хоронились по темным углам, а не то чтоб показываться на монастырском празднике.

По окончании службы народ массой выходил из церкви, разделяясь и потом собираясь группами на дворе по знакомым поселкам; большая часть богомольцев, желая засветло воротиться домой, длинной вереницей направилась к главным воротам, оставшиеся же выбирали себе укромное местечко для ночевки, кто просто на дворе, благо, погода стояла самая благодатная, теплая, а кто у знакомых келейниц. К этому дню в обители готовились обыкновенно задолго: все прихорашивалось, чистилось или мылось; во всех кельях, не считая общей трапезы, что-нибудь да варилось, пеклось или жарилось лишнее для угощения гостей.

На безмолвном обыкновенно дворе теперь говор и поцелуи — встречи знакомых и родных.

По одной из утопанных тропинок, перекрещивающихся по всем направлениям от главного храма к крылечкам строений, окаймляющих широкий двор, где помещаются кельи монашеского штата, ковыляет старица Евпраксия с племянницей своей, девушкой лет шестнадцати, из мирянок. Старица путается в длинной рясе, торопится отдохнуть в своей убогой клетке; рада она приехать гостье, с которой не видалась несколько лет, рада вспомнить о прежних временах, хотя эти времена для нее не были красными, рада узнать о братане, сестренке, разных племяшах, о которых не с кем было говорить в монастырском затворе, где свои особые, иные интересы. Девушка худенькая, малокровная, с мокрыми, простенькими, серенькими глазками, с наивным любопытством осматривается кругом. Ей, никогда не выходившей из своего глухого поселка, здесь все так странно, так необыкновенно людно.

— Любо тебе здесь, Груня?— спрашивает на ходу тетка племянницу.

— Как же, тетьнышка, негоже!— отвечает племянница.— Народу-то, народу-то сколько! Ужаси... Всегда у вас, тетьнышка, так?

— Ни-ни,— трясет отрицательно старушка головою,— в будни у нас тихо, голоса человеческого иной раз не слышишь... ну а ныне праздник и благолепие сугубое — царский посланец пожаловал. Небось видела его?

— Кого, тетьнышка?

— А вот того енерала, что стоял впереди на правом клиросе у образа Владычицы.

— Видела, тетьнышка, пригожий какой. Он все в нашу сторону поглядывал.

— Это он, глупенькая, смотрел на нашу государыню. Видела ее?

— Бог сподобил видеть. Недалече от меня стояла... впереди.

— Тетьнышка, а тетьнышка! — начала племянница после небольшого раздумья.

— Что тебе?

— Не смеаю я, тетьнышка, как же это так: государь в столице, а государыня здесь?

— У государя-то, сказывают, теперь другая жена, какая-то заморская, а эту он отослал от себя... велел в черницы постричь, заточить...

— Так, стало, она, тетынька, монашка, как и ты?— продолжала любопытствовать племянница.

— Черница такая же, как и все мы,— объяснила тетка

— Черница, тетынька? — недоверчиво переспросила племянница — А как же вы вот все в черных рясах, а она в цветном, да и платок у нее на голове красный, гоже так к лицу-то подошел.

— Что ж, глупенькая, что в цветном, на то она и государыня. Захочет ходить в черном — будет черницей, наденет цветное — государыней станет.

Так она теперь государыней, тетынька?

Не то чтоб настоящая государыня, как есть царица, а все-таки государыня,— путалась старица Евпраксия, которая и сама никак не могла понять, как это так случилось, что отец Иван поминает Авдотью Федоровну на ектенье как настоящую государыню, а живет она здесь словно настоящая черничка и у государя другая жена.

— За что ж, тетынька, ее государь-то отослал от себя, за провинность, что ль, какую аль себя не соблюла?— продолжала расспрашивать девушка, начинавшая принимать сердечное участие в такой необыкновенной судьбе.

— Не знаю, Груня, мало ль чего люди болтают всего не переснуешь. Болтают, будто супротивничать ему стала он хочет так, а она эдак; он говорит: стану жить по-заморскому, а она уперлась: не хочу, говорит, тревожить родительских косточек, буду жить по-старому... Вот он и отослал ее по-старому в монастырь, вроде, значит, на поклонение.

— А может, тетынька, он скоро опять ее призовет к себе?

— Не ведомо это никому, глупенькая: сердце царево в руце Божией. Вон калики перехожие про нашу государыню и песню сложили, что будто она возвратится беспрременно, а когда — Бог один знает. Чаем мы все, что скоро; у нее таперича и сын большой стал, царевич Алексей Петрович

Бывал он, тетынька, у своей мамы?

Был, родная, да только один разочек, а ждет она его чуть не кажинный денек. Сказывают, кручинится она по нем в-о-о как. Спервоначалу — мать Маремьяна тихонько передавала — как, приехамши сюда, она глаз не осушала, все плакала.

— Как не плакать, тетьнька, по своем детище: ведь свое, не чужое. Вот и я на богомоль пошла к тебе, а мамка сколько причитала! Давно ли государыня-то прибыла сюда, тетьнька?

— Давно, родимая моя, давно, годков с восемь будет. Жила я тогда вместе с послушницей Матреной, что в пострижении Минодорой прозвана, из нашего же поселка,— принялась рассказывать старица Евпраксия, позабыв, что пора бы горяченьким промочить пересохшее горло. Очень любила старица Евпраксия рассказывать эту историю, всколыхнувшую в свое время всю их нехитрую общину. Да и как было не любить, когда приходилось молчать чуть не по неделям — работы мать игуменья требовала от них неустанной. Старица Евпраксия уселась на прилавочке подле своей кельи, прислонила к стене своей костылочек и продолжала подбирать в памяти странную историю о государыне.— Да, милая моя девонька, давно это было, а все как на ладони своей вижу. Были мы все у всеошной в нашей Благовещенской церкви, недели три после Петрова дня, и выходили вот так же, как и ноне, только народу тогда поменьше было — простое, значит, воскресенье. Смотрим: ворота растворились наотмашь и въехала на двор карета, кругом закрытая, за ней другая, а потом брички, и наехало их страсть сколько. Передняя карета как въехала, так и остановилась, никто из нее не выходит, а из брички вылез какой-то барин; и подходит этот барин прямо ко мне, спрашивает: где, мол, ваша игуменья? Я обмерла со страху, молчу, словно у меня языка нет, за меня уж Минодора брякнула: «Мать-де игуменья болеет ногами, а мать казначея Маремьяна вон там, у себя в келье», и указала ему на казначейшино крылечко. За этим барином, окольничим Семеном Иванычем, по прозвищу Языковым, как я опосля спознала, вышли из колымаг — нашего Ефимовского монастыря отец Илларион, протопоп Суздальского собора Феодор, по прозвищу Пустынный, и еще много людей. И пошли все эти люди к матери казначейше Маремьяне и остались там, а потом вслед за ними вывели из закрытой кареты какую-то женщину — лица нельзя было рассмотреть под покрывалом, видно только, что молодая, и повели ее туда же. Вскоре из кельи вышла к нам на двор сама мать казначейша и крикнула всем расходиться по своим кельям, не глазеть и не болтать. Так мы в те поры

больше ничего и не узнали и не видали, как и выехали со двора колымаги*

На утрени же пронесся между сестрами такой слух: что будто привезли сюда саму государыню, царицу Евдокию Федоровну, и что будто в ту же ночь в келье Маремьяны ее постригли под именем Елены. При священнодействии были наши клирошанки старица Вера и Елена. Мы было расспрашивать их, что и как было, да они нам тогда ничего не сказали, «не наше-де дело, и болтать заказано настрого» После, как все это уже обошлось, они нам рассказали, что царица была во все время пострижения в бесчувствии, словно столбняк какой на нее нашел, ни слова не вымолвила, и на вопросы отца Иллариона вместо нее отвечал окольный Степан Иванович. Мать Маремьяна ткнулась было тоже заспорить — как постригать ангельским чином в таком бесчувственном положении, да окольный как крикнет на нее: «Не твое, черница, дело перечить царскому указу», — так та и язык прикусила.

На этом слове старица Евпраксия оборвала свою речь. Непривычное ли многоречие после многолетнего безмолвия утомило ее, или проходившая мимо Полинария, известная сплетница и наушница у матери казначейши, возбуждала опасение, или опустелый желудок потребовал подкрепления, только тетьнышка вдруг заторопилась и взялась за костыль.

— Что ты, тетьнышка, никак, хочешь в келью? Погоди маленько еще, — взмолилась девушка, — здесь вишь как вольготно, а в келье духота, мухи одолели. Расскажи мне, как потом-то государыня, не серчала? Боялись вы, чай, ее как!

— Чево серчать-то на нас, почто мы причинны? Да ты, глупенькая моя девонька, смотри не введи меня, старуху, в грех какой. Пустишь мои речи по ветру, донесут до кого наибольшего... пропадешь...

— Ни, тетьнышка, ни в жисть никому не скажу; да и кому говорить-то? Место наше совсем глухое, никто не наезжает

Старица Евпраксия успокоилась.

* Авдотья Федоровна в суздальский Покровский монастырь была привезена тайно в сентябре 1698 года, а пострижена окольным Языковым в конце июня 1699 года, через девять месяцев. Старица Евпраксия смешала эти два события или по старости, или по незнанию, так как государыня в первые месяцы вовсе не выходила из кельи. (Прим. авт.)

— То-то, девонька, не болтай, дело это государево, великое, пожалуй, и язык отрежут.

— Ни единому человеку не проболтаюсь, тетьнька, верно слово,— уверяла девушка, и старица Евпраксия, отодвинув костыль и перекрестившись, снова повела свою речь:

— На другой день после утрени видим мы: все по-прежнему, как будто ничего и не бывало. Государыня поселилась в келье матери казначейши Маремьяны, а та перебралась вон туда,— и Евпраксия указала на противоположный флигель.— Сначала было ужаси как строго. Государыня не показывалась из кельи, почитай, недели две; прислуживать ей назначили сестру Капитолину с накрепким наказом ни об чем не болтать с сестрами. На окнах государыни навесили занавесы, а нам заказано было не то что заглядывать за них, а даже и проходить-то мимо окон

— Ах, страсти какие, тетьнька, неужто ж так до государыни никого и не допускали?

— Верно, сказываю тебе, девонька: спервоначалу никого не допускали и прислуживала одна только сестра Капитолина, ну а потом, как государыня сама стала показываться на свет Божий, приехала к ней и своя прислуга, должно быть, из вотчинных. Только эта прислуга с нами и пононе никакого обчеста не ведет.

— И из мирян, тетьнька, ноне допускают к царице?

— Бывают, родная, только мало, должно, опасаются, а вот из духовных, так наезжают часто: то протопоп из Суздальского собора, отец Феодор, то сын его иподиакон Гаврила, веселые такие да говорливые; а то нередко приезжает и сам владыко Досифей, особливо когда он был архимандритом Ефимовского монастыря, на место отца Варлаама. Владыко Досифей почасту бывал у государыни: иной раз, почитай, всю ночь; и все, сказывают говорят они... да мало ль что злые языки болтают, не к месту и говорить-то...

— Тетьнька родимая, милая, скажи, что такое болтают?

— Нехорошее, девонька, нехорошее. Служка у отца протопопа Федора сказывал нашей сестре Гонории—теткой она ему приходится — будто сам владыко митрополит Илларион усовещивал нашего-то епископа Досифея за ночные беседы с государыней: «Ты-де еще человек

молодой и случаев всяких не знаешь... долго ли до греха...»
Да где тебе этого, глупенькая, понять.

Но девонька понимала больше своей тетыньки-старичицы и, вследствие особых собственных соображений, поспешила осведомиться:

— Скажи, тетынька, в кою пору государыня скинула черничье платье? Простили, что ль, ее?

— Прощена или нет, про то не могу тебе за наверное сказать, родная, а платье скинула, как стал к ней часто ходить отец Досифей. С той поры и поминать ее стали как царицу Евдокию Федоровну на ектениях.

— Может, она воротится к мужу, тетынька, тогда и вас не оставит... Добрая она?

— А Бог ее знает. Сказывают, добрая и ласковая к своим-то, а с нами, сестрами, доселева никому и слова не вымолвила. Поклонимся мы все ей возьмь, она кивнет головой — вот и все.

Не одна старица Евпраксия с племянницей Груней дивились странному сочетанию в одном лице черноризицы и царицы; дивились этому все приезжавшие и приходившие к церковным службам в монастырь, с изумлением слушавшие, когда диакон раскатистым басом приглашал православных помолиться за здоровье государыни царицы Евдокии Федоровны, здесь же, в этом же храме, стоявшей смиренною инокинею; дивился весь монашеский чин... да все молчали. Да и как было не молчать, когда чуть не каждый день обрушивались на головы новшества, такие диковинные, что поневоле всему верилось... верилось антихристу, народившемуся в образе царя; верилось и скорому светопреставлению.

Старица Евпраксия и племянница Груня, закончив беседу, ушли в келью.

На монастырском дворе стихло; богомольцы, не разместившиеся по кельям, улеглись на лужайках, подложив под головы серые сермяги. Местами слышится забористый храп, местами обрывки старушечьих молитв или детский вскрик; наконец заснул и обительский сторож, отколотив в последний раз в разбитую чугунную доску несколько drobных звуков в явное свидетельство своего дремотного бодрствования; только ровно и неустанно журчат свои нескончаемые речи, за оградой в стороне, водные струи, сталкиваясь и обливая кремнистые камни на берегу и в русле широкого потока. Во всех кельях огни потушены, кроме неугасимых лампад в углах перед ликами святых,

да мерцают еще окна царицыной кельи, где виднеются мелькающие тени и где не кончились еще приготовления к предстоящему празднику.

XI

В обширной келье матери казначейши Маремьяны, занимаемой инокинею Еленою, или государынею Авдотьей Федоровною, приготовлен обильный завтрак для гостей, которые после обедни и молебна должны были явиться к государыне поздравить с великим храмовым праздником. Большой дубовый стол, покрытый белоснежною скатертью, ломится под изобилием блюд: на одной половине разного рода рыбы, красные и белые, соленые, копченые и вяленые; огурцы и огурчики, соленые, малосольные и свежие; разного сорта грибы и другие тому подобные снеди для монашеского чина; а на другой половине вкусные копченые ветчины, индейки, гуси, куры, утки и паштеты для мирских людей. Посередине мостом, соединяющим и примиряющим обе половины, возвышаются брашна: разного рода мед, брага, пиво, зелено вино и даже вина иноземные.

Непригодно было хозяйке унижать свое царское достоинство отпуском гостей с пустыми желудками или набитыми одним черным хлебом, а между тем собственных достатков у царицы вовсе не было. Суровый муж оказался к ней, не повинной против него ничем, кроме своей опостылевшей любви, немилостивее, чем к своим сестрам, заточенным в разных монастырях за доказанное участие в стрелецких смутах. Царевне Марье Алексеевне — инокине Маргарите — отпускалось и рыбы, и хлебов, и вина, и пряных зельев больше чем на две тысячи рублей; даже самой инокине Сусанне, злейшему врагу царя, царевне Софье, назначено было разных припасов более чем на пять тысяч рублей; были определены к ним особые мамы, казначеи и постельницы; только одной жене своей царь не дал ни одной постельницы, никакой прислуги и ни одной копейки на содержание. И в первое время бедная Авдотья Федоровна жила скудно, ничем почти не отличаясь от простых келейниц. Потом уже, когда опаска за участие к опальной несколько ослабела, положение ее поправилось; опомнившиеся от погрома родные стали присылать ей то разных припасов, то разных материй, а любимый ее брат Абрам Федоро-

вич не оставлял и деньгами, пересылая ей нередкими случаями суммы по несколько сот рублей. Благодаря этим присылкам у ней, кроме послушницы Капитолины, явилась и своя прислуга из крепостных людей, присланных братом.

Так и теперь, задолго еще до праздника Петрова дня, инокиня Елена, заботясь об угощении, писала любимому брату и жене его о присылке хлебного добра и вина: «Хотя сама я не пью,— говорилось в письме Авдотьи Федоровны,— так было б чем людей жаловать. Здесь ведь ничего нет, все гнилое. Хотя я вам прискучила, да что же делать? Покамест жива, поите, да кормите, да одевайте нищую».

Авдотья Федоровна ходит кругом стола, озабоченно осматривая, все ли приготовлено как следует. Бывали и прежде праздники в монастыре, еще более торжественные, но она не выказывала такой тревожной заботливости, как ныне,— тогда были гостями одни только свои люди, монастырские служилые, а теперь совсем иное, ныне соборный протопоп привез с собою царского посланца, генерала Степана Богдановича Глебова, с которого она почти не сводила глаз в продолжение обедни, прискучившись видеть всегда и везде одни только черные рясы.

Авдотья Федоровна — еще очень красивая женщина чистокровного русского типа, тридцати восьми лет, но казавшаяся моложе своего возраста. Белое, полное, почти круглое лицо сохраняло свежесть молодости; карие, большие и приятного очертания глаза смотрели из-под полуопущенных шелковистых длинных ресниц необыкновенно ласково и приветливо; полные и свежие губы говорили о потребностях жизни, далеко не аскетических, а несколько выдающаяся нижняя губа намекала на развитие чувственности.

В туалете Авдотьи Федоровны заметна заботливость, желание нравиться, какого не бывало прежде, даже и в годы молодости: тогда у нее был муж, молодой, красивый, тогда она была избалована угодливой внимательностью окружающих молодых придворных, тогда глаза ее, привыкшие к разнообразию красивых форм, не поражались ими, не так как теперь, когда повсюду мозолили желтые, грязные, морщинистые лица, черные, грубые рясы, дырявые лохмотья или слышались резкие, визгливые голоса да монотонный говор молитв. Одежда Авдотьи

Федоровны не то монашеская, не то мирская, но именно такая, какая более всего шла к ней. С головы на плечи спускался темный капюшон, еще более рельефно выказывающий молочную белизну лица; нежную шею обнимало ожерелье, с которого ниспадала на грудь жемчужная привеска; широкие рукава не скрывали красоты правильных, упругих рук; и сохранившуюся талию обрисовал широкий пояс, к которому привешены монашеские четки.

Государыня только что воротилась от обедни и в руках ее — молитвенник, но по улыбке и легкому румянцу, проступавшему на щеках, видно, что мысли ее тревожны и далеко не молитвенны.

В сенях послышалось топанье мужских сапог, и вслед за тем в полуотворенную дверь показалась приземистая фигура жирного соборного протопопа отца Федора Пустынного в бархатной камиллавке, с наперсным крестом, покоившимся на упитанном чреве. Пухлое его лицо раздвинулось широкою улыбкою, а маленькие глазки в узких заплывших веках лукаво оглянули и брашна с яствами на столе, и не в уряд затейливый наряд Авдотьи Федоровны.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,— важно благословил отец протопоп над протянутой рукой государыни своей пухлой дланью, которую царица поспешила облобызать с подобающим благоговением.

— Мир дому сему, здравие и благоденствие тебе, государыня, и чаду твоему,— продолжал отец протопоп, подавая ей пятичастичную просфору.— Сегодня я к тебе не один: енарал твоей царской службы, господин Степан Богданович Глебов, пожелал видеть твои преславные очи,— рекомендовал он следовавшего за ним в полной военной форме военного.

Гость подошел поцеловать руку государыни.

Отвыкла, видно, Авдотья Федоровна от царских почестей и церемонных представлений: смутилась, покраснела, еще ниже потупилась и, не найдясь, как обласкать верного слугу, только тихо проговорила:

— Милости прошу откушать, чем Бог послал.

Да и генерал тоже не отличался с своей стороны многоречием, тоже смутился и молча отошел к столу.

За главными гостями следом пришли и прочие обычные гости: протопоп и священники Покровского монастыря, дьяконы, причетники, мать казначея Маремьяна и некоторые влиятельные старицы; недоставало только одного

обычного посетителя, самого верного слуги Авдотьи Федоровны, бывшего архимандрита Спасо-Ефимьевского монастыря, а ныне епископа Ростовского, отца Досифея.

— Преосвященнейший владыко Досифей прибудет сюда к вечеру,— объяснил соборный отец протопоп,— он просит простить его, государыня, ибо приглашен на соборное служение с высокопреосвященнейшим митрополитом Илларионом.

Все гости подсели к столу с похвальным рвением к сокрушению брашен и яств. Беседа, сначала вязавшаяся вяло, оживилась после утоления приступов голода и жажды и когда отец соборный протопоп успел проглотить залпами две или три рюмочки. Отец Пустынный, вообще отличавшийся общительностью и добродушием, по мере утоления жажды всегда делался любезнее и под конец удаивал даже отвечать на каламбуры своих подчиненных.

Беседа разделилась по группам: мать казначея с сестрами, власть имеющими, составляли особое общество, ведущее речи плавно, тихо, почти с закрытыми глазами, с подобострастными улыбками, не употребляющее брашен и довольствующееся скудными яствами вроде огурчиков и грибков; в отдельных группах толковали причты Суздальского собора и Покровской обители. Особенно шумно вели себя несколько не стеснявшиеся соборные служители.

— Пятой, никак, чарочкой сквернишь уста свои, святой отче Феодоре,— подсмеялся соборный дьякон, когда достопочтенный протоиерей Пустынный протянул руку за новой рюмкой.

— Не ведаешь Священного писания, отец дьякон,— с важностью и прищурив масляные глазки ответил отец протопоп,— не то сквернит человека, что входит в уста, а то, что выходит из уст.

Приезжий гость Степан Богданович не принадлежал ни к одной из групп и, видимо, стеснялся незнакомым обществом. Как внимательная хозяйка, Авдотья Федоровна, заметив неловкое положение гостя, стала чаще обращаться к нему с предложениями откусать того или другого и, наконец, по особенному вниманию к нему, как к посланцу мужа, занялась исключительно им.

— Давно изволил прибыть сюда, господин енарал? — тихо спросила она Глебова, по привычке несколько наклонив головку на левую сторону, опустив глаза и еще более зардевшись.

— С месяц тому будет, государыня,— отвечал Степан Богданович под тон царице.

— А за каким делом изволил пожаловать? — спросила Авдотья Федоровна.

— Ноне одно дело, государыня, у нас — военное... Прибыл сюда по указу набирать некрут...

— Как кончишь, так и отъедешь отсюда? — снова залюбопытствовала она. Ей так хотелось получить свежие и верные вести из того мира, от которого она так давно была оторвана и о котором она не забывала ни одной минуты. Ей до того хотелось узнать о сыне, о муже, что она перемогла врожденную стыдливость.

— Не скоро еще, государыня; некрутов приводят мало, да и то каких-то ледащих, совсем неспособных. Здешние власти сказывали мне, будто во всей округе почти не осталось крепких людишек.

— Не осталось... да... не осталось,— машинально повторила Авдотья Федоровна,— люди нужны и дома... Вот я слышу, везде плачут... работать некому... пахать... Скоро ли война-то кончится, енарал?

— Не знаю, государыня, наше дело лоб подставлять, а не мудрить. Мы, кажись, весь берег забрали. Слышал, будто переговоры станут вести немцы... Государь их жалует, им верит, любит...

— Да... любит...— чуть слышно проговорила она; и вспомнились ей те нескончаемые между нею и бывшим мужем семейные размолвки, в которых она отстаивала свое кровное, своих близких, старалась отвлечь мужа от дьявольских зловредных ухищрений и в которых запальчивый муж не знал предела своей ярости. Вспомнилось ей, что эти немецкие люди оторвали от нее мужа, околдовали его, окружили немецкими девками, наглыми и зазорными, не только не скрывавшими своих прелестей, а, напротив, **выставлявшими** их напоказ для соблазна... И он соблазнился тогда... засмотрелся на чужие голубые глаза: не застенчивые, не опущенные перед его очами, а **вызывающие** на вольное обращение. Потом, здесь уже, от каких-то странников она услышала, что этих голубых глаз скоро не стало, что вместо них явились другие, тоже из немецкой земли; и будто эти другие так околдовали, что он не может и обойтись без них, что он решил даже узаконить полюбовницу и незаконных детей от нее; что будто любит без ума этих незаконных, а своего законного, ее ненаглядного Алешеньку, гонит со света Божьего. Ей

так хотелось бы спросить у генерала, правду ли наговорили ей старцы переходные, узнать, хороша ли эта заморская красавица, но не решалась, стыдно, как-то унижительно, ведь она все-таки государыня, хоть и постриженная насилком. И вот вместо прямого вопроса она пошла в обход: повела речь о тяжелых временах, о военных страстях, о неустанных трудах государя, но узнать почти ничего не узнала. От прямого ответа генерал уклонялся, видимо: он или сам не знал в точности, или не хотел беречь ее раны. Он распространялся о военных походах, победах и поражениях, а о семейной жизни мужа ее ни одного слова, только заметно было, что генерал не сторонник заморских новшеств, иначе не высказал бы с особенным ударением:

— Много, государыня, пролито крови, много осиротело и обнищало, весь народ стонет, а добудем ли счастья за морем, про то один Бог ведает.

Такие слова лились целительным бальзамом на душу царицы, пострадавшей именно за подобные же мысли. Теперь Авдотья Федоровна убедилась, что не одна она, женщина слабая и неопытная, не одни темные старцы да церковники так думают, а вот и сподвижники же мужа тоже сторонятся от немецкого наваждения. И невольно она благосклоннее вскидывала на гостя полуопущенные глаза, радостнее вслушивалась в его речи.

Опустошив значительную долю поставленных брашен и яств, гости стали прощаться. Первыми поднялись старицы под начальством своей матери казначейши, а за ними следом собралась и мужская половина местного и соборного причта. Угощение только что еще начиналось: завтрак у государыни-инокини собственно составлял введение к празднеству, был его официальной стороной, суть же и окончание, самое широкое веселье происходило по разным кельям ласковых хозяек, не скупившихся на добрые приветы. В таких празднествах нередко случалось, что запоздавшие гости ночевывали в обители — монастырские нравы того времени не отличались особенной безукоризненностью...

Странное чувство испытала государыня по отъезде гостя. Вся скорбь и злоба против насильственной расправы, волновавшие ее в первое время иноческой жизни и убаюканные было обнадеживаниями и сладкими речами старцев проходимцев, вновь разгорелись с удвоенной силой, но с иным оттенком. Тогда кипела желчь против

виновника своего униженного положения, злоба за оскорбленную любовь, злоба за отрыв от сына; теперь же нет личной ненависти, теперь она сама как будто ушла от мужа, стала к нему совсем чуждой, ее не волнует упрямое желание сесть опять на державство, она как будто вдруг привыкла не быть действительной государыней, теперь ей все равно, но зато с не испытанной прежде страстностью ей захотелось свободы, и только одной свободы. Подойдя к окну и окинув пеструю толпу, она позавидовала каждой закорузлой богомолке, каждому оборванному мальчишке, каждому калике, каждому нищему — все они живут, не связаны, как она, счастливы по-своему. А жила ли она когда-нибудь? Было ли в ее жизни, на чем могло бы отдохнуть ее сердце? За что ж она одна лишена того, чем пользуется каждый из ее рабов, и почему именно теперь зародилось у нее такое тоскливое и тревожное чувство, теперь, когда годы прошли и когда в будущем не до обманчивых призраков?

Задавшись страстными упреками, Авдотья Федоровна словно окаменела; не слыхала она, как повеселевшая от брашен келейница Капитолина убрала со стола и как несколько раз спрашивала, не угодно ли чего инокине-государыне, не замечала и того, как ее любимец, ожиревший бухарский кот Васька, с час уже трется на ее коленях, мурлычет, подозрительно посматривает на нее большими желтыми глазами и щекочет по ее лицу пушистым хвостом.

Несколько часов, вплоть до вечереи, к которым отблагостили и которых в действительности не было по невозможности разбудить отцов иереев, просидела неподвижно Авдотья Федоровна, просидела до тех пор, когда келейница Капитолина доложила о приезде святого архиерея Досифея.

Отец Досифей, чернец далеко еще не старый, лет сорока, впрочем, такой наружности, при которой трудно угадываются лета. Высокий, худощавый, с продолговатым, правильным и бледным лицом, оттененным темнорусыми волосами, падавшими по обеим сторонам лица, он казался человеком еще не изжившимся, способным испытывать человеческие волнения; его умные, темные глаза блестели огоньком и глубоко заглядывали в душу каждого, говорившего с ним. Отец Досифей был из тех, которые ловко умеют поработать слабых и делать из них послушные орудия своей воли. В народе и даже между близкими

людьми он слыл за мужа святого, прозорливого, провидевшего тайны предопределения. Сам старый Суздальский митрополит Илларион, хотя по многолетней опытности своей, по своему высокому сану и считал себя вправе предостерегать его как человека еще молодого от соблазнов близких отношений с молодой еще черницей-государыней, но высоко ценил его ум и святость. В короткое время отец Досифей возвысился из простых монахов до сана архимандрита, а потом и до епископа. Но и сан епископа не удовлетворял святого отца, он желал многого...

Войдя в келью и быстро оглянув государыню, порывисто кинувшуюся его встретить, отец Досифей молитвенно поднял глаза к святым иконам, несколько раз размашисто перекрестился и величаво осенил благословением протянутую руку Авдотьи Федоровны. Государыня несколько раз с благоговением поцеловала благословлявшую руку.

— Святой отче утомился от соборного служения,— с покорной почтительностью обратилась к нему государыня,— не прикажете ли подать чего подкрепить силы?

— Силы поддерживаются Словом Божиим, государыня, а не сдобными снедами,— назидательно проговорил отец Досифей, в духовном созерцании, вероятно, забыв, что после соборного служения он заезжал домой, где и подкрепил свои силы достаточным количеством сдобных снедей и брашен.

— Да, сестра моя и государыня, Словом Божиим питается не один дух; благодатию свыше обновляются и тела наши,— продолжал святой отец, плавно опускаясь в единственное мягкое кресло в келье.

— Давно не питалась я, святитель, манною словес твоих, и изнемогла душа моя, мятется и тоскует, силы нет терпеть горькую долю,— слезливо жаловалась государыня святому отцу, садясь против него на низенькую деревянную скамейку и вперив в него молящие, жаждущие утешения глаза.

— С терпением носи свой крест, дочь моя, послан он для укрепления души твоя еще на краткое время.

— Краткое, святитель? — с надеждою и замиранием переспросила Авдотья Федоровна.

— Вельми краткое,— с уверенностью подтвердил отец Досифей.

— А когда же кончатся муки? Чем разрешатся мои

узы? Когда и кто тебе поведал? — закидала вопросами Авдотья Федоровна, желавшая получить более определенные сведения.

— Поведали мне то по моим недостойным молитвам ангел твой хранитель и святой угодник Дмитрий-царевич, невинно пострадавший.

— Что же обо мне они тебе поведали, святой отец?

— Открыли мне, смиренному рабу своему, что скоро настанет время исчезновения на земле царства антихриста, мужа твоего, и воссияния правды, мира и тишины.

— Да обо мне-то что они открыли тебе? — любопытствовала государыня, непоколебимо убежденная в справедливости предсказаний.

— Сядешь ты на престоле славы вместе с единородным сыном твоим Алексием, о коем молится весь православный народ.

— Ох, когда же, отец святой? Ты и в запрошлом году то же говорил мне, а все не сбывается.

— Терпи, дочь моя. Узы греха, связующие родителя твоего во аде, преграждают благоизволению Божьего промысла.

— Так родитель мой все еще в адских мучениях пребывает? — допытывалась государыня.

— Пребывает, дочь моя, пребывает.

— Молись об нем, святитель, твоими святыми молитвами ведь и мир держится,— умоляла Авдотья Федоровна, и слезы градом текли по бледным ее щекам.

— Молюсь, дочь моя, и молитвы мои не остаются втуне. На запрошлой Пасхальной седмице святые угодники изъяснили мне, что родитель твой вышел из геенны огненной до плеч, вчера же поведали, что вышел уже до пояса... Но одних молитв мало... нужны и добрые дела...

— Научи же и добрым делам, отец!

— Удели от сокровищ твоих благоугодную часть и передай мне. Нищие и убогие благословят имя твое и омоют греховные раны родителя.

Увещание не осталось бесплодным. Авдотья Федоровна вышла в другую комнату, отперла ключиком, висевшим у нее на шее вместе с золотым крестиком, шкатулку и, вынув оттуда несколько десятков рублевиков из присланных ей от брата Абрама Федоровича, передала их святому отцу и молитвеннику в полной уверенности, что они помогут покойному родителю высвободиться из ада, по крайней мере, до колен.

Долго, за полночь, просидел отец Досифей у государыни и вышел от нее довольный, ласково улыбаясь тем серебряным рублевикам, которые так весело звенели в его широком кармане. И много таких серебряных рублевиков в солидных столбиках стояло в железном ящике его кельи. С этим могучим орудием святой отец крепко надеялся не только кого угодно выпроводить из ада прямо в рай, но и самому себе уготовить златное местечко в земной юдоли. Не святые угодники являлись праведному подвижнику, а виднелись архиепископство, митрополитство и... почему же не восстановиться и патриаршему престолу?

ХII

Степан Богданович Глебов, из старинной фамилии, получил образование, какое получали все дворяне дореформенного времени: умел бойко читать по Часослову и с запинкой — всякое письменное слово; писать, не задумываясь над запятыми, которых тогда не употребляли, и над разными хитроумными правилами. Как и все почти птенцы родовитых фамилий, он поступил в военную службу — единственную карьеру того времени — и переносил все тягости походной жизни честно и исполнительно. Товарищи любили его за прямоту, благородство, за теплое чувство, с которым он относился ко всем сослуживцам, ссужая им по нужде от своего последнего алтына. Женщины на него засматривались. Степан Богданович был действительно красив собою. Здоровый, стройный, с загорелыми правильными чертами лица, с честными, открыто смотревшими серыми глазами, он производил приятное впечатление на всех, а в особенности на женщин, лучших ценителей мужской красоты.

Сам государь Петр Алексеевич, тоже не последний ценитель красоты, заметил стройного, рослого солдата Глебова и, отличив его добросовестную службу и боевую стойкость, стал быстро подвигать его по рангам. Еще сравнительно в молодых годах Степан Богданович сделался генералом, а вслед за тем и мужем очень миловидной женщины, полюбившей его глубоким чувством. И прожил бы генерал мирно и счастливо долгие годы до дряхлой старости... если бы не расположение к нему царя! Петр Алексеевич не имел привычки оставлять в покое тех, ко-

торых отличал; напротив, их-то именно он и осыпал разными, сообразными с их способностями, поручениями.

Генерал Глебов отличался честностью и исполнительностью; а потому государь и назначил ему поручение, требовавшее именно честности и исполнительности,— производство рекрутчины. С целью набирать рекрут и комплектовать ими армию приехал Степан Богданович в Суздаль. В то время дело это вовсе не было так легко, как казалось с первого взгляда. Списков не только очередных, да и никаких не велось; способные в службе хоронились по домам; и надобно было посылать особых сыщиков с отрядами для розысков и поимок нетчиков в потайных местах.

В суздальской провинции, точно так же как и во всех прочих, сборы продолжались лениво и медленно. Степан Богданович скучал от безделья в ожидании возвращения посланных команд, привозивших рекрутов редко и в небольшом числе. С воеводой и провинциальными властями он, отвыкший от захолустной жизни, не сошелся, да и не мог сойтись, а из окрестных помещиков в городе почти никто не жил; читать он не был охотником, да и нечего было читать. От скуки молодой генерал усердно посещал церковные службы, познакомился с соборным причтом и коротал время в беседах с соборным протопопом отцом Федором Пустынным.

Раз, в один из скучнейших вечеров, когда Степан Богданович решительно не знал, как убить время, отец Федор предложил ему осмотреть святыни и побывать во всех местных церквах и монастырях.

— Бывал я,— лениво отозвался на предложение генерал,— везде одно и то же.

— Не скажите, ваше превосходительство,— настаивал отец Федор,— много обретается в них достойнейшего внимания. Отправимтесь-ка следующим праздником в Покровский девичий монастырь,— кстати, мне там надо служить,— пение велегласное... и узрите нашу матушку инокиню Елену, государыню Авдотью Федоровну.

Степан Богданович никогда не видал Авдотьи Федоровны, когда-то слышал о ней, но потом забыл о ее существовании. От нечего делать он согласился на предложение отца Федора.

Побывав накануне Петрова дня у всенощной, отец Федор Пустынный и генерал Степан Богданович отправились в Покровский монастырь и на другой день —

к обедне. Генерал, воспитанный в страхе Божиим, всегда прилежал к церковному служению, всегда молился усердно, крепко слагал три перста и еще крепче налагал их на лоб и плечи, подтягивал певчим и не скупился на земные поклоны, но на этот раз его молитвенное настроение нарушилось случайным обстоятельством. Оглянувшись назад, давая дорогу причетнику, проходившему в алтарь, Степан Богданович увидел на другой стороне интересную молодую женщину, одетую не по-монашески, однако ж и не по-мирски.

Должно быть, черница Елена, постриженная государыня, подумал он и стал внимательнее всматриваться в историческое лицо. Оно показалось ему на первый взгляд обыкновенным, хотя и довольно красивым. Степан Богданович уже не с прежним вниманием продолжал слушать церковную службу, и в его голове вместо молитв припомнилось все, что слышал он прежде о разведенной государыне. Ему припомнились общие толки, ходившие тогда о ней в народе, горячо осуждавшие сурового царя, ни за что ни про что запершего в келью добрую и любящую жену. Да, она смотрит скромною, любящею женщиною и красотою нисколько не хуже заморской любовницы.

После обедни и молебна отец протопоп с генералом Глебовым отправились в келью государыни поздравить с праздником и отведать царицыных хлеба и соли: иначе поступить было бы крайне неприлично. В келье Авдотья Федоровна произвела на генерала еще большее впечатление, может быть, от сравнения с закорузлыми и неприглядными лицами стариц. Степан Богданович все больше и больше заинтересовался, он смотрел только на красивое лицо невинной страдальцы, слушал только ее краткие вопросы ему и отвечал на них иногда невпопад.

Прошла неделя после Петровского праздника. В следующее же воскресенье Степан Богданович, уже без сопровождения отца протопопа, отправился снова к обедне в Покровский монастырь, а после службы к инокине Елене. В этот приезд Авдотья Федоровна встретила гостя как старого знакомого, с которым хотя виделась не более одного раза, но о котором невольно не переставала думать. «Мне нужно быть особенно приветливой к этому генералу, — думалось ей, — скоро предсказания святых угодников сбудутся, отец вышел уже из геенны до пояса, скоро я сяду на державство, а тогда верные

слуги мне будут необходимы. По неопытности, а больше еще по любви к мужу тогда не думала об этом — и вот теперь осталась одинокой». Но, несмотря на такое решение, в обращении царицы проявилась сдержанность, какая-то принужденность, заметное умалчивание того, что помимо ее воли просвечивалось наружу и было бы понято самим Глебовым, если бы он не был до последнего предела наивным.

Генерал пробыл у государыни довольно долго, но только под конец свидания они стали разговорчивее друг с другом и без смущения перекидываться взглядами. Прощаясь, государыня заметила, что в монастыре особенно хорошо отправляют всенощное бдение перед праздниками; на что Степан Богданович тотчас же изъявил желание послушать велегласие в следующую же субботу.

И стала разыгрываться обыкновенная история, какая разыгрывалась и вечно будет разыгрываться во все времена между молодыми мужчиной и женщиной в тех обстоятельствах, в каких были Авдотья Федоровна и генерал Глебов. Государыня и Степан Богданович, постепенно и незаметно для самих себя, увлекались чувствами, от которых не спасает ни черная ряса, ни мундир, ни сермяга.

Посещения стали повторяться часто и не ограничиваться одними поздравлениями после праздничных церковных служб; рослая и стройная фигура генерала стала появляться в обительских стенах и в будни. От этих изурочных посещений благочестивые старицы смущались, перешептывались между собою, собирались кружками, и, наконец, общее смущение дошло до ушей монастырского протопопа и матери казначейши.

На общем совещании лиц, имеющих власть в обители, было решено с достоподобным почтением довести до сведения монастырского правителя Афанасия Григорьевича Сурмина о соблазне, который возбуждают в помышлениях стариц частые, продолжающиеся далеко за полночь посещения генерала. Для передачи же этого выбрали отца протопопа Симеона как самого почтенного и уважаемого. Конечно, и отец Симеон и мать казначейша очень хорошо знали, что генеральские посещения не составляли исключительного события, что послушницы, белицы и даже сами старицы водили знакомство с мужским полом; но эти знакомства покрывались всегда непро-

ничаемым мраком и не мозолили целомудренных завистливых глаз.

Выслушал монастырский правитель челобитную обители и задумался,— случай щекотливый и опасный. Если промолчать обо всем и дойдут слухи до государя, то тогда, чего доброго, и головою заплатишься; если же начать дело и поднять розыск — тоже может приключиться конец нехороший. Думал, думал монастырский правитель и решил на среднюю меру: не молчать и дела не поднимать, а доложить самой государыне об извете отца Симеона. Вразумится она его речами — все будет покрыто; не вразумится все-таки — не будет виноват или виноват в малости, ведь воровства не покрыл.

Решившись на среднюю меру, Афанасий Сурмин, выбрав светленький денек, когда солнышко сияло весело и радостно, явился к государыне и выложил перед нею всю речь отца Симеона осторожно, со всем почтением и тихостью. Но на государыню речи эти, к крайнему изумлению осторожного правителя, произвели страшное впечатление. Она сначала побледнела, потом покраснела, долго не могла от волнения выговорить слова и, наконец, когда кровь, отхлынув от сердца, бросилась в голову, грозно крикнула:

— Как смеешь ты, вор, говорить мне такие речи? Разве забыл ты, что у меня сын государь-наследник? Разве он не заплатит тебе? — Государыня более не могла говорить и вышла в другую комнату, сильно захлопнув за собою дверь.

В молельне или спальне государыня бросилась на кровать в истерических рыданиях. Правитель ушел, а верная послушница сестра Капитолина принялась успокаивать и уговаривать царицу не обращать внимания на глупые речи.

— Полно, матушка государыня, не по што кручиниться, плюнула бы в зенки непотребному; тоже ведь правителем прозывается, а у самого... завистны глаза у наших чернохвостниц, вот что, не слушай их... — утешала Капитолина.

Но чернохвостницы не угомонились. Не получив никакого ответа от правителя, который на все их расспросы только отмахнулся рукою да отослал в нечистое место, целомудренные старицы приступили к матери казначейше. Под влиянием их наговоров мать Маремьяна на другой же день отправилась в келью сестры инокини

Елены и, кстати упрекнув ее за прошлое несоблюдение обительских уставов, за мирское платье, настрого запретила впредь принимать к себе безвременно царского генерала. Но не успела мать казначейша выговорить до конца свою внушительную начальническую речь, как государыня с запальчивостью оборвала ее:

— Забыла, черница, кто я? Вспомни, что все наше государево, а государь за свою мать заступится. Вспомни, что воздано стрельцам, а сын мой из пеленок уж вышел...

По уходе матери Маремьяны Авдотья Федоровна заплакала, но заплакала не от оскорбленного достоинства женщины и государыни, а от едкой злобы за то, что в ее самые заветные дела осмелились вмешиваться какие-то закорузлые лицемерки, вздумали отнимать от нее человека, которым она дорожила теперь больше всего на свете. Поздно пришли к ней минуты счастья, но зато и ухватилась же она за них цепко, зато она и готова была пожертвовать за них всем, решительно всем. Не пройдет же это им даром, докажу этим чернохвостницам, как осмеливаться оскорблять и супротивничать своей государыне, думала она, и тотчас же принялась писать длинное послание к отцу Досифею.

Средняя меря оказалась тоже не совсем безопасною. Через неделю после письма государыни по предложению отца Досифея Афанасий Сурмин был отрешен от правительства монастырем, а старого протопопа Симеона постригли в монахи под именем Симона.

Смирились старицы, смирился и церковный причт. Вечером того же дня, когда мать казначейша посетила Авдотью Федоровну, приехал в обитель Степан Богданович. От грустного выражения и слезинок, блестящих на длинных ресницах, Авдотья Федоровна показалась ему еще привлекательнее.

— Кто смел огорчить тебя? — спрашивал генерал, заглядывая в расстроенное лицо и горячо целуя выхленную руку государыни.

— Было мне тяжело, да.. Степан Богданович, а теперь ничего, все прошло... Не тревожься... Душно вот здесь... пойдём в сад,— прерывисто проговорила она, еще задыхаясь от удара только что нанесенного ей оскорбления, а теперь вдруг охватившей ее радости от участия любимого человека.

Долго пробыли Степан Богданович и Авдотья Федоров-

на в саду; обо многом переговори́ли они и догово́рились до последне́го слова... В саду и днем почти́ никого́ не бывало, а тепе́рь и подавно, в такую́ позднюю пору́, когда́ все сестры́ давно́ уже спали. Только́ небо́ да звезды́ могли́ слышать тихие́ речи́ и страстные́ поцелуи́, но они́ свидетели́ не опасные́. Авдо́тья Фе́доровна в тревожном волнении́ от неда́вней попы́тки оторвать́ ее от доро́гого челове́ка и под чарующим влия́нием тихого, благоухающего́ вечера́, когда́ каждый́ нерв трепещет от странного́ ощущения́, когда́ сердце́ самовластно́ поды́мает гру́дь, а челове́ком овладевает́ только́ одно́ чувство́, вся́ беззаветно́ отдалась́ поздно́, но зато́ неудержимо́ развившейся́ любви́. Она́ вылила́ всю́ душу́ свою́ ненаглядному́ милому́, передала́ ему́ всю́ свою́ пре́жнюю безотра́дную жизнь́, как будто́ прошлое́ миновало́сь и никогда́ не вороти́тся. Степа́н Богданови́ч со страстною́ ласкою́ утешал́ молодую́ женщи́ну, и оба́ они́ забыли́ все усло́вия света́.

Голубым́ светом́ облива́ется мона́стырский́ сад, тонкие́ лучи́ меся́ца пронизыва́ют скво́зь густую́ листву́, окружа́ющую со́ всех сто́рон лужайку́, на кото́рой укры́лись Авдо́тья Фе́доровна и генера́л Глебов. А́ кругом́ них слы́шится шепот́ ночи́, да вдали́ за ограда́й чей-то́ надорва́нный те́но́р поет́ неда́вно сло́женную́ ка́ликами́ пере́хожими́ бы́лину:

Постри́гись, жена́ неми́лая,
Ты посхи́мись, опосты́лая!
На постри́женье́ дам я́ сто́ рубле́й,
На посхи́менье́ дам я́ тысячу́;
Я поставлю́ тебе́ келе́йку,
Что́ новехо́ньку, малехо́ньку,
При пу́ти ли, при доро́женьке,
В зелено́м саду́ под я́блоней;
Прору́блю тебе́ три́ окоше́чка:
Как у́ж первое́ к це́ркви Бо́жией,
А́ друго́е-то́ во́ зелено́м саду́,
А́ и тре́тье-то́ во́ чисто́м поле́;
В це́ркви Бо́жией ты́ намо́лишься,
В зелено́м саду́ нагу́ляешься,
Во́ чисто́м поле́ не́ посмотре́шься.

Но́ не слуша́ла Авдо́тья Фе́доровна́ это́й наро́дной пес́ни, сло́женной про́ нее, и не слы́шала, как тот́ же́ го́лос надрыва́лся все́ громче́ и громче́:

Каќ и́ взмо́лится́ тут́ неми́лый́ муж:
Расстри́гися́, жена́ ми́лая!
За́ расстри́женье́ дам я́ тысячу́,

За расхимене — все именице;
Я построю тебе нов-высок терем,
Что со красными со оконцами,
Со хрустальными со стекольцами.
Будешь жить в нем, прохладжатися,
В цветно платье наряжатися.

* * *

Как взговорит тут млада старичка:
Да уж Бог с тобой, немилый муж!
Мне не надо твоей тысячи,
Ни всего твоего именица,
Мне ненадобен нов-высок терем:
Я останусь в своей келейке,
Стану весь свой век спасатися,
За тебя Богу молитися...

Да, народная былина отозвалась правдою. Авдотья Федоровна отказалась бы теперь и от высокого терема и от царского достоинства: позабыла грозного, немилого мужа.

XIII

Прошло несколько месяцев. Как ни тянулись сборы нетчиков, но наконец все посланные сыскные команды воротились с докладом, что во всей округе нет более никого из подлежащих набору, и Степан Богданович должен был готовиться к отъезду в Петербург с отчетом о выполнении поручения. Сколько ни откладывалось, сколько ни придумывалось разных проволочек, но время разлуки приближалось, а вместе с приближением срока и Авдотья Федоровна становилась все требовательнее и тревожнее.

Вся жизнь ее теперь сосредоточилась в одном,— в любви к своему Степе, для которого она с радостью готова всем пожертвовать. Чаше стали они видеться, чуть не каждый день; много было переговорено в долгие ночные часы, обо многом условлено, но все еще как будто многое осталось и недосказанным. Мечтали они, как увенчаются полным успехом их хлопоты и государыня-инокиня приедет в Москву, как станут они жить если не вместе, то близко друг от друга, когда сделается она свободною по смерти царя, которому, по предсказанию святых угодников, жить оставалось очень недолго. Если

же этим мечтам не суждено будет сбыться, то тогда, решили они, Степану Богдановичу выйти в отставку и переселиться в Суздальскую волость.

Впрочем, мечтала и строила планы более одна Авдотья Федоровна, придумывавшая всевозможные обороты фортуны Степан Богданович же только склонялся, уверяя, что и с его стороны будет сделано все для счастья государыни, в глубине же души он подчас начинал побаиваться этой любви. Страстная требовательность государыни начинала пугать его, и пугала тем более, чем трезвее он начинал смотреть на свои отношения к инокине-царице, чем далее удалялось от него обаяние первой поры обладания женщиной и государыней. Временами любовь Авдотьи Федоровны тяготила его, а в последнее время он нередко даже сам создавал препятствия, чтобы не приезжать по нескольку дней в монастырь.

В один из таких дней, перед своим выездом в Петербург, когда генерал два дня не был в монастыре, он получил от государыни длинное послание, в котором вылилась вся ее исстрадавшаяся душа

«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, писала Авдотья Федоровна, знать, уже злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться; лучше бы мне, душа моя с телом рассталась бы. Ох, свет мой, как мне на свете быть, без тебя как бы живой быть? Уже мое проклятое сердце давно прослышало, тошно давно мне, все плакала. Как мне с тобою, знать, будет расставаться? Ей-ей, сокрушаются! И так, Бог весть, каков ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей-Богу! Ох, любезный друг мой, за что ты так мил? Уже мне не жизнь на свете. Знать, ты, друг мой, сам этого пожелал, чтоб здесь не быть? И давно уже мне твоя любовь, знать, изменила. Для чего, батюшко мой, не ходишь ко мне? Что ты не ходишь и не даешь мне на свою персону насмотреться? То ли твоя любовь ко мне, что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к кому будет и прийти. Или тебе даром, друг мой, я? Знать, что тебе я даром, а я же тебя до смерти не покину никогда, ты из разума моего не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне с тобою будет расставаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшко мой, ты покинешь, ох, друг мой, ох, свет мой, любонька моя! Пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне, переговорить кое-какое дело нужное. Ох, свет мой, любезный мой друг, лапушка моя,

отпиши ко мне. Порадуй, свет мой, хоть мало что, как тебе быть, где тебе жить, во Владимире или в Юрьеве или в Москву ехать? Скажи, пожалуй, отпиши, не дай мне с печали умереть, поедь лучше ты к Москве, нежели тебе таскаться по городам; приедь ко мне, я тебе нечто скажу. Ох, свет мой, ох, душа моя, ох, сердце мое надселося по тебе. Как мне будет твою любовь забыть? Будет как, не знаю я, как жить мне, без тебя быть, душа моя, ей тошно, свет мой, ничто не знаю, как уже, братец мой, батюшка, свет мой, как нам тебя будет забывать?»

Генерал Глебов уехал в Петербург, если не с облегченным сердцем, то и без особенного сердечного надрыва. Он не был Дон-Жуаном, не забавлялся женщиной, как хрупкою миленькою игрушкой своей прихоти по профессии, даже напротив, по старинному домашнему воспитанию он относился к подобным увлечениям замужними женщинами, а в особенности инокинями, строго — до тех пор, пока не пришлось самому на себе испытать влияния человеческой слабости. Он увлекся, но вместе с тем он не мог не сознавать, что его привязанность к отверженной государыне не имела глубоких корней, не была чувством, поглощающим всю жизнь, захватывающим всего человека и в котором с наслаждением приносятся всякие жертвы. Однообразная праздная жизнь в захолустье без подходящего общества, к которому он привык в столице, глубокое участие к страдальческой судьбе женщины, не изведавшей счастья, странная обстановка этой женщины, еще сохранившаяся ее красота, избыток своих сил — все это толкнуло его на скользкую дорожку, и он скользнул по ней невольно, почти незаметно для самого себя. Очнулся он уже тогда, когда исправлять воровство было поздно.

Не раз в те дни, когда он не бывал в монастыре, его мучили упреки совести за позор женщины, так беззаветно отдавшей ему, за оскорбление святыни, за свою неверность к жене, от которой получал такие доверчивые, хорошие письма, и он давал себе слово порвать несчастную связь, но все эти упреки смывались слезами Авдотьи Федоровны. Степан Богданович не имел твердости устоять против ласковых призывов любившей его женщины и нередко, вслед за самым жгучим раскаянием, тотчас же садился в экипаж и ехал в обитель, где забывались твердые решения и раскаяния. И теперь, дорогою в Петербург, он испытывал то же двойственное чувство: грустил

он по инокине-государыне и в то же время был рад, что наконец-то все кончилось, все пойдет по-старому, забудется грех и исчезнет бесследно. Не предвидел и не рассчитывал Степан Богданович, что ничего не исчезает бесследно и что роковой судьбе Авдотье Федоровны суждено было губить всех, кого она любила.

В Петербурге, под ласками жены и в служебных занятиях, Степан Богданович забыл об Авдотье Федоровне, но она не забыла его. Чуть не каждый день она писала к нему длинные послания, в которых описывала ему свою любовь, напоминала общие планы, умоляла торопиться их исполнением и упрекала в измене. «Забыл скоро меня! Не умилиствовали тебя здесь мы ничем. Мало, знать, лицо твое, и руки твои, и все члены твои, и составы рук и ног твоих, мало слезами мочили мы, обливали, не умели угодное сотворить. Знать, прогневали тебя чем, что по ся мест ты нехватишься», — писала она едва не в каждом письме. На эти послания генерал сначала отвечал такими же длинными посланиями, потом постепенно уменьшавшимися, наконец замолчал, а когда, для надзора за ним, инокиня-государыня прислала в Петербург своего верного слугу Якова, так он этого Якова настрого запретил впускать к себе на двор.

Степан Богданович лично не любил государя, верил даже в его антихристово служение, но между тем, по традиционным преданиям, служил ему верой и правдой. Все поручения государя во все время своего пребывания в Петербурге он исполнял с таким же усердием, с каким исполнял бы и по глубокой преданности.

Раз, года через два по приезде в столицу, Степан Богданович докладывал государю об исполнении какого-то данного ему серьезного поручения. Государь внимательно выслушал толковый доклад, остался доволен и по окончании, ударив по плечу, милостиво спросил:

— А как зовут тебя, господин офицер?

— Степаном Богдановым, государь.

— Спасибо, Богданых, за дело; доволен, очень доволен тобой. Хотелось бы тебя полакомить, да нечем: жалованье свое по шаубенатству и по армии я давно протранжирил, а из доходов государства распорядиться не могу... Если же хочешь повеселиться, так повеселю... и рост у тебя достаточный, к нашему делу подходящий... Так вот что: приходи завтра пораньше ко мне на свадьбу. Женю я своего карлика Ефимку Волкова на карлице

царицы Прасковьи Федоровны, а после свадьбы попируем у князя Данилыча. Особого приглашения, извини, не получишь, тебя не считали, а посылать за герольдами поздно, они, полагаю, разъезжают по городу с приглашениями.

Глебова ошеломило приглашение царя на шутовскую свадьбу, так оно не подходило к его понятиям о божественном образе царской власти, но отказываться от приглашения было невозможно.

Действительно, на пути к государю он встретил две странные процессии, около которых с гиками и визгами бежали уличные мальчишки. Как по Петербургской, так и по Адмиралтейской стороне, по новым строившимся улицам разъезжали богато за костюмированные, разнообразные карлики в маленьких экипажах о трех колесах, запряженных малорослыми лошадаками, убранными пучками пестрых лент. Впереди этих странных герольдов ехали по два тоже нарядно одетых вершника. Это и были послы, развозившие приглашения и объявление о предстоящей на другой день торжественной свадьбе.

Зная аккуратность царя, Степан Богданович на другой день, принарядившись в мундирную форму, поспешил отправиться к царскому домику, около крылечка которого как раз попал к царскому выходу в церемониальную процессию. Впереди открывал шествие в должности маршала богато одетый карлик с жезлом, обвитым падавшими вниз лентами разнообразных цветов. За маршалом выступала пара — жених карлик Ефим Волков и невеста-карлица — в роскошных костюмах, а за этой парой следовали: сам государь со свитой, состоявшей из приглашенных, сообразно их высокого роста, министров, генералов и офицеров, к которым примкнул и Степан Богданович. Следом за церемониальной свитой тянулись тридцать шесть пар карликов, выписанных из разных мест империи для этого торжества, по два в ряд, по степеням роста — самые малорослые впереди. Всю процессию окружали громадные толпы народа.

Свадебный обряд совершался в крепостной Петропавловской церкви. Венчальный венец над головой невесты держал сам государь, представлявший чрезвычайно оригинальный вид по контрасту роста с невестой. Бракосочетание прошло без особенных приключений, если не считать одного забавного курьеза: когда венчавший священник обратился к невесте с вопросом, не обещала ли

она своей руки кому-нибудь другому, невеста громко выкрикнула: «Вот была бы штука-то!» — а затем на повторенный вопрос высказала «да» с таким наивным и уморительным выражением, что по всей церкви раздался невольный смех

Из церкви новобрачные со всеми участвующими направились к Васильевскому острову, в дом светлейшего князя Данилыча, у которого был приготовлен для них парадный обед с танцами и разными увеселениями. Степан Богданович не верил глазам и ушам своим. Не далее как накануне, по приезде в город, осведомляясь о придворных новостях от одного знакомого, вхожего во все дома сановников, он узнал, что малолетний сын светлейшего, хорошенький мальчик, общий любимец, а в особенности отца, лежит в тяжкой болезни, приговоренный всеми призванными придворными докторами совершенно безнадежным, которому будто бы осталось и жить-то не более одного дня.

«Как же это так?— думал Степан Богданович.— Сын, любимый сын умирает, а отец здесь, в полном наряде, в своей датской голубой ленте и смотрит вовсе не печально. Верно, или приятель ошибся, или князь не подозревает опасного положения сына».

Но приятель не ошибся и не обманул генерала Глебова, — светлейший князь сам не хуже докторов понимал и видел смертный исход болезни сына. За несколько комнат от большой, облитой светом и убранной цветами залы, где гремели два хора музыки и где за расставленными посредине обеденными столами пировали карлики, а за узкими столами вдоль стен угощались гости-великаны, в небогатой детской, закупоренной, с затхлым неосвежаемым воздухом, на маленькой постельке метался бледный, исхудалый ребенок в предсмертной агонии. Около постельки — только мать Дарья Михайловна да старая няня: первая знакомая ребенка в человеческом мире, первая встретившая и последняя провожающая его. У обеих женщин глаза с красными опухлыми веками, сухи, без слез, с каким-то тупым выжидательным напряжением; обе смотрят на умирающего, прислушиваются к его редкому и короткому дыханию, будто боятся потерять его последний вздох. Обе женщины точно окаменели; только Дарья Михайловна по временам с болью и тоскливо поведет бровями, когда особенно визгливые музыкальные тоны или какой-нибудь дикий

выкрик заставлял ребенка испуганно вскинуть глазками

А между тем в главной зале веселье разливается широкими волнами. Обильными тостами, которыми осушают карлики не меньше и не реже великанов гостей, оканчивается обед и начинаются танцы. Что за странная, нечеловеческая оргия? Опьянелые герои — уроды карлики, кто с громадной головой, кто с короткими вывороченными ногами, кто с выпятившимся животом, пляшут, кривляются, кружатся, визжат, хохочут, поют. Смеется государь, смеется светлейший, хохочут и зрители, смотря на эту беснующуюся толпу, — всем весело!

«Что это? Где я?» — спрашивает сам себя Степан Богданович, оглушенный, обезумевший от этой дикой оргии, шума, суматохи и непристойной пляски. С напряженным вниманием он не спускает глаз с светлейшего князя, все старается подметить, не проглянет ли на этом красивом лице хоть мимолетно тень сердечного горя, беспокойства, тревоги за любимого сына, может быть умирающего теперь, в эту минуту, но ничего, кроме задушевного, самого беззаботного веселья... «Люди ли это?» — шепчет Степан Богданович, невольно хватаясь за голову и закрывая глаза.

Вечером новобрачных карликов проводили в спальню царя с торжественной церемонией, а к утру не стало любимого ребенка светлейшего, о котором отцу за весельем некогда было вспомнить, а потом за урочной работой некогда было и проводить до последнего жилища.

Месяцев через девять новобрачная умерла в мучительных родах мертвым ребенком, а вслед за тем практически царем был издан указ, запрещающий свадьбы уродов карликов.

XIV

С самых похорон своей жены, кронпринцессы Шарлотты, царевич Алексей Петрович в городе почти нигде не показывался. Бывал он только изредка у Александра Васильевича Кикина да ежедневно украдкой в доме Вяземского, у своей Афросиньи. Даже больного отца, после апраксинской ассамблеи, он навестил не более одного раза, дня через два после причащения, когда, по словам приближенных, царю стало получше. Государыня Катерина Алексеевна встретила пасынка в сенях ласково и привет-

ливо, но поспешила высказать, что отец очень болен, серьезно болен, что доктора запретили ему настрого всякое волнение, всякий разговор и что в этот день в особенности необходимо быть осторожным. Алексей Петрович вошел к отцу, увидел его исхудалое лицо, прислушался к неровному сонному дыханию, подумал, как бы не расстроить больного после сна, подумал — да и вышел, не сказав ни одного слова.

Если у отца эпилепсия, то в такой болезни, приключившейся в зрелых годах, как доподлинно заверяют господа медикусы, больные долго не живут, раздумывал царевич дорогою, возвращаясь домой. Это предположение он и передал встретившемуся с ним Александру Васильевичу.

— И с чего ты, царевич, взял, будто отец твой тяжело болен, все это притвор один,— разуверял Кикин царевича.

— Полно, Александр Васильевич, на днях он исповедовался и причащался,— сомневался сын.

— Нарочно, пустяк, вид только показывает.

«Как же это так,— рассуждал сам с собою Алексей Петрович, расставшись с Кикиным,— очень болен, причащался, исхудал весь, а Кикин говорит, будто только вид показывает, один притвор... Правда, отец любит испытывать людей. Не испытывает ли их он и ныне?»

С едкой горечью сомнения царевич возвратился домой к себе в кабинет, где и принялся за чтение жизнеописания праведных угодников, как это он обыкновенно делывал каждое утро, в память чествуемого в тот день святого.

Кабинет у царевича прост, как и у его отца. В углу, в объемистом киоте множество массивных образов, в серебряных вызолоченных окладах, перед которыми теплится неугасимая лампада; кругом стен стулья и лавки, посредине стол, выкрашенный лаком, на котором стоят чернильница в виде глобуса, вывезенная царевичем из-за границы, да раковина с песком; на одной из стен привешена полка с любимыми книгами в кожаных переплетах. Книги по содержанию или богословские, или шутовские, или учебные. Из богословских: животы святых богемских, животы святых Рибоденьера, животы святых немецких, Томас Акемпиз «О чудесах Божиих», Бернарда «Об истинной правде», Дрекслия «О вечности», книга манны небесной; из шутовских: Ларим «О рождении жен», Фидель-

копф, Эзоповы басни; из учебных красуется на первом месте знаменитое творение иеромонаха Карпиона Истомина Букварь словенороссийских письмен со образованиями вещей и со нравоучительными стихами, писанный красками и золотом. Каковы же были модные стихи того времени — можно видеть из красноречивого панегирика розге:

Розгою Дух Святый детище бити велит,
Розга убо ниже мало здравию вредит,
Розга разум во главу детям вгоняет,
Учит молитве и злых всех встягает и т. д.

В кабинете везде: на стенах, стульях и лавках — лежат толстым слоем пыль и грязь. Знакомство с Западом в то время еще нисколько не стерло нашей традиционной нечистоплотности домашнего непоказного быта как в домах средней руки, так и в царских палатах. Позже, через пятнадцать лет, в царствование императрицы Анны Иоанновны, дано было распоряжение государынею о поручении вице-канцлеру и министру иностранных дел графу Андрею Ивановичу Остерману озаботиться уничтожением тараканов-прусаков в покоях Зимнего дворца.

В это утро царевич читал жизнеописание святого царевича Иосафа, пропущенное им по случаю болезни жены. Личность Иосафа ему всегда казалась особенно симпатичной. Алексей Петрович понимал индейского царевича, его тревожную неудовлетворительность окружающею жизнью, его искание чего-то неопределенного, чего-то высшего, искание истины как вечной непоколебимой опоры, его духовную жажду пищи, удовлетворяющей не одни чувственные потребности. У индейского царевича это искание истины удовлетворилось христианским учением, апостолом которого он потом и сделался; в царевиче же Алексее эта неудовлетворенность окружающею жизнью вовсе не находила себе исхода. Перед ним постоянно были две противоположные и односторонние партии: одна — в лице духовных отцов — говорила ему только о внешней обрядности, закрывавшей и искажавшей в корне святое учение; другая — в лице отца с его приближенными — в вечной погоне за материальными благами не понимала духовной жажды, смеялась над ней и гнала таких жаждущих как тунеядцев. Одна сторона говорила о духовном прозрении, облекая это прозрение или в фанта-

стические образы или в фанатическую цепкость к букве, другая же — вовсе отвергала это прозрение как бесплодную трату, не дающую ни хлеба, ни мяса. В душе своей царевич инстинктивно одинаково был далек от обеих партий, и если круче отворачивался от партии отца, то единственно от ее принудительного характера, не терпевшего никакого протеста.

Алексей Петрович находил много сходства между собою и индейским царевичем и вместе с тем завидовал ему. Много мучений от язычника-отца перенес святой юноша, но тяжкое испытание миновалось, и тот же гонитель-язычник сделался сам христианином. А есть ли возможность ему в чем-либо убедить отца?— спрашивал сам себя царевич. Индейский царь-язычник любил своего Иосафа, а любит ли его христианский царь и отец? Припоминались царевичу все прошлые и юношеские годы, и он не находил в них ни одной черты, ни одного мгновения, где бы проявилась к нему теплая любовь отца, та всепрощающая любовь, которая именно своим всепрощением и покоряет все непобедимую силою. Царевичу вспомнилось, как, бывало, ребенком он ловил взгляды отца, как жаждал от него ласк и как вместо них встречал только суровые наказания да строгие толкования о долге; тогда как в эти годы и весь долг должен был бы заключаться в одной любви.

Крепко задумавшись над судьбой индейского царевича и своей собственной, Алексей Петрович не заметил, как в кабинет к нему вошел приехавший из Москвы его духовник, Яков Игнатьевич, усевшийся теперь рядом с ним.

Яков Игнатьевич, владимирский уроженец, земляк и друг Досифея, двадцать лет живший в Москве сначала дьяконом, а потом священником Верхоспасского дворцового собора в Кремле, отличался наивною доверчивостью; в душе своей он любил своего духовного сына и был действительно ему предан.

— Поучаешься, чадо любезное, благими примерами? — спросил наконец отец Яков.

— Прости меня, отец, не заметил, как ты вошел: задумался очень и в великом смущении был...— отвечал царевич, целуя после благословения руку отца Якова.

— В смущении, чадо? Разве дух неверия и нечестия омрачил и твою душу?

— Не от неверия смущен я, отче, а от своего вели-

кого злоключения. Читал я житие царевича Иосафа и завидовал... У него отец, царь Авенир, злым язычником был и грозным гонителем христиан, мучителем их, а когда сын сделался христианином, так и сам тоже он обратился... любил, значит, сына, а мой отец? Отчего он так меня ненавидит, за что гонит? За что ненавидит мать мою? Что она сделала? Не был ли я ему всегда покорным? С детства он приучил меня только бояться себя. Ты знаешь, отче, перед тобой, как перед духовником-отцом, я ничего не таил — как я готов был любить его и чего стоило мне сделаться таким, каков я теперь... — изливался царевич в жалобах с нервным подергиванием в лице.

— У всякого свой крест, чадо, носи его с терпением, без ропота, и Отец Небесный наградит тебя в сей жизни и в будущей.

— В будущей... да... может быть... а в настоящей — нет, — с отчаянием проговорил царевич.

— Отчаяние — смертный грех, — утешал отец Яков, — ибо Бог посылает каждому скорби по силам его... Скоро, скоро, может быть, положение твое, государь, устроится.

— Ты, верно, говоришь о болезни отца... Ему, сказывают, лучше... А ведь великий грех желать отцу смерти. Я понимаю это... и мне больно, очень больно... хоть ты и утешаешь меня.

— И паки повторяю тебе: несть в этом греха. Кто не желает ему смерти? Кто не обливается от него кровью? Только одни язычники, заклятые враги нашей православной веры... Прислушайся в народе: кто не считает его антихристом? Чти сам в писаниях святых и ты увидишь. В книге Ефрема Сирина и в Кирилловой книге напечатано: «Во имя Симона Петра имать сести гордый князь мира сего — антихрист». Кто же сей гордый князь, кому имя наречено Петра? Потом в той же Кирилловой книге изображено: «Внезапну превозстанет и превознесется и возлицемерствует». Кто же ныне превознесен и превостал? Он же, Петр. Послушай в народе, что об нем говорят, и ты успокоишься.

— Что ты, святой отче, каждому известно рождение моего родителя от благочестивейшего царя Алексея Михайловича и верной христианки, моей бабушки Натальи Кирилловны. Да притом же, появлению антихриста, по Священному писанию, должны предшество-

вать разные бедствия и чудеса, возражал царевич, все еще не поддаваясь внушениям духовника.

— Не слышал ты, что говорят в народе, отчего царь любит так иноземщину? Говорят, будто когда государь Петр Алексеевич пошел в Стекольную (Стокгольм), так там его посадили в заключение, а к нам воротился иной. А что до чудес, то разве оных мало мы и днесь очами своими озираем?

— Все это носится только между простым народом, не понимающим естественных явлений, все эти чудеса государь не раз въявь изобличал, — возражал царевич. — Вот в запрошлом году какие-то приезжие из Ерусалима монахи продали Катерине Алексеевне — государь тогда был за границей — кусок несгораемого полотна будто бы от сорочки Богородицы. Мачеха не пожалела, дала за него тысячу рублей, заказала для него особый серебряный ковчег и хранила в нем как некую драгоценную святыню. Монахи после продажи поторопились уехать неизвестно куда. Приезжает отец, мачеха и показывает ему полотно, сама с благоговением — даром что немка — прикладывается к нему, нудит и отца. Государь же как взглянул на полотно, так и расхохотался. «Где, — спрашивает, — эти святые старцы?» — «Уехали», — отвечают. «Ну, счастливые же они, — говорит, — что вовремя убрались, а то я заставил бы их самих ткать такое полотно в Соловках. Принеси-ка, господин денщик, сюда ко мне такой же кусок несгораемого полотна, что привез я из Голландии для моего шишечки». Принесли кусок, сличили, точь-в-точь такой же; пробовали полотно Богородицы жечь, так же горит.

— Не спорю, чадо, рыскают ноне немало волков в овечьих шкурах для уловления в сети душ христианских, но и то не надо забывать, что благодать находит едино на тех, кто воспринимает ее чистым, верующим сердцем, а от неверия прочь бежит. Разливается ноне повсюду дух нечестия и богохулия; недаром же у нас в Москве сама Богородица обливается горячими слезами.

— Сам ты видел эти слезы, отче? — с недоверием спросил царевич.

— Сам своими грешными очами удостоился видеть, и не я один, а весь народ, несметное множество по всей Красной площади. Все видели, как она, Пречистая, плачет о нашем непотребном житии.

Чудо, о котором рассказывал отец Яков, действительно волновало тогда всю православную Москву. В нижнем под-

вальном этаже, под самой папертью собора Василия Блаженного на Красной площади, против Спасских ворот, жил какой-то сподвижник в убогой келье. Народ чтит этого сподвижника как одаренного божественною благодатию, и почти никто не проходил мимо кельи, не помолившись образу Богоматери, поставленному в келье на окно. И вот раз одному из православных прохожих, молившемуся набожно и с теплою верою вперившему глаза в святое изображение, показалось, будто из глаз Богоматери выкатилась слеза, он не поверил глазам своим, протер их чистым платком, но нет, не обманывается, из очей иконы выкатились новые крупные слезы, скатились по лицу и оставили по себе влажный след. Прохожий от умиления зарыдал и пал ниц, вскоре к этому прохожему присоединились другие, и все видели чудо, и все в благоговейном ужасе падали на землю. Быстро по городу пронеслась молва; несметными толпами валил народ на Красную площадь помолиться новой чудотворной иконе. Молебны служились от зари до зари, и приношения сыпались в келью сподвижника. Обратило, наконец, внимание и начальство: осмотрело убогую келью под папертью, самый образ, внутренняя сторона которого была покрыта простою китайкою, расспросило сподвижника, изумленного чудом не менее других, и в конце концов убедилось само в действительности чуда. Каждый день Богоматерь плакала, и каждый день весь народ смотрел на ее крупные кристальные слезы. Трудное тогда было время для православных: не было семьи, в которой бы не оплакивалось скорбной утраты, а потому естественно, под влиянием глубокого религиозного чувства не возникало, да и не могло возникать сомнения в теплом сострадании святой Утешительницы всех скорбящих. От местной духовной власти полетели в Петербург донесения о совершающемся чудесном знамении. Всеми православными с тревогою ожидалось, что-то скажет на это теперь царь, но — к общему изумлению — чудо исчезло. В одно прекрасное утро не стало в окне иконы Богоматери, не стало также и сподвижника, скрывшегося неизвестно куда. Ходили в народе какие-то смутные слухи о том, что затворник, вместе с иконой, удалился в какую-то пустыню, но куда именно, никто не знал. Только впоследствии в новом архимандрите Иверского монастыря многие из свидетелей признавали бывшего сподвижника, но от этого сходства святой архимандрит упорно открещивался.

Об этом-то чудесном явлении и сообщил преподобный

отец Яков царевичу. Почти одновременно подобное же чудо совершилось и в Петербурге. Точно так же в одной из петербургских церквей из очей Богоматери на одной иконе выступали слезы в виде мира, скатывавшиеся по лику. «Царица Небесная плачет, жалеет Она, Владычица, о православном народе, который неминуемо погибнет, когда волны морские затопят окаянное место для новой столицы», — твердили испуганные жители. Сам граф Головин ходил в церковь, осматривал со всех сторон икону и никакого плутовства не открыл: никто к иконе не прикасался, а между тем слезы текли и текли. Головин отписал об этом чуде царю, бывшему тогда за границей. Приехал государь и тотчас же приказал принести образ к себе во дворец для тщательного осмотра. По личному его исследованию обнаружилось, что в глазных углах иконы были прорезаны дырочки, а сзади против них находились вырезанные лунки, в которых лежали губки, насыщенные деревянным маслом — все это закрывалось с задней стороны доскою, составлявшей с переднею, на которой было изображение лика, как будто одну доску. Оставалось еще одно сомнение — отчего миро или слезы выходили только временами? Для выяснения этого обстоятельства государь делал различные опыты, и оказалось, что когда перед образом зажигалось несколько свечей, то жар от огня разогревал застывшее масло в губках, и елей, проходя через глазные скважины, скатывался в виде капель. Чудо объяснилось естественным образом, все приближенные убедились в этом, но в народе упорно держалась вера в чудесное явление. «Государь брал к себе образ во дворец, а что он там с ним делал — никому не известно; разве нельзя было повернуть какие угодно скважины и вырезать лунки?» — твердили православные.

Объяснение было известно и царевичу, но в нем, как и в остальном народе, пробивалось недоверие.

— О-о-ох, последние времена... последние времена... — повторял, вздыхая, Яков Игнатьевич, — все, как писано, сбывается: видения и знамения... смуты... междоусобные брани... брат восстает на брата, отец на сына. Что, твоему то легче?

— Сказывают, полегчало — с постели встает.

— Не слышать — собирается куда?

— Как встанет, говорили, так и уедет.

— Куда?

— Известно куда... за границу.

— А к Троице не собирается?

— Не слыхал, а что?

— Там видение... Видение открывалось одному старцу, что будет в народе смущение великое, потом будет тяжкая болезнь... по выздоровлении царь поедет к Троице, где и встретится с твоею родительницею... и что будут жить вместе.

— А когда сбудется видение, не открылось?— с тревогою спросил царевич.

— Не открылось, а, должно быть, скоро. Другому же старцу было откровение, что отцу твоему жить осталось только пять лет, а сыну его, брату твоему двуродному, Петру, семь лет. Стало, соединение должно совершиться скоро. Пророчество, видимо, сбывается: было великое смущение в народе, тяжкая болезнь тоже... только вот к угодику-то?..

— Не поедет государь к угодику, верно говорю тебе, отче. Знаю я отца. Поедет он, да не туда, а за границу: ему бы все кровь человеческую проливать аль на ассамблеях плясать.

— До плясов ли теперь,— заметил Яков Игнатьевич,— когда чуть живот не потерял.

— Да Бог знает, был ли он так и болен-то?— с сомнением проговорил царевич.— Надежные люди шепнули мне, будто все больше один притвор.

— Притвор? С чего же бы быть притвору-то? Сказывали, исповедался и приобщался...— переспросил отец Яков.

— Что ж, что приобщался — у него свой закон. Притвор был в искушение.

— А что, может, и впрямь в искушение,— стал сомневаться и сам духовный отец,— по наущению этого наперсника, злызычного Сашки. Не любит тебя, царевич, этот светлейший — первый он тебе враг! Берегись его. Второй твой враг — Катерина-мачеха.

— А ты почему это знаешь, отче?— любопытствовал Алексей Петрович.

— Сказывал Лебедка, духовник князя-то, да и из домашних княжеских тоже забегают ко мне. Болтают, будто этот Сашка поедом ест тебя перед родителем, жалуется все и устрашает: «Если-де царевич взойдет на царство, так мне, мачехе Катерине с детьми больше не жить, да и у всех наших головы будут торчать на шестах».

И долго еще отец духовный с царевичем мирно беседо-

вали о всех злобах дня, выпивая рюмочку за рюмочкой и закусывая соленой рыбицей, доставленной недавно по первому зимнему пути из царевичевых вотчин.

XV

С половины декабря царь начинал, видимо, оправляться.

Крепкий организм победоносно выдержал продолжительную, упорную и неуступчивую борьбу, но победа купилась, однако ж, не дешевою ценою для надломленного и без того здоровья. После опасного кризиса стали возвращаться крепость и энергия, но тихо, слабо и постепенно. Вместе с возвращавшимся здоровьем явилась и прежняя потребность деятельности, удовлетворить которую, конечно, не могли только что пробивавшиеся силы. Большой капризничал и раздражался каждой мелочью; сильно доставалось тогда даже самому всеильному фавориту Данилычу за каждый почти доклад по всякому делу, в котором царь постоянно находил медленность, нерадение и тайные происки бородачей. Немало крепких окриков тоже вынесла и дорогая Катеринушка с своим ровным, невозмутимым характером. Но, спокойно выдерживая от мужа запальчивые вспышки, Катеринушка вместе с тем приобретала все более и более влияния над волею государя. Совершенно незаметно, с часу на час, несокрушимая до того энергия царя под гнетом недугов стала подчиняться сдержанному и ласковому характеру жены.

Катеринушка, ясно понимая свои интересы, пользовалась своим влиянием во всю его ширину, но не выказывала его напоказ, не была им ни самолюбия государя, ни самолюбия приближенных, которые, напротив, почти всегда находили в ней добрую заступницу и печальницу. Наступало критическое время, когда неизбежно должен был выставиться вопрос об обеспечении в будущем ее положения, о постановке ее твердою ногою на той высоте, где она была бы недоступна для всех тех, кто стоял теперь впереди. Необходимо было, главным образом, отстранить права царевича с его сыном; и от этой цели она, а еще более ее верный и постоянный советник Данилыч не уклонились ни разу. С удивительным искусством, как будто помимо воли и участия, отцу без перерыва стали выставляться недостатки наследника-сына именно в тех красках, которые всего более должны были его отдалить от отца.

В конце декабря больной стал заниматься делами и выходить для осмотра работ. Жизнь потекла своим установленным порядком, только старший сын словно выброшен был из семьи. Об нем не упоминалось ни словом; но было заметно, что мысль об нем постоянно душила царя неотступною заботою. Точно так же и из приближенных, не исключая Катеринушки и Данилыча, никто ни одним намеком не касался больного места, однако ж как-то всегда случалось так, что каждый день, если не каждый час, все, по-видимому совершенно чуждое, все наталкивало отца на царевича. Отчего работы во время болезни производились медленно и нерадиво? Ответ один: нет глаза хозяйского, нет надзора человека близкого, своего... Отчего смущение в народе, какое-то шатание умов, зловерные толки? Опять-таки ответ тот же: бородачи сеют крамолу в надежде на будущую поддержку... И все ниже и ниже хмурятся брови царя, все недовольнее возвращается он после обходов. Да и дома разве не та же назойливая мысль? Здоровье слабеет, неизвестно, долго ли протянется, а что будет тогда с людьми, которые стали ему так дороги? Что будет с его Катеринушкой, которая так его любит, — ухаживала за ним во время недуга с такою заботливостью, что, кажется, без ее неусыпного присмотра вряд ли бы и встать ему? Что ожидает малых дочурок, Аночку, его Лизу и дорогого новорожденного шишечку? Заточенье где-нибудь в отдаленном снежном острожке, если еще не худшее.. Несдобровать всем, кто теперь так неоглядно идет за ним. А всему виною, все зло от сына ненавистной Авдотьи, когда-то жены, а теперь хоть и монахини, но все еще живой, все еще не лишенной возможности предъявить при первом удобном случае свое слово и повернуть все на старое. И неволью все крепче и крепче в голове царя укореняется мысль о необходимости покончить со злом, вырвать его с корнем. Но как вырвать? Зло в его же собственной плоти, во всеоружии права искони наблюдаемого, всеми признаваемого, которое он первый обязан не нарушать. Необходимо обойти это право с соблюдением закона — и думает об этом царь каждую минуту дома и на работе, в сенате и в избе плотника.

Энергический царь никакого дела не любит откладывать в долгий ящик, а тем более такого, которое тяжелым камнем лежало у него на сердце. Между тем сложившиеся политические обстоятельства потребовали его личного присутствия в Копенгагене, Амстердаме и Париже. Но как

уехать и оставить дома, в среде крамольников, человека, которого могут поставить против него? По опыту, по бывшим стрелецким бунтам он знал, на что способны его бородачатые враги в его отсутствие. Правда, во главе этих бородачей неопасный человек, его сын, уже заявивший письменно желание отказаться от престола; но такое желание далеко еще не легально обязательно, да притом же оно не мотивировалось такою причиною, которая бы служила достаточным основанием к отречению. Царю необходимо было заручиться ясным и положительным заявлением сына о полнейшей его неспособности, так как при таком только сознании все дальнейшие меры получали форму права. И вот, собираясь в дорогу, государь снова пишет письмо к сыну, в котором откровенно высказываются его взгляд и все его беспокойства. Он писал:

«Последнее напоминание еще.

Понеже за своею болезнию доселе не мог резолюцию дать, ныне же на оное отвечаю: письмо твое на первое мое письмо я вычел, в котором только о наследстве воспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъявил ответу, как в моем письме? Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также, что я за то сколько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прощение. Что подвигло меня сие остатнее писать: ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить! Что же приносишь клятву, тому веришь невозможно для вышеписаного жестокосердия. К тому же и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые, ради тунеядства своего, ныне не во авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому же, чем воздаешь рождение отцу своему? Помогашь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем оных будешь. Того ради, так остаться, как желаешь быть, ни рыбою ни мясом, невозможно; но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах; ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что

ныне мало здоров стал. На что, по получении сего, дай немедленно ответ или на письмо, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою, как с злодеем, поступлю».

Страшное слово о злодействе выговорено, и выговорено с тою же грубою откровенностью, с какою Петр не стеснялся высказываться. Письмо отца застало сына в постели. Тогда как на Рождественские праздники царь по совершенном выздоровлении стал выходить, сын, наоборот, заперся в своем дворце, перестал вовсе показываться и притворился больным. Только по ночам, закутавшись в теплую шубу и закрыв лицо, он выходил повидаться с своей Афросиньюшкой, к которой привязывался все больше и больше и которую не видеть несколько дней сделалось для него невозможностью.

Последнее напоминание царя не поразило царевича, он ждал его, приготовился, и если в ту же ночь побывал у Александра Васильевича и князя Никифора, то вовсе не из нужды в совете, а ради привычки.

— Нечего тут рассуждать... Клобук гвоздем к голове не прибит... можно его и снять,— отозвался Александр Васильевич, да потом и добавил он:— Пожалуй, теперь-то и лучше... Кто знает, что будет?

Почти то же самое услышал царевич и от наставника.

— Когда нет иной дороги, так надо идти в монастырь,— высказал князь,— только отпиши духовнику о принуждении своем идти в иночество. Тот передаст архиерею Рязанскому, тогда и не будут думать, что пострижен за какую вину.

Загрустилась было от решения царевича Афросинья, но и то ненадолго. Быстро высохли ее слезы под поцелуями любимого человека и скоро успокоилось сердце от уверений, что его черничество будет только временное, ни в чем не стесняющее, которое сбросить будет легко.

Решив таким образом, царевич на другой же день отвечал отцу короткою, но решительною отповедью:

«Милостивейший государь-батюшко!

Письмо ваше, писанное в 19 день сего месяца, я получил того ж дня поутру, на которое больше писать за болезнью своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей».

А вслед за отправкой этого письма было отправлено и письмо к петербургскому духовнику протопопу Георгию с

извещением о требовании насильного пострижения.

Новое тяжкое раздумье наложила на царя отповедь царевича. В ней не было именно того, чего желал отец; мало того, она как будто указывала на принуждение. Теперь положительно выяснилось, что царевич понял всю суть требования и решился протестовать если не явно, по неимению средств, то тайно, оставляя себе путь для будущего. Если бы сын выставил протест свой прямо и открыто, тогда бы открылась и возможность действовать на него прямо; но он хитрил и увертывался, значит, понял, что для соблюдения закона нельзя было прибегнуть к мерам крутым. И никогда не гнувшийся характер царя принужден был гнуться, раздражаясь тем еще более и еще более обостряя враждебные отношения.

Дня за два до отъезда за границу государь навестил сына, чтоб лично удостовериться, действительно ли он болен и не может выходить из дому. Он застал сына в постели, изнуренного лихорадкой. Алексей Петрович привык к обману и умел притворяться до того искусно, что самый опытный глаз доктора не мог бы открыть лжи; впрочем, в эти минуты его и действительно охватил лихорадочный пароксизм. От страха при одном взгляде на отца смертельная бледность покрыла его лицо, оледенились руки и озноб пробежал по всему телу. «Не болен ли впрямь и долго ли жить-то ему?» — подумал государь, вспомнив, что еще несколько лет назад доктора признавали в сыне несомненные признаки чахотки, и как будто чувство жалости шевельнулось в суровом сердце.

— Ну что? Какую резолюцию принял? — без обычной строгости в голосе спросил царь.

— Бога Всевышнего призываю в свидетели, что только единого желаю: быть в иноческом чине, — клялся царевич, едва выговаривая слова от ужаса.

— Не легко и иночество для молодого человека, — проговорил царь, — подумай не спеша... и об резолюции своей отпиши ко мне. Подожду еще полгода... А лучше бы тебе взяться за прямую дорогу, — прибавил он, может быть, именно от уверенности, что этую прямую дорогою уже не идти сыну.

Царевич плакал и целовал руки отца.

Размягчилось ли сердце царя, или просто вспомнил о слышанных им новых открытиях в медицине, но только, собираясь уходить, государь проговорил вполголоса:

— Жениться бы тебе на здоровой женщине, может, и поправился бы тогда.

Так государь и уехал за границу, не решив своего неотвязного вопроса.

XVI

Вслед за государем уехала и мачеха Катерина Алексеевна. Царевич остался один на полной свободе, не стесняемый никаким поручением и никаким, по крайней мере явным, надзором. Уезжая, государь оставил только одно поручение: на свободе обдумать свое положение и принять резолюцию; но об чем же тут думать, когда все давно обдумано и решено, когда не может быть никакого поворота. Сам отец это знал очень хорошо и если дал отсрочку, то только по неотложности своей заграничной поездки да ввиду болезни сына, от которой может все развязаться само собою, с полным сохранением законности.

Но царевич от болезни не умер, а, напротив, по отъезде отца тотчас же выздоровел, поправился и повеселел. Он знал, что отсутствие продолжится долго, не менее года, если не более, а в это время мало ли что может случиться! И царевич отдался весь наслаждению полной свободы, как узник, выпущенный из долгого, строгого тюремного заключения, — нельзя было узнать в радостно сияющем молодом человеке недавнего заморенного, едва дышавшего больного. Иногда он навещал тетку свою Марью Алексеевну или кого-нибудь из расположенных к себе влиятельных лиц, а затем все остальное время оставался дома, милуясь с своей Афросиньей. Это было лучшее, безмятежное время во всей его жизни.

Связь царевича с Афросиньей не была тайной ни для кого, да и сами они перестали скрываться. В первое время девушка стыдилась своего положения, таилась от других, а про себя мечтала, как бы прикрыть грех Божьим благословением, но потом любовь ли поборола стыдливость или просто освоилась до того, что и грех перестал казаться грехом. Чуть проснется она, умоется холодной водой, расчешет роскошные золотистые волосы и усядется к окну за работу, так и начнет прислушиваться к знакомым звукам неровной походки. Сердце заколотится тревожно и сильно, глаза установятся как будто на работу, а между тем от сильного напряжения слуха она ничего не видит, пальцы тревожно сами собою бегают с иглой и выводят узоры, а какие узоры, она и сама не видела. И царевич, как только

войдет, лба не перекрестит, а бежит к ней, целует зардевшуюся щечку, усядется рядом и обнимает упругий стан девушки.

Молодые люди молчат, да и об чем им говорить, когда так красноречивы их не отрывающиеся друг от друга глаза; изредка перекинутся двумя-тремя отрывочными словами, ничтожными для других, но полными для них самих особенного смысла и прелести.

Весною царица Марья Алексеевна собралась в Карлсбад — лечиться водами. Племяннику ее отъезд не принес ни радости, ни печали, но чувствительным горем для царевича было то, что с больной уезжал его всегдашний советник Александр Васильевич как человек бывалый и знавший хорошо чужеземные обычаи. Дорожные сборы за границу напомнили Алексею Петровичу его постоянную, никогда не покидаемую мысль: укрыться от отца в каком-нибудь неизвестном европейском уголке.

— Найди и мне местечко получше, — шепнул он на ухо, прощаясь с Кикиным.

— Найду, — обнадежил Александр Васильевич, — только не делай так, как в прошлый раз.

Прошло более двух месяцев после отъезда старой царицы, и с каждым днем все ближе и ближе придвигался срок, назначенный отцом на размышление. Царевич начинал тревожиться, но, к счастью его, или, вернее, к несчастью, военные действия задержали государя за границей надолго. В безустанных переговорах с беспокойными и подозрительными союзниками государь не мог приехать даже и по настойчивым призывам любимой сестры. Наталья Алексеевна с открытием весны стала чувствовать себя день ото дня все хуже и хуже. Какую болезнь захворала царица, доктора с точностью определить не могли, но угрожающие признаки постепенно усиливались, и к началу лета исчезла всякая надежда на выздоровление. Царица Наталья Алексеевна умерла 18 июня 1716 года.

Смерть родной тетки не огорчила царевича, из памяти которого ни время, ни обстоятельства не могли стереть тяжелых детских впечатлений. Он помнил живо страшную, раздирающую сцену, когда царица Наталья, приехав неожиданно в кремлевские палаты, безжалостно вырвала его, восьмилетнего мальчика, из судорожно уцепившихся за него рук матери; царевич не мог забыть отчаянного, пронзительного крика в верхних теремных покоях, когда его усадили в карету подле царицы. Ребенком он испы-

тал первое злобное чувство; и ребенком еще он инстинктивно понял необходимость затаить его в себе — рано судьба научила его притворству. Затем дурное зерно еще более развилось в Преображенском, где постоянно жила царевна и где должен был жить и он, и в кругу новых бесприветных лиц, которых холодность и неприязнь к себе чужало его отзывчивое сердце. Наталья Алексеевна по ненависти своей к Авдотье Федоровне, естественно, не могла любить ее ребенка. Впрочем, ненависть к матери царевича у Натальи Алексеевны не была следствием личного неприятного чувства к Авдотье Федоровне,— точно так же бы ненавидела она и всякую другую жену брата как имевшую право на его привязанность. Конечно, может быть, ненависть эта тогда чувствовалась острее, как бывают глубже первые раны ревности, но потом, с отсылкою жены, эта вражда совершенно утихла. Впоследствии царевна даже стала было несколько холоднее относиться к нередким увлечениям молодого государя, но в последнее время, от установившейся и окрепшей любви брата к Катерине Алексеевне, ее ревнивое чувство снова пробудилось в ней с прежнею силою. Наталья Алексеевна не любила Катерину Алексеевну, постоянно выказывала ей сдержанность, холодность и даже явное нерасположение, только теперь ее расположение не имело прежних последствий. Брат был не тот, да и обстоятельства иные: государь, привязываясь к жене все больше и больше, становился равнодушен к сестре. В прежние годы при первом известии о серьезном нездоровье сестры он бросил бы все дела и прискакал бы к ней, а теперь на все ее горячие просьбы и мольбы о последнем свидании в этом мире не было и ответа.

Расходясь с новым семейством брата, царевна в то же время стала выказывать большее расположение старшему племяннику. Подозревая в отдалении отца от сына интриги новой жены и всесильного любимца, Наталья Алексеевна, наоборот, стала принимать в нелюбимом сыне живое участие, стала горячо защищать его перед отцом в тех нередких бурных сценах, в которых брат и сестра не привыкли стеснять себя. И вот накануне смерти, почувствовав близость вечной разлуки, Наталья Алексеевна призвала к себе племянника и сказала ему с полною откровенностью:

— При жизни твоей я не раз удерживала брата от враждебных намерений против тебя, но теперь я умираю и тебе надобно самому о себе позаботиться... По моему мнению, лучше бы всего,— тихо проговорила она, немного по-

думав, — тебе отсюда на время удалиться куда-нибудь за границу, хоть бы под покровительство императора, твоего родственника.

«Вот и тетка-царевна говорит о побеге за границу как об единственном способе, стало, и действительно нет уже никакого другого исхода, — думал Алексей Петрович, возвращаясь от тетки, но вместе с тем ему впадал на ум и вопрос: — По какому же поводу тетка вдруг, ни с того ни с сего, стала высказывать такие откровенные речи, не подвох ли какой? Недаром же дядя Абрам Федорович все худое с лопухинцами приписывает тетке Наталье Алексеевне, да и сам он в ребячестве испытал, какова она... но ведь все это зловерительство было давно, очень давно, а в последнее время тетка сделалась как будто совсем другою женщиною... Как же бы ей замышлять худое при кончине жизни, после духовного напутствия. Нет, верно, и вправду нельзя выбрать другого выхода».

Царевна Наталья Алексеевна умерла, не повидавшись с братом.

Похоронив тетку с подобающим торжеством, царевич с Афросей уехали на подгородную мызу Дудоровскую, где и прожили конец лета и начало осени в полном безоблачном счастье. Оба они закрыли глаза на будущее, отгоняя от себя всякую мысль о пропущенном сроке, о котором, наконец, и действительно забыли. А между тем не забыл о нем суровый отец.

Как ни был государь озабочен военными делами с союзными дворами Датским, Саксонским, Ганноверским и Прусским против общего врага Швеции, но неотвязная мысль о сыне не покидала его; не покидала, может быть, и от постоянных напоминаний то от Данилыча по поводу какого-нибудь поручения в Россию, то от Катеринушки, невольно вспоминая об оставленных детях. Прождав напрасно более месяца после назначенного срока ответной резолюции от сына, государь в конце августа из Копенгагена, где тогда жил, отправил курьера Сафонова в Петербург с решительным письмом:

«Мой сын!

Письма твои два, — писал отец, — в 29 день июня, другое в 30 день июля писанные, получил, в которых только о здоровье пишешь, чего для сим письмом вам напоминаю.

Понеже когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостию

своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал 7 месяцев; но по сей поры ничего о том не пишешь. Того для ныне (понеже время довольное на размышление имел), по получении сего письма, немедленно резолюцию возьми: или первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действиям поспеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день (дабы я покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу). А сего доносителя пришли со окончанием; буде по первому, то когда выедешь из Петербурга, буде же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».

Быть или не быть, ехать или не ехать? Конечно, нет, никакие силы человеческие не могли бы заставить сына добровольно жить с отцом и участвовать в военных действиях, о которых пишет отец как будто о каком-то заманчивом удовольствии. Но если не ехать, то что ж делать? А решить необходимо, письмо требовало окончательного ответа. Царевичу представлялось два пути: или монастырь, или побег за границу. Восемь месяцев назад он выбирал монастырь, говорил об этом отцу, и говорил тогда правду. Тогда ему казалось, что клубок может его защищать на то короткое время, которое проживет отец — тогда больной, что потом этот клубок, как не прибитый гвоздем к голове, может быть и сброшен; но теперь обстоятельства изменились: отец, как видно из письма и из рассказов гонца Сафонова, совсем здоров, проживет долгие годы, проживет столько, что, пожалуй, и клубок прирастет к голове, не снимется, а если и снимется, то вместе с головой... Нет, клубок теперь не защита, а только лишние, тяжелые путы. Притом же эти восемь месяцев жизни с Афросей ясно показали, как она дорога ему, необходима: невозможна жизнь без нее, хоть бы и на короткое время. Не лучше ли убежать и скрыться вместе с Афросей где-нибудь в потайном местечке и ждать там благоприятного времени? Бежать советовали ему покойная тетка и все преданные люди. Может быть, теперь Кикин выискал удобное убежище... Жаль, если придется уехать, не повидавшись с ним.

Царевич решил бежать.

Как будто сама судьба наталкивала его, облегчая ему все способы для приведения в исполнение своего замысла. Отец сам зовет его в чужие края надолго; следовательно, не может быть никакого подозрения, если он будет собираться грузно, если соберет с собою все необходимое, если покончит свои хозяйственные счета и возьмет с собою все доходы, поступившие и имеющие поступить.

Устроив насколько было возможно свои хозяйственные дела, Алексей Петрович поехал к недавно приехавшему в Петербург князю Меншикову.

— Получил цидулу от родителя?— встретил князь Алексея Петровича с обычной своей надменностью, которую в последние годы не скрывал в своем обращении с царевичем.

— Получил на Дудоровской мызе от Сафонова, сиятельный князь,— почтительно доложил царевич.

— Какую же по оной диспозицию учинишь?

— Батюшка государь изволит спрашивать резолюцию и зовет к себе.

— Что ж... поедешь?

— Поеду, князь.

— И скоро отправишься?— не доверял князь, видимо озадаченный решением царевича.

— Тотчас же, как только прощусь с братцем и сестрицами.

— Так как, чаю, имеешь надобность в финансах на путевые депансы, то как снарядишься совсем, приходи ко мне: получишь тысячу червонцев, да зайди еще в сенат, откуда тоже получишь не меньше двух тысяч рублей,— распорядился Александр Данилович и потом, подумав, добавил:— А как же Афросинью — разве покинешь?

— Нет, сиятельный князь, возьму с собою до Риги, а от туда отпущу в Петербург.

— Незачем... лучше бы ее взял с собой в поход к отцу,— с насмешкой заметил Меншиков, убежденный в душе, что царевич не расстанется с любовницей, повезет ее с собою и тем, конечно, на первых же порах возбудит неудовольствие отца.

От князя царевич прошел в сенат — повидаться и проститься с господами сенаторами, в преданности которых, если не всех, то, по крайней мере, большинства, он был уверен, зная их тайную зависть к общему их недругу, всемогущему царскому любимцу Данилычу.

— Пожалуй, при случае не оставь меня,— шепнул ца-

ревич на ухо князю Якову Федоровичу Долгорукову, прощаясь с ним.

— Всегда рад служить, только больше ничего не говори... другие смотрят на нас,— опасался князь Яков.

Царевич решил бежать, не определяя куда. В голове его бродили смутные мысли о Франции и Италии, о тех государствах, где он не бывал и которых не знал. Хорошо ему были известны многие местности Германии и Пруссии по заграничным поездкам для лечения минеральными водами, но именно поэтому-то этих местностей он и должен был избегать. По Германии, Пруссии и Голландии непрерывно сновали отцовские посланцы, там знали хорошо царевича, и потому скрывать следы представлялось делом невозможным. Чаще всего мысли царевича останавливались на Вене, где он надеялся на покровительство свояка-императора, будто бы, по словам Кикина, расположенного к нему. Не раз вспоминал он в последние дни об Александре Васильевиче, обыкновенно таком находчивом и изворотливом. «Может быть, Кикин нашел мне местечко,— думалось царевичу,— может быть, он и теперь близко где — лечебный сезон в конце сентября кончается, и царевна Марья Алексеевна вернется не нынче-завтра, да ждать-то нельзя, зорко наблюдает светлейший! Если не встречу дорогой, то заеду к нему в Карлсбад».

О решимости своей бежать царевич никому не открылся, за исключением только двух лиц, на преданность которых рассчитывал и от которых было невозможно утаить: от камердинера своего Ивана Большого Афанасьева, собиравшего его в дорогу и укладывавшего все вещи, да своего эконома, которому выдал пятьсот рублей для отсылки матери в Покровский монастырь.

В последних числах сентября, утром, выехал из Петербурга по дороге в Ригу царевич Алексей Петрович с Афросей, братом ее Иваном Федоровым и тремя слугами: Носовым, Судаковым и Меером. Без грусти покидал царевич серенькое, неприветливое небо, моросившее не дождем, а каким-то сплошным туманом, сквозь который вдаль не проникал человеческий взгляд. Не жалел он холодного отцовского очага в холодной родине, где он испытывал только одно горе. Лучше умереть, чем так жить, говорил он при выезде из столицы.

Около Либавы в четырех милях царевич встретился с Марьей Алексеевной, возвращавшейся из Карлсбада, где она пользовалась минеральными водами от рожистого вос-

паления в ногу. Алексей Петрович пересел в карету царевны, и началась между ними беседа, о которой он впоследствии передавал почти слово в слово.

— Куда едешь?— спросила тетка.

— К батюшке,— отвечал царевич.

— Это хорошо,— одобрила царевна,— надобно отцу угождать, то и Богу приятно. Какая была бы прибыль, если бы ты в монастырь пошел?

— Уж не знаю как, буду ль угоден или нет, себя чуть знаю от горести, рад бы куда скрыться,— при этом царевич заплакал.

— Куда тебе от отца уйтить, везде тебя найдут,— заметила тетка.

Затем царевна стала расспрашивать о постриженной государыне Авдотье Федоровне, с которою была всегда особенно дружна.

— Забыл ты ее,— пеняла царевна,— не пишешь и не посылаешь ей ничего. Послал ли после того, как через меня была посылка?

Царевич сказал, что перед отъездом приказал Федору Домбровскому отослать к матери пятьсот рублей.

— Да писал ли сам-то?— допытывалась тетка.

— Писать опасаюсь,— оправдывался он.

— А что? Тебе бы хоть и пострадать за нее, так ничего: ведь за мать, не за кого иного.

— Что же в том прибыли?— возражал царевич.— Мне будет беда и ей пользы никакой. Жива ли еще она?

— Жива. Было откровение ей самой и другим такое: будет жить она с отцом твоим вместе, будут у них дети, и смятение утишится... А Питербурх не устоит за нами: быть ему пусты!— передавала тетка с полным убеждением в непреложности выполнения.

Потом разговор перешел на Катерину Алексеевну, расположение которой к себе начал хвалить Алексей Петрович.

— Что хвалишь ее?— с раздражением сказала царевна-старушка.— Ведь она не родная мать! Где ей так тебе добра хотеть! Митрополит Рязанский и князь Федор Юрьевич и объявление-то ее царицею не благо приняли. К тебе они склонны... Я тебя люблю и всегда рада всякого добра; не много ведь вас у нас, только бы ты был ласков!

Наконец при расставании тетка тихо проговорила племяннику:

— Повидайся в Либаве с Кикиным Александром Васильевичем, он имеет до тебя дело какое-то.

В Либаве царевич увиделся с Александром Васильевичем.

— Нашел ли где мне местечко?— спросил с нетерпением и страхом царевич.

— Нашел. Поезжай прямо к цесарю. Просил я нашего поверенного в Вене Веселовского насчет тебя разузнать. Он говорил по тайности с тамошним вице-канцлером Шенборном, а тот с самим цесарем, и выходит так, что император готов тебя принять как своего родственника, отцу не выдаст и жалованье положит тебе тысячи по три гульденов в месяц. Живи там себе спокойно до лучшего времени.

— Ох, кабы так!— промолвил царевич.— Страшно, Александр Васильевич...

— Чего страшно-то? Все едино... здесь тебе не жить... Верные люди сказывали мне, будто отец ноне тебя не пострижет... Князь Василий Владимирович Долгоруков посоветовал ему держать тебя при себе неотлучно, возить повсюду, чтоб ты от понесенных трудов умер... А то в черничестве, говорит, тебе покой будет и можешь долго прожить... На эти слова отец твой и сказал: «Хорошо так...» Дивлюсь я, как еще доселе тебя не взяли.

Царевич вполне поверил рассказу Кикина, на преданность которого он надеялся и которого ценил очень высоко.

— Не открылся ли ты, царевич, о своем намерении кому-нибудь в Петербурге?— озабоченно спросил Кикин при прощании.

— Никому не открылся, кроме своего Ивана Большого.

Но и это известие, видимо, обеспокоило Александра Васильевича, любившего вести дела осторожно, не выставляя концов.

— Вызови, царевич, Ивана к себе,— посоветовал он.— Когда Ивана в Петербурге не будет, то и неоткуда пронестись, куда ты уехал и зачем,— ведь кроме нас двух об этом не знает никто, а так как меня в Петербурге не было при тебе, то на меня и подозрения не будет. Если же Иван дома останется, так, пожалуй, с кем и промолвится.

— Иван не поедет за границу,— утвердительно отозвался царевич.

— Если ты знаешь наверно, что Иван не поедет,— придумал Кикин другое средство,— так напиши ему письмо, будто у тебя с ним и речей никаких не было и бежать ты вздумал на пути.

Под диктовку Александра Васильевича царевич тотчас же написал такое письмо:

«Иван Афанасьевич!

По получении сего письма поезжай ко мне, понеже я взял свое намерение, что где ни жить, а к вам не возвратиться (для милости вышних наших), о которой еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже ни малого к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гамбург, и там осведомишься о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения; когда б имел, то бы тебя взял силою».

Кикин взял это письмо и положил к себе в карман.

— Научи меня, Александр Васильевич, как мне утаить-ся в дороге,— расспрашивал царевич, когда Кикин собирался уходить.

— Поезжай прямо в Вену под чужим именем с Афросей, возьми человека одного, а других брось, чтоб ехали другим путем.

Царевич поехал дальше, миновал Данциг и исчез...

XVII

— Алеша! Алеша! Что это такое?!

— Где, Афрося?

— Вон там... смотри сюда, направо-то... видишь, высоко-высоко на горе? Словно гнездо какое в зелени.

— Что белеется-то над рекой?

— Да... да... Вон какие башни... стены... Не то монастырь аль церковь!

— Не церковь и не монастырь, милая, а рыцарский замок,— объяснял царевич Афросе, непрерывно выглядывавшей из экипажа и смотревшей на все с наивным изумлением.

Странно кажется все окружающее деревенской девушке, хоть и жившей потом в столице, но в такой столице, где еще хуже невзрачного городишки, где только кучи да глыбы разного материала, мусора и грязи. Все здесь не похоже на родину. Там поля тянутся необозримым горизонтом, степи бездонные, лес да болота, идешь, бывало, полем целый день и не встретишь души человеческой; а здесь о степях и помину нет, что ни шаг, то что-нибудь новое; далеко ли, кажется, отъехали от жилья, а впереди за пригорком виднеются уже остроконечные крыши; жилье совсем дру-

гое, не похожее на наши бревенчатые, низменные и потемневшие срубы с соломенными верхами, а какое-то высокое, с острыми кровлями из дощечек, выложенных как у князя-барина на шашечнице; у нас если и встретишь где в поле мужика какого, так тот от проезжего норовит куда-нибудь в лес забежать, спрятаться, какой-то напуганный и растерянный, а здесь народ заморенный, не бежит от проезжих, и одет он не так, и говорит не так. Там, на родине, теперь, верно, непролазная грязь, льет дождь неустанно, однотонный серый налет на всем: на плакучем небе, на полях и на голых деревьях, а здесь солнышко светит весело и блестит в ярких, разнообразных красках осени. Не может вдосталь надивиться всему Афрося

— Что это за рыцарские замки, Алеша?— продолжала допрашивать девушка.

Царевич, сам смутно понимавший о рыцарских временах, затрудняется вопросом и начинает объяснять нетвердым голосом:

— Это, милая моя, это... видишь... дома, которые выстраивали себе рыцари.

— А что такое рыцари, Алеша?

— Рыцари... Афрося, это... видишь ты, люди... такие люди... Особливые, которые только и делали что воевали.

— Значит, воевали, Алеша? За что ж они все воевали?

— Ну такое у них заведение было, Афрося. Воевали между собой за женщину какую-нибудь, нападали друг на друга, на соседей аль на проезжих.

— И на нас, пожалуй, нападут, Алеша?— испугалась Афрося.

— Нет, милая, теперь уж этих рыцарей больше нет.

— А куда ж они девались, Алеша, неужто все перебились?— не уставала допрашивать девушка.

— Не перебились, Афрося, а время ноне совсем другое настало, другие порядки и народ слабей. Бились они ведь мечами, закованные в железные кольчуги аль в латы, за надежными щитами, а ноне эти кольчуги и щиты разве защита? Пальнут из пистолы, все едино... рыцарь ли, простой ли смерд, одинаково убьется.

— А давно ли эти рыцари были?

— Давно, Афрося, очень давно, несколько сот лет тому назад будет.

— У... у... сколько,— успокоилась наконец девушка

Много таких разговоров бывало у молодых беглецов. Афросю все интересовало, хотела обо всем знать: что, как и

почему. Отчего здесь народ совсем другой, говорит не так, смотрит иначе, земля, деревья, жилье, солнышко и воздух совсем другие.

Из Данцига царевич с Афросей и братом ее выехали под чужими именами: Алексей Петрович назвался московским подполковником Кохановским, Афрося женой его, а Иван Федоров поручиком Кременецким. Выехали они в коляске по дороге на Франкфурт, а два служителя в особой почтовой телеге, не имея как будто никаких отношений к ехавшим, впереди в коляске. В первые дни заграничного путешествия царевич тревожился, волновался, постоянно торопил, непрерывно оглядывался по сторонам и расспрашивал, не проезжали ли где-нибудь близко московские люди; но потом, когда прошло несколько дней пути, а никаких подозрительных признаков и людей не встречалось, стал успокаиваться и останавливаться сначала на несколько часов, а потом и на несколько дней на отдых, выбирая, разумеется, более удобные местности.

В конце октября, около полудня, царевич приехал во Франкфурт, где пробыл часа два, обедал в загородной гостинице «Черный орел» и поехал оттуда по дороге на Бреславль через Цибинсен и Кросен. По мере того как царевич с Афросей успокаивались духом и физически более утомлялись, они пользовались роздыхами чаще и продолжительнее. В Бреславле прожили они два дня, столько же в местечке Лисниц, пять дней в Праге, откуда направились прямо в Вену.

Между тем на родине быстрый отъезд царевича поднял много шума. Алексей Петрович как поборник старых обычаев во всех слоях общества пользовался большой популярностью. С него не сводили глаз все, воплощавшие в нем заветный идеал русского царя, не зараженного басурманскими новшествами. Каково же было общее изумление, когда вдруг этот общий любимец, надежда-государь, собрался и, ни с кем не повидавшись, не простившись с самыми близкими людьми, даже с отцом своим духовным, уехал за границу. Куда, зачем и надолго ли? Со всех сторон сыпались вопросы, на которые не было никаких определенных ответов, кроме самых разнообразных догадок и предположений. Правда, люди, близко стоявшие к двору, говорили, что сын уехал к отцу по приказу того, но этому не верилось. Не поедет царевич к отцу, не захочет он участвовать в воинских действиях, которых не любил и причин которых не одобрял. Царевич жалеет своих людишек и не

станет в угоду государю тратиться ими за какие-то немецкие болота. Не нашел ли государь новой жены сыну из какого-нибудь немецкого королевского дома; но и это довольно правдоподобное объяснение опровергалось тем, что царевич взял с собой Афросинью, которую никак не следовало бы брать к отцу и особенно для такого дела.

Больше всех волновался московский духовник царевича, преподобный отец Яков, чаявший от своего духовного сына в будущем весьма великие и богатые милости, впрочем, и действительно любивший его. Письмо за письмом отсылал он за границу, наудачу, и ни на одно из них, конечно, не получил ответа. «Молю тя, премилостивого моего, аще ли не подлежит тайне и достоин ничтожность моя ведения, помилуй, уведоми мя, чesого ради скоропытное от Питербурха отшествие твое, и все ли во здравии и во благополучности, и не есть ли Якова гневоизлияния на тя, и к какому делу определенность тебе»,— писал преподобный отец в скорбном отчаянии; но вместо утешительной отповеди слышал только странные слухи, одни других мрачнее.

Во второй половине октября воротилась из заграничного лечения царевна Марья Алексеевна с Александром Васильевичем Кикиным. Со всех сторон обступили царевну с вопросами: не видала ли царевича и куда он уехал? Но и от старушки не могли добиться никакого толку.

— Видела племянничка, точно видела, около Риги,— бормотала всем старая тетка,— едет он, а куда — доподлинно не знаю... должно быть, к отцу.

Более положительных сведений не добились, хотя по глазам старушки ясно было заметно, что знает она многое или догадывается обо многом, да высказаться не смеет. Вскоре после приезда царевна навестила малюток Петра Алексеевича и Наталью Алексеевну, с необыкновенной нежностью целовала их, плакала и причитала:

— Покинуты вы, сиротинки мои бездольные, горько будет вам на Божьем свете без матери и отца.

И еще больше эти причитания смутили всех — почему же они сиротинки бездольные? И почему же они на Божьем свете без отца, когда он только уехал за границу к отцу? Уж жив ли царевич?

Допытывались вестей и от Александра Васильевича, но от него и вовсе ничего не могли узнать. По его рассказам, видел он царевича мимолетно, ни об чем не разговаривал с ним и ничего не знает. Александр Васильевич в это время

сам был очень озабочен относительно доверенного камердинера царевича, Ивана Большого Афанасьева Александр Васильевич любил всегда поступать так, чтобы во всех своих делах самому оставаться в стороне с глубоко зарытыми концами, а тут нужно же было царевичу проболтаться! И вот он пытается замести свои следы При свидании с Иваном Большим и он точно так же, с таким же живым нетерпением, расспрашивал, куда поехал царевич и какие у него были помышления при отъезде. Иван Большой отозвался незнанием, с таким, впрочем, добавлением, что если кто может знать, так только сам он, Александр Васильевич.

— Что ты, что ты, Иванушка, как же мне то знать, сам рассуди: царевич никогда со мной ни в какие рассуждения не вступал ни об чем.. да и посоветовал ли бы я ему такое дело...— открещивался с полнейшим добродушием Александр Васильевич.

— Доподлинно не знаю о том, бывали ли у вас какие рассуждения, но царевич говаривал о том мне неоднократно,— настаивал Иван Большой

— Шутил, Иванушка, забавлялся царевич, и больше ничего. Вот хоть бы когда мы встретились в Либаве — царевич не токмо не соизволил перемолвить со мной и двух слов, но даже и взглядом не удостоил, точно будто сердитует на меня... Хотел тебя спросить, за что у царевича сердце на меня?

Подобными разговорами Александр Васильевич заметал свои следы Если что и пронесется впоследствии, если государь и будет разыскивать, кто были союзниками у сына в побеге за границу, так на него и подозрения никакого возникнуть не может. Он был в то время за границей, советовать царевичу не мог, да притом же и в письме сына ясно говорится, что намерение было взято вдруг, скоропоятно, как выражался преподобный отец Яков.

Прошло два месяца с отъезда царевича, наступила зима, а вестей о нем по-прежнему не бывало ни с дороги, ни о приезде к отцу По городу разносились самые разнообразные рассказы: в низших слоях, между бородачами, говорилось, будто государь-отец извел его, будто с этим намерением и вызвал его; в высших же сферах конфиденчно толковалось о побеге с различными одобрительными или осудительными объяснениями. Даже самые близкие люди царевича не знали, где он, хотя и были убеждены в его жизни. Преподобный отец Яков получил даже в конце ноября, будто от царевича, какое-то странное письмо, в котором го-

ворилось о каких-то письмах и наказывалось настрого не писать к себе никому. Святой отец тогда никому не сказал об этом письме, да, впрочем, и сам сомневался, действительно ли оно от царевича.

Доходили тревожные городские слухи и до светлейшего князя Меншикова, но на них князь не обращал никакого внимания. Умер ли царевич, убежал ли куда — все едино: не бывать царевичу на самодержавстве, не отстранить близких к отцу людей. В конце декабря светлейший получил два письма, одно вслед за другим, от Катерины Алексеевны, и в обоих говорилось, что об его высочестве Алексее Петровиче никакой ведомости не имеется. Князь только улыбнулся, прочитав это известие и не сделал никакого распоряжения о розыске между домашними людьми царевича. Зачем? Теперь государь сам не оставит этого дела.

И действительно, отец не оставил этого дела.

В Шлезвиге, на пути из Копенгагена в Любек, государь встретил курьера Сафонова, приехавшего с известием о выезде из Петербурга царевича. «Значит, отказался от своего черничества», — подумал государь, в душе не совсем довольный послушанием сына. «По какой же дороге поехал Алексей?» — спросил он курьера; но Сафонов не мог указать положительно, так как, выехав после царевича, он не предполагал приехать прежде него, а потому и не справлялся о маршруте Алексея Петровича. Верно, запоздал, не может расстаться с своей Афросей, решил государь и перестал думать о сыне.

Прошел с лишком месяц, а сын все не приехал, и даже об нем нет никаких вестей, словно в воду канул. Всем гонцам, отправляемым в Россию, государь наказывал справляться дорогой, где именно засел сын; всех приезжающих расспрашивал, но ни от кого ни одного слова, никто в дороге не видал царевича и не слышал о нем. Ясно стало, что царевич ехал за границую под чужим именем... следовательно — бежал... Всколыхнулось сердце государя, но не добрым чувством, не строгим допросом самого себя, своей совести о своей вине, доведшей сына до такого отчаянного дела, а злобой за скандал, за срам перед целой Европой, мнением которой в сущности государь дорожил более, чем выказывал. К самообвинению неспособна была его самонадеянная, насыщенная сознанием собственной непогрешимости душа; и в побеге сына он увидел одно только преступление сына против ни в чем не повинного отца, — тяжкое преступление подданного против своего го-

сударя и отечества. Надобно во что бы то ни стало виновного достать, вырвать и уничтожить. Вопрос о том, куда укрылся сын, решил отцом очень легко — некуда больше, как к свойственнику своему, к цесарю в Вену; и строгий судья тотчас же сделал деятельные распоряжения. Генералу Вейде, командующему русскими войсками в Мекленбургии, он приказал разослать по дорогам в Вену надежных и ловких офицеров разузнавать о всех проезжавших русских путешественниках, и одновременно с тем вызвал из Вены своего резидента Веселовского.

— Проведывай там и по дороге, где имеет пребывание Алексей,— поручил царь Веселовскому,— и когда узнаешь, то следуй за ним, куда бы он ни поехал, ко мне же, немедля, пришли с эстафетой курьера.

Вместе с тем государь дал резиденту собственноручное письмо к императору Карлу VI, из которого видно было, что он верно угадал намерение сына.

Надежные офицеры не открыли ничего, но более счастливым оказался находчивый резидент. Зная, что во всех городах существуют заставы, где караульные записывают имена всех проезжающих, он, за приличную плату писарям, стал лично проверять в списках проезжающих в октябре месяце — и добыл очень веское указание. В числе пассажиров, проехавших Франкфурт-на-Одере, он прочел под числом двадцать девятого октября имя московского подполковника Кохановского с женою, поручиком Кременецким и одним служителем, остановившихся за городом в гостинице «Черный орел».

Веселовский немедленно отправился в эту загородную гостиницу, где от самого хозяина получил довольно обстоятельные сведения о приметах подполковника Кохановского. По рассказам трактирщика, Кохановский был молодой еще человек, с опущенными французскими усиками, жена же его малого роста. Конечно, этих общих черт, сохранившихся в памяти хозяина, далеко было бы недостаточно для признания в проехавшем подполковнике царевича Алексея Петровича; но сходство подтверждалось другим, по-видимому незначительным, но по настоящему случаю весьма важным обстоятельством. «Во время обеда,— рассказывал трактирщик,— часа два спустя после приезда в гостиницу Кохановских, к ним явились два служителя, приехавших отдельно в простой почтовой телеге, переговоривших с ними о чем-то, потом остановившихся в другой гостинице и, наконец, уехавших вслед за господами по до-

роге к Бреславлю». Число лиц, следовавших за Кохановским, совершенно совпадало с числом лиц, сопровождающих царевича, считая Афросю, ее брата и трех служителей.

Резидент поскакал в Бреславль через Цибинген и Кросев, расспрашивая по пути вагенмейстеров, заведовавших почтовыми лошадьми, о проехавшем русском офицере. В Бреславле в заставных списках Веселовский прочел о проезде московского подполковника Кохановского с женою и двумя служителями, остановившихся в гостинице «Золотой гусь» и стоявших там два дня, а оттуда отправившихся в Нейс. Хозяин же «Золотого гуся» сообщил, что господин московский подполковник подробно расспрашивал, далеко ли до Вены. Из Нейса Кохановские поехали в Прагу, где и прожили пять дней в гостинице «Золотая гора», а отсюда направились в Вену.

XVIII

В стороне от Пражского шоссе, в версте от предместья Вены, приютилась гостиница под вывескою «Черный орел». Небольшое, но красивое здание, окутанное зеленью деревьев, приветливо выглядывало своими лицевыми окнами на дорогу, обещая усталому путешественнику тихий отдых перед въездом в шумную резиденцию; столичному жителю приют для веселых свиданий, а тайно укрывающимся парочкам — надежный покров. Всем требованиям удовлетворял «Черный орел». Нероскошные, но удобные номера гостиницы снабжены всеми необходимыми принадлежностями для удовлетворения желаний посетителей. По вечерам его посещали особенно часто; густой парк позади дома с полутемными, таинственными аллеями бывал свидетелем многих и многих историй вечно разыгрывающейся человеческой комедии, но свидетелем надежным, не выдающим никогда и никому своих тайн.

Ослепительное утро одного из первых ноябрьских дней 1716 года, утро с голубым небом, тихим колыхающимся воздухом, с яркими красками готовящейся на отдых природы. В это утро кругом гостиницы, как и в ней самой, не заметно особенной деятельности. Да и вообще по утрам посетителей бывало мало, разве только какой-нибудь усталый турист, путешествующий для своего удовольствия, соблазнится привлекающим видом кокетливой гостиницы

или мастерски нарисованным птичьим царем с раскрытым клювом и немигающими грозными глазами.

На широких ступеньках крыльца, на площадке и по широким настилкам около ступеней разместились вся прислуга гостиницы, воспользовавшаяся свободным временем после уборки номеров и отъезда хозяина в город развязать отдохнувшие языки и понежиться под теплыми лучами осеннего солнышка. Тут были все к льнеры, начиная с пожилого, сановитого Франца и кончая молодым вертлявым Фрицем, все Эрнесты, Генрихи, Иоганны и даже сама фрейлейн Луиза, камеристка, бойкая девушка лет под тридцать, но еще свежая, кокетливая. Фрейлейн Луиза, около которой группировался весь кельнеровский кружок гостиницы, составляла свою миловидную особую постоянный предмет явных и тайных пожеланий всех Францев и Фрицев. Сознывая свою цену, фрейлейн умела ловко здоровыми локтями отбиваться от навязчивых, нескромных притязаний какого-нибудь нищего урода Генриха и в то же время умела соразмерно награждать нежными взглядами и поцелуями сановитого Франца, разумеется, не без приличного вознаграждения финансами.

Компания весело хохотала, слушая рассказ кельнера Генриха о том, как накануне старый толстый садовник Ганс застал жену свою на коленях у своего молодого помощника, как старик выпучил свои оловянные глазищи,— при этом Генрих силился вытаращить свои маленькие глазки,— и как потом почтенный муж совершенно успокоился уверениями жены, что это ничего, простая обыкновенная шутка, притом модная у светских дам.

— О, Ганс очень-очень прост; муж мудрый и благонадежный не позволил бы себя обманывать ветреной женщине,— самодовольно решил сановитый Франц.

Фрейлейн насмешливо пожала плечами и отворотила головку; в это время она увидела спускавшийся с горы почтовый экипаж.

— Смотрите, смотрите!— вскричала она, указывая на экипаж.— К нам едет путешественник, а у Франца, верно, номер не готов.

— Вот и не угадали, фрейлейн, у меня все готово к вашим услугам,— лакейски скаламбурил Фриц,— только путешественник-то проедет мимо.

— Нет, к нам,— настаивала фрейлейн.

— Нет, не к нам,— настаивал с своей стороны Фриц

— Нет, к нам, и я знаю кто...

А кто бы, по-вашему, фрейлейн?

— Толстый, неуклюжий англичанин..

— Очень уж вы, фрейлейн, благосклонны стали к англичанам, — ревниво заметил Франц.

На этот раз фрейлейн Луиза угадала только наполовину Экипаж действительно подъехал к крыльцу гостиницы, но из него вышли не толстый англичанин, а целая семья: молодой офицер с французскими усиками, молодая женщина, третий спутник, похожий на молодую женщину, и камердинер. Все они молча, не взглянув ни на кого, напротив, даже как будто скрывая лица, прошли мимо всей прислуги за Фрицем, бросившимся вперед показывать приезжим семейные номера. Фрейлейн Луиза поспешила тоже, хотя и не с такою готовностью, с какою встречала англичанина, за путешественниками, а за нею разбрелась и вся компания; на крыльце остался только один изумленный и как будто о чем-то вспоминающий сановитый Франц.

— Похож... удивительно похож... — бормотал он, приложив указательный палец к наморщенному лбу, — только вон эти французские усики... у его высоч... их тогда не было.. в Торгау... да и отец тогда...

Между тем путешественники выбрали себе номер и, отослав услужливого Фрица, заперли за ним дверь. Вместо того чтобы заняться расспросами о разных столичных новостях или утолить голод и жажду, как обыкновенно делали пассажиры, едущие в резиденцию, наши путешественники, видимо, избегали всякого сближения с прислугой, ничем не поинтересовались и ни о чем не спросили. Фрейлейн Луиза, рассчитывавшая было на свои услуги молодой женщине, на свое предложение тоже получила короткий отказ. Фрейлейн поразило такое странное обстоятельство, не привыкшая к отказам на свои предложения и любопытная, как все немецкие наследницы Евы, она тотчас же приложила бойкий глазок к отверстию в замке, куда входил ключ, но, к несчастью, на этот раз ее любознательность не была удовлетворена: путешественники, заперев двери, не вынули ключа, и таким образом отверстие заслонилось. Так и не узнали, что делали странные, необщительные путешественники в своем номере, ни фрейлейн Луиза, ни кельнер Фриц.

Через час старший из пассажиров, тот, который назвал себя для записи в книгу московским подполковником Кохановским, вышел из номера и, не сказав никому ни слова, отправился пешком по дороге в Вену

— Странно!.. Гм! Подполковник... подполковник, а похож... так похож, как две капли воды... — ворчал про себя сановитый Франц, провожая глазами удалявшегося путешественника.

После полудня московский подполковник воротился, и к общему удивлению всех кельнеров и фрейлейн Луизы, воротился с большим узлом в руках. Новый повод к разным толкам и догадкам! В самом деле, не странно ли вместо отдыха после утомительного пути отправиться пешком в город за какими-то покупками, которые можно было бы купить и по приезде в столицу? Если же такие покупки теперь именно были необходимы, то разве нельзя было послать комиссионера или кого-нибудь из кельнеров, которые, конечно, лучше знали, где купить дешевле и лучше? Но каково же было общее изумление, когда перед вечером прибывшие иностранцы с тою же таинственностью, не сказав никому ни слова, сами наняли проезжавшего мимо извозчика и уехали в город.

— Вы ничего не заметили, фрейлейн Луиза?— спросил Фриц, проводив странных гостей.

— Ничего, господин Фриц.

— И этого маленького иностранца не заметили?

— Вы, верно, хотите сказать — иностранку, господин Фриц.

— Вот в том-то и штука, фрейлейн Луиза, что эта иностранка вовсе не иностранка, а иностранец.

— А вы почему это знаете, Фриц?

— Во-первых, потому, фрейлейн, что, заинтересовавшись этими чужеземцами, я не отходил от их дверей из номера и раз, когда кто-то из них, выходя, отворил двери, я тотчас же запустил глаза в комнату, и что же бы вы думали, фрейлейн, я увидел? Маленькая женщина вынимала из узла мужские штаны, как есть настоящие штаны, фрейлейн, с камзолом и надевала их на себя; а во-вторых, когда они теперь проходили мимо, я собственными своими глазами видел из-под плаща вместо юбок панталоны, а под мышкою мужскую шляпу.

— Вы все врете, Фриц?

— Не вру, фрейлейн, право, не вру, своими глазами видел. Может быть, там, в Москве, на конце света, каждая женщина, если захочет, может сделаться мужчиной,— лукаво подмигивая, заигрывал Фриц, ущипывая упругую руку фрейлейн повыше локтя.

— Ах, отстаньте, господин Фриц, как это возможно,—

слабо защищалась фрейлейн, жеманно опустив глазки,— ну как увидит этот несносный Франц!..

На городской башне доброго города Вены пробило десять часов вечера десятого ноября 1716 года. Огни почти во всех домах погашены, только в доме вице-канцлера империи графа Шенборна сквозь полуопущенные шторы из окон рабочего кабинета пробивается свет от двух восковых свечей. Граф Шенборн, подписав последнюю бумагу и сдав ее адъютанту для отправки на почту, устало потягивается в глубоком кресле, предвкушая наслаждение отдыха и неги предстоящего облачения в широкий шлафрок.

Адъютант вышел.

Но не суждено было в этот день графу вице-канцлеру мирно предаться в обычный час успокоительному сну. Едва успел он надеть шлафрок, как дверь снова отворилась, и в ней показалось встревоженное лицо адъютанта.

— Что с вами, мои милыи? Забыли что-нибудь? — спросил вице-канцлер.

— Нет, ваше сиятельство... но там, сходя по лестнице, я встретил...

— Верно, мой милый, встретили старика Жозефа, моего верного швейцара.

— Не Жозефа, ваше сиятельство, а какого-то незнакомца.

— Не-зна-комца! — протянул граф. — Полноте, милейший, ну что ему надобно от меня в такую пору?

— Я спрашивал его, но он говорит, что имеет важное дело лично к вашему сиятельству, и настоятельно требует аудиенции.

— Помилуйте, какая теперь аудиенция... в такой час! Пригласите его прийти завтра хоть часов в семь, а если имеет какое письмо, то пусть передаст его вам.

— Говорил, ваше сиятельство, но он не уходит, грозит-ся идти во дворец и разбудить самого императора. Очень важное, государственное дело...

— Хорошо, мой милый, позовите его сюда и приходите сами да прикажите кому-нибудь быть в соседней комнате, — распорядился вице-канцлер.

Через минуту в кабинет вошел незнакомец.

— Вы кто такой? — строго спросил граф.

— Я русский, ваше сиятельство, наш царевич-государь приехал сюда и, остановившись в гостинице «Klarrager»,

желает с вами видеться сегодня же, — обрубил незнакомец коверканым французско-немецким языком.

— Сегодня? Когда же? Теперь ночь! — смутился граф. — Притом же я не знаю, правду ли вы докладываете? Каким образом и когда мог прибыть сюда русский царевич — мы не имеем об этом никаких донесений!

— Царевич приехал сюда в величайшей тайне, инкогнито, и желает явиться прежде к вам по примеру всех чужестранцев, приезжающих к императорскому двору... К тому же он слышал об вашем сиятельстве столько хорошего.

— В таком случае... в таком странном случае, — бормотал окончательно растерявшийся вице-канцлер, — я сам пойду явиться к его высочеству и только надену приличный костюм.

— Не трудитесь, ваше сиятельство, царевич здесь. Он ожидает на улице у подъезда.

— Ах, Боже мой! Боже мой! Какой странный, неожиданный случай! Бегите же, мой милый, — обратился граф к адъютанту, — и почтительнейше пригласите кронпринца пожаловать, а я между тем приготовлюсь к приему.

Но не успел достойный ревнитель приличий окончить своего туалета, как в кабинет вошел в сопровождении адъютанта и своего служителя царевич Алексей Петрович своею обычною неровною походкою.

— Зная в вас достойное и доверенное лицо моего шурина, императора, я, прежде чем явиться к его величеству, решил предварительно переговорить с вашим сиятельством о весьма важной материи наедине.

По знаку вице-канцлера адъютант и служитель царевича вышли.

Да, без всякого сомнения, это он, русский кронпринц Алексей Петрович, вице-канцлер не может его не признать: он видел его так часто четыре года назад; но как царевич изменился в эти четыре года, похудел, побледнел, как осунулось болезненное лицо, как будто морщинка показалась на высоком лбу, какие странные подергивания всех мускулов; граф видел нервны подергивания в лице и у отца при душевном волнении, но эти конвульсии другие, на них больно смотреть здоровому человеку.

— Я пришел сюда просить цесаря, моего шурина, о покровительстве... о спасении моей жизни... Меня хотят погубить, меня и бедных детей моих хотят лишить престола, — продолжал Алексей Петрович отрывисто и волнуясь.

Лицо его приняло какое-то странное, пугливое выражение; он озирался кругом и порывисто перебежал с одного места на другое, как будто боясь преследования страшных, невидимых врагов.

— Умоляю вас, ваше высочество, успокоиться; в чрезмерном огорчении вам может казаться ваше положение в таком мрачном виде, от которого в действительности оно еще очень далеко. Во всяком случае, смею уверить, что вы здесь в полнейшей безопасности. Император, по великодушию своему и по родственному чувству, не откажет в помощи, сколько это будет возможно, но он пожелает узнать, какие именно ваше высочество имеет намерения.

— Да, цесарь, шурин мой, великодушен, он не может меня оставить... он должен спасти мне жизнь и охранить мои и моих детей права на престол. Отец хочет лишиться меня и жизни, и короны... а я ни в чем не виноват... Я человек слабый... таким меня сделал Меншиков... нарочно спаивал... Отец говорит, что я не способен к войне и к управлению, но я чувствую в себе довольно силы и ума, чтобы царствовать... Бог дает царства и назначает наследников... а отец хочет постричь меня в монастырь... убить... Я не хочу в монахи... Император должен меня спасти... должен... Ведите меня к нему...— волновался все более и более царевич и, наконец, в полном изнеможении упал в кресло.

Вице-канцлер подал царевичу стакан мозельвейна освежиться и старался его успокоить.

— Прежде всего,— говорил он,— будьте вполне уверены в совершенной здесь безопасности. Успокойтесь и более хладнокровно обсудите свои желанья. Аудиенцию теперь, в такой поздний час, получить решительно невозможно, да и вообще мне кажется, если ваше высочество позволите мне представить со всем усердием свой преданнейший совет, вообще в таком странном, никогда не слыханном деле было бы лучше вовсе не представляться к его величеству и сохранить ваше присутствие здесь в глубочайшем инкогнито. Тогда император будет иметь время хладнокровно обсудить ваше положение и изыскать меры к вашему вспомоществованию. Кроме того, для интересов же вашего высочества, моему все милостивейшему государю необходимо изложить в полнейшей подробности самое правдивое изъяснение всех ваших злоключений.

— Я говорю сущую правду, граф, мне нечего скрывать, все знают мое положение. Я ни в чем не виноват перед отцом, всегда был послушен, чтил его, как повелевают запо-

веди. Да и отец сначала был ко мне добр, но потом его восстановили против меня новая царица и князь Меншиков, особенно с тех пор как у мачехи родился сын. Ни мачеха, ни Меншиков не знают ни Бога, ни совести... Если же я ослабел, то кто же бы вынес столько гонений и такого пьянства.. Однако ж когда за несколько лет отец поручал мне управление государством во время своего отъезда, все шло тогда хорошо и отец был доволен.

— В этом, ваше высочество, невозможно и сомневаться, но не будете ли добры более подробно изложить обстоятельства ваших горестных отношений с родителем, дабы его величество мог усмотреть, какие именно меры могли бы быть приняты к примирению вас между собою.

— К примирению?! Это невозможно, граф!— с ужасом вскричал царевич в полном отчаянии.— Это невозможно! Вы не знаете моего отца — он жесток, кровожаден, гневен и мстителен, он считает себя Богом, имеющим право на жизнь человека, он много пролил невинной крови, налагал сам руку на несчастных страдальцев... Если император выдаст меня, то... отец не пощадит. Да если б он мне и оказал какую милость, то разве мачеха и Меншиков успокоятся? Они погубят... Они отравят меня...

— Вы, может быть, ваше высочество, в неудовольствии, очень естественном, невольно преувеличиваете влияние мачехи и князя Меншикова и их преступные ковы? Что именно заставило вас так думать о них?

Царевич рассказал вице-канцлеру всю свою жизнь с самой колыбели. В ярких красках, которыми всегда одевается каждый рассказ, выливающийся прямо из сердца, рисовалась эта ломаная жизнь, изуродованная страшными, неестественными отношениями к самым близким лицам. Правда слышалась в каждом надорванном слове, правда сверкала в ручьях крупных слез, катившихся по бледным, исхудалым щекам.

— И все-таки скажу,— заключил царевич,— что отец был бы добр ко мне, если бы его не возбуждали непрерывно против меня мачеха и Меншиков.

Выслушав исповедь царевича, граф Шенборн ясно понял и сам, что примирение между отцом и сыном невозможно, что даже каждая попытка к тому в настоящее время поведет только к новым жертвам.

— Вы видите сами, граф,— заговорил царевич, снова начиная волноваться и тревожиться,— может ли цесарь, мой шурин, выдать меня. Да и чем же я заслужил такую

жестокость? Я знаю, что императору сообщали, будто я дурно поступал с покойной женой, сестрою его супруги. Призываю Бога в свидетели, что это ложь, не я, а отец и царица обходились с нею дурно, они заставляли ее служить, как простую служанку, как девку, отчего ей, не привыкшей по своему воспитанию к такому обращению, было очень больно. Особенно же это дурное обращение усилилось, когда у царицы стали рождаться свои дети. Вспомните, граф, какой крайний недостаток в средствах терпели мы в самом начале нашего супружества, заботились ли о нас даже и тогда?

И граф вспомнил, что действительно еще в то время все удивлялись странной забывчивости московского царя, как при дворе все осуждали его и что он сам, граф Шенборн, не раз докладывал тогда императору о затруднительном положении кронпринцессы Шарлотты.

Царевич долго еще изливался в нескончаемых и бес связанных жалобах на отца, останавливаясь на одних и тех же просьбах не выдавать его, защитить и сейчас же, сию же минуту, представиться императору.

— Обдумайте,— продолжал убеждать его граф вице-канцлер,— всю невозможность аудиенции у императора, который, по всей вероятности, в настоящее позднее время изволит уже почивать. И не только теперь, но и в последующие дни открытой аудиенции, для интересов же вашего высочества, не должно бы быть.

— Но если император не примет меня открыто, если не обещает открыто своего покровительства, то я не могу считать себя в безопасности?— с нервной дрожью повторял царевич.

— Напротив, ваше высочество, если ваше пребывание здесь останется тайной, то вы будете более безопасны. Родитель ваш, не зная, где вы находитесь, не будет в состоянии настаивать на вашей выдаче, а императорский двор будет иметь полную возможность доставлять вам помощь явно или тайно, может делать попытки к примирению, и если они окажутся бессильными, то оберечь вас для других, более благоприятных обстоятельств.

Наконец, после долгих переговоров и споров, царевич убедился в справедливости доводов вице-канцлера, и по общему согласию было решено: царевичу оставаться инкогнито, проживая в гостинице до особого распоряжения цесаря, а графу Шенборну доложить обо всем императору на следующий же день.

Вполне разделяя мнение своего вице-канцлера, император Карл VI на следующий день призвал в тайную конференцию принца Евгения, графа Шенборна и графа Штаренберга для обсуждения странного вопроса по делу русского царевича Алексея Петровича. Решение конференции не могло быть сомнительным при веском влиянии вице-канцлера и ввиду заявления императора господам членам обратить особенное внимание на требование родства, императорского достоинства и христианской любви.

Вечером этого же дня граф Шенборн лично объявил царевичу резолюцию императора на доклад тайной конференции, смысл которой состоял в том, что его императорское величество по великодушию своему, родству и христианской любви готов оказать царевичу покровительство, но с тем непременно условием, чтобы царевич не искал случая свидеться с императором и сохранял бы строжайшее инкогнито. Такая резолюция императора огорчила царевича; не того он ожидал от царственного свояка, к которому ехал с полною уверенностью встретить открытый и добрый прием и с твердою надеждою при щедрой помощи Венского двора провести спокойно тревожное время до возвращения своего в отечество после смерти отца. Правда, ему обещали покровительство, но какое-то странное, секретное, трусливое, не достойное ни покровительствующего, ни покровительствуемого. Мало того, граф Шенборн высказал волю императора: на другой же день ранним утром перевезти царевича из Вены, где по частым наездам русских было невозможно соблюдение строгого инкогнито, в местечко Вейербург, за шесть миль от столицы, впредь до того времени, когда изберется такое надежное убежище, в котором бы его пребывание сохранялось никому не известным. Царевич не протестовал; он только умолял не выдавать его отцу и не отсылать куда-нибудь в Богемию или Венгрию, где язык и религия скоро бы его выдали и где было бы легче его захватить агентам отца.

Прощаясь, вице-канцлер обещал царевичу и денежную помощь, но скудную, неопределенную, далеко не ту, на какую надеялся царевич и на какую намекал в Либаве Александр Васильевич.

Царевича перевезли в Вейербург, но так как и здесь, поблизости столицы, пребывание не казалось безопасным, то вице-канцлер стал придумывать, куда схоронить бы

гостя, не оставив никаких следов. Думал-думал находчивый граф Шенборн и, наконец, додумался до остроумной идеи: сочинить из русского царевича немецкого государственного преступника, засадить его в Эренберг, в гористой местности Верхнего Тироля, куда бы не могли проникнуть московские лазутчики.

Император одобрил остроумную идею вице-канцлера и нашел ее вполне основательной: разве не пропадали беспокойные люди бесследно, до того бесследно, что память о них сохранялась только разве в одном вечно памятливом сердце матери. Вместе с окончательным выбором резиденции для русского царевича император пожелал иметь документальное свидетельство о намерениях царевича, о причинах, побудивших его к бегству, и о положении детей — племянника и племянницы своей жены.

И вот через несколько времени в Вейербург, как будто случайно, приехал один из приближенных и доверенных министров императора с объявлением царевичу о перевозе его в Эренберг и с приглашением изложить обстоятельный ответ на три пункта, сформулированные с немецкою аккуратностью. Кроме этого поручения, министр привез царевичу небольшую денежную помощь и личный подарок императора — кошелек для часов с цепочкой и печатью.

Царевич обрадовался новому распоряжению как положительному доказательству готовности императора принять в нем участие и защитить. Быстро написал он на предложенные пункты ответы, в которых высказывал в порядке все то же, что говорил прежде беспорядочно и непоследовательно. Нового в этих ответах разве было только то, что царевич положительно утверждал насильственность своего отречения и отрицал всякое отношение этого отречения к своим детям, которых он поручал императору и императрице.

Вскоре после отъезда министра, в двадцатых числах ноября, приехал в Вейербург секретарь конференции Кейль с положительным обещанием императорского покровительства и с поручением перевезти царевича в Эренберг. Между тем одновременно с отправкою Кейля в Вейербург было отправлено повеление императора коменданту крепости Эренберг, генералу Росту, в котором подробно указывались меры для строгого содержания государственного преступника*.

* «Мы признали за благо,— писал император в инструкции своей старому воину,— взять под стражу некоторую особу и приняли такие

Из Вейербурга Кейль с царевичем, Афросей, одетой пажом, и слугами выехали 27 ноября и, проехав Кремс, Мелк, Зальцбург и Мюльбах, достигли Эренберга только в восьмой день пути, дорогою постоянно переменяя лошадей, нанимая то крестьянских, то почтовых и точно так же сменяя курьеров; этими непрерывными переменами Кейль рассчитывал до того запутать свои следы, чтобы самому ловкому охотнику не удалось бы открыть конечной цели путешествия.

меры, посредством которых он, без сомнения, чрез несколько дней будет в наших руках. Вместе с тем теперь же в высшей степени необходимо прискаты для содержания такое место, откуда бы она не могла уйти и где она не могла иметь малейших сообщений с кем бы то ни было — самое место ее заключения должно оставаться для всех непроницаемою тайною. Для этой цели мы избрали наш укрепленный замок Эренберг, как потому отчасти, что, охраняемый не слишком многочисленным гарнизоном, он лежит в горах, вне всяких сообщений, так и потому наиболее, что имеем к тебе доверенность и не сомневаемся в таком исполнении твоею нашей воли относительно помещения, содержания и охранения означенной особы и людей ее. Вследствие сего предписываем к самому точному наблюдению, под опасением, в противном случае, потери имени, чести и жизни следующее:

Немедленно по получении сего прикажи с величайшей тайною и тишиною изготовить для главной особы две комнаты с крепкими дверями и с железными в окнах решетками, сверх того, такие же две комнаты, подле или вблизи, для служителей; снабдить комнаты постелями, столами, стульями, скамейками и всем необходимым; все это приготовить тайно, под рукою, заблаговременно. Притом наблюдать: если крепость Эренберг так устроена, что не предвидится возможность к побегу, то не надобно слишком много заботиться о крепких дверях и железных решетках.

Устроить кухню со всем необходимым и прискаты знающего свое дело повара с помощниками (для чего, кажется, удобнее всего можно употребить живущих в крепости солдаток); причем наблюдать, чтобы люди, назначенные для приготовления пищи, во время ареста ни под каким видом не были выпускаемы и все необходимое для кухни доставлять чрез других, особо назначенных людей.

Наблюдать, чтобы главный арестант, также и люди его, были довольны пищею, и какое кушанье им наиболее понравится, готовилось по их вкусу; также смотреть, чтобы белье столовое и постельное было всегда чисто. Для чего на содержание главного арестанта и его служителей мы назначаем от 250 до 300 гульденов в месяц.

Самое бдительное охранение главного арестанта и пресечение всяких с ним сообщений есть главнейшее условие, которое должен ты наблюдать самым тщательным образом, под строжайшею своею ответственностью. Для сего надобно тебе удостовериться в гарнизоне и во всех людях, которые будут при том употреблены, можешь ли положиться на их верность и скромность? Во всяком случае, нынешний гарнизон во все время ареста не должен быть сменяем и как солдатам, так и женам их не позволять выходить из крепости под опасением жестокого наказания, даже смерти. Караульным у ворот запретить с кем бы то ни было говорить об арестантах, внушив им, чтобы на расспросы посторонних лиц они отзы-

Думала ли Афрося, любуясь рыцарскими замками Германии, прилепившимися к скалам, что в одном, самом типичном из подобных орлиных гнезд и ей придется провести несколько месяцев? Местоположение Эренберга поражало диким величием. На высокой островершинной горе возвышались каменные твердыни крепости, из узких, с железными решетками окон которой только и виднелись вверху беспредельное небо да внизу — бока слоистых скал, покрытых скудной растительностью. Мрачно, безжизненно кругом; лишь с одной стороны, у подножия горы, на берегу Лоха, приютилось в густой зелени небольшое местечко Рейште, в котором жил старый комендант крепости.

В стратегическом отношении Эренберг в ущельях скал не имел решительно никакого значения, но в качестве государственной тюрьмы он действительно оказывал неоцененную услугу. Заключенные в нем не только теряли всякую надежду на свободу, но и должны были невольно сознавать полную невозможность обнаружить чем-либо Божьему свету свое существование, хотя для охранения крепости обыкновенно находился в ней весьма незначительный гарнизон. Во время пребывания в Эренберге царевича весь гарнизон состоял не более как из одного офицера и двадцати рядовых.

Кроме инструкции императора, генерал Рост получил еще от секретаря Кейля устные инструкции, как обращаться

вались совершенным неведением. В случае болезни главного арестанта или его людей призывать, смотря по надобности, медика или хирурга, но точно так же, с такою же предосторожностью; врач должен видеться с больным в присутствии доверенного лица и с обязанностью не говорить о том никому ни слова.

Для наблюдения за точным выполнением всего вышензложенного ты должен ежедневно все в замке внимательно осматривать и малейшее упущение исправлять.

Если главный арестант пожелает говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание как в сем случае, так и в других: если, например он потребует книг или чего-либо к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или какой-нибудь игре. Можешь, сверх того, позволять ему прогуливаться в комнатах или во дворе крепости, для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел.

Можешь позволить ему и письма писать, но с непременною условием отправления их через твои руки; ты же посылай эти письма нераспечатанными немедленно к принцу Евгению, которому доноси время от времени о всем случающемся в крепости.

В заключение повторяем строжайше, чтобы содержание сказанного арестанта оставалось для всех непроницаемою тайною; почему ты не должен доносить о том ни курфюрсту пфальцскому, ни военному управлению».

ся с новым странным арестантом, не обвинявшимся ни в каком преступлении. Долго старого ветерана сбивали противоречивые требования: уважения к арестанту и суровости необыкновенно строгого заключения; долго путался он, ворчал и энергично ругался, до тех пор ругался, пока случай не открыл ему истины. Брат Афросиньи, Иван Федоров, и прочие слуги царевича, не отличаясь строгою воздержанностью и скромностью, в пьяных ссорах между собою скоро проговорились в присутствии своих тюремных сторожей, кто они и кто их господин. Сторожа донесли коменданту о странных речах разгульной прислуги, и — тогда старик понял все...

— Пьяные брешут с ветру, слушать их нечего, и болтать об этом не смей! — сурово крикнул ветеран, но с того времени он стал еще внимательнее относиться к главному арестанту.

Царевича поместили в двух комнатах, довольно обширных и отремонтированных по возможности прилично, в той стороне крепостной стены, куда по отвесности скалы не представлялось никакой возможности проникнуть извне. Алексей Петрович остался доволен новым помещением. Чем суровее, безлюднее глядела окружающая местность, тем она казалась ему более надежным убежищем от зорких отцовских агентов. В первое время пребывания в Эренберге царевич не пользовался даже и тою небольшою долею свободы, которая была ему предоставлена; он перечитывал свои любимые сказания о подвигах святых угодников, книги, полученные из скудной библиотеки коменданта, а главное — любовался ненаглядной Афросей.

Мечтательный и впечатлительный по природе, Алексей Петрович всегда тяготился внешнею деятельностью. Часто бывало и прежде в шумной отцовской компании, когда возбужденные винными парами умы метали искры, он уходил в себя, в свой собственный, никому недоступный мирок, не отвечая или отвечая невпопад на вопросы. И не раз казался он веселым практическим людям каким-то странным, растерянным, каким-то полоумным вроде юродивого. Теперь же, отрезанный от всего света, царевич жил в своей сфере; никаких страстных желаний у него не было, он спокойно, без грусти и без боли смотрел на чужое небо и серые скалы. До известной степени он был счастлив; но была ли счастлива Афрося?

Через несколько месяцев царевич получил письмо от графа Шенборна, в котором тот, обращаясь к нему под ти-

тулом графа и упоминая о царевиче в третьем лице, сообщил о донесениях, полученных Венским двором от своего петербургского резидента Плейера.

«Ныне надобно еще терпение,— писал граф Шенборн,— и более, нежели до сих пор. Сообщаю господину графу как новую ведомость, что ныне в свете начинают говорить: царевич пропал. По словам одних — он ушел от свирепости отца своего, по мнению других — лишен жизни его волею; иные думают, что он умерщвлен на дороге убийцами. Никто не знает подлинно, где он теперь. Прилагаю для любопытства, что пишут о том из Петербурга. Милому царевичу к пользе советуется: держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя, его отца, из Амстердама будет великий розыск. Если я что более узнаю, то уведомя. Доброму приятелю, для которого господин граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь это невозможно, но при первом же случае я берусь охотно исполнить его желание».

В секретном же донесении Плейера к цесарю (17 января 1717 года) сообщалось о побеге русского царевича, о том впечатлении, какое произвел этот побег, о различных толках по этому поводу и, наконец, в заключение о заговоре, составленном против отца. Говорилось, что будто гвардейские полки, организованные по большей части из дворян, уговорились с прочими войсками в Мекленбургии убить государя; его жену, царицу Катерину Алексеевну, с детьми привезти в Россию и заключить в тот самый монастырь, где теперь находится бывшая царица. Авдотью Федоровну освободить и правление вручить царевичу. «Здесь все готово к бунту,— заключал Плейер,— знатные и незнатные ни о чем более не говорят, как о презрении к ним и их детям, которым всем предстоит судьба быть матросами, о разорении их имений налогами и выводом людей на крепостные работы».

У царевича захватило дыхание и сердце болезненно сжалось, когда он читал эти строки; острые боли прошедших страданий как будто стерлись; строгий облик отца ему теперь не показался прежним, суровым и беспощадным, память напомнила ему о немногих, правда, но все-таки выпадавших добрых и светлых моментах; пылкое воображение живо нарисовало ужасную картину убийства отца, этого гордого гиганта, утопавшего в собственной крови, изрезанного ножами...

Но это были первые минуты нервного впечатления,

сменившегося потом другим, совершенно противоположным. Никто не повинен, как сам,— стал более хладнокровно обсуждать царевич,— возмечтал о себе паче Бога, и Всевышний сокрушил гордыню. А затем вслед за объяснением появилось и чувство довольства, какой-то тайной бессознательной радости, предвкушения собственного счастья.





Часть вторая

ПОБЕГ И СМЕРТЬ

I

Побег сына-наследника не давал покоя отцу. Прошло три месяца со времени первых распоряжений о розыске, а положительных следов, куда убежал и где скрывается царица, не открылось. Напрасно надежные офицеры генерала Вейде рыскали по всей Германии, а в особенности по дороге в Вену: они ничего не умели или не хотели открыть. Правда, получали сведения: то о проезде какого-то русского или польского купца с дочерью и двумя сыновьями, то о проезде какого-то офицера; но эти известия только сбивали и путали перекрещивающимися направлениями. Более счастливыми оказались поиски вызванного государем из Вены русского резидента Веселовского, открывшего маршрут беглеца по спискам воротных столбов; но и эти поиски совершенно затерялись в самой Вене, куда довели следы. Если по дороге Веселовского в цесарскую столицу донесения были такие обстоятельные, то в Вене они сделались неудовлетворительными, темными и загадочными.

Государь, глубоко убежденный в пребывании сына в Вене, не устал бомбардировать резидента чуть не каждый день новыми наказами; но недаром же Абрам Веселовский слыл за человека дальновидного и осторожного.

Резидент отлично знал, как широко разрослось число недовольных в России новыми порядками, как ненадежно становилось здоровье царя, сколько готовилось против него козней, издали казавшихся еще более опасными, понимал, что в случае смерти государя преемником станет этот же самый царевич, которого он должен преследовать; и, понимая все это, он, как истинный дипломат, повел искусную игру, выигрывая время, умалчивая и недосказываясь. То он делается больным, страдающим сильными припадками геморроя, то сообщает фальшивые сведения о приезде царевича в Рим, то положительно отрицает пребывание царевича в Вене и медлит представлением императору Карлу VI собственноручного письма государя. Но трудно было разуверить государя в том, в чем убедился его пронизательный ум.

Из Амстердама, Роттервика и из всех мест, где работал неугомонный царь, все чаще и чаще летели в Вену наказания, все настойчивее и грознее. Наконец осторожный резидент получил, из-под руки, верное сведение о том, что недовольный его действиями государь посылает к нему в Вену с тайным поручением разыскивать убежавшего сына и во что бы то ни стало его захватить самого надежного своего денщика, адъютанта, капитана гвардии Александра Румянцева с несколькими офицерами. Капитана Румянцева резидент знал хорошо, и знал, что его ему не провести. Долее выжидать становилось опасно, и в донесениях Веселовского снова являются определенные указания.

«Слышал я случайно секретный разговор принца Евгения с одним из доверенных министров императора, из которого можно предположить, что ваш царевич находится в Верхнем Тироле», — будто бы шепнул резиденту в первых числах марта приятель его, докладчик тайной конференции Долберг, под великою тайною. Донося об этом известии государю, резидент сообщил и совет референта обратиться прямо к принцу Евгению и, в случае удовлетворительного ответа, немедленно ехать в Тироль. В сущности, это известие резидент имел три месяца назад от того же Долберга, но тогда он не считал нужным доносить о нем царю — не мог же государь притянуть к розыску Долберга! Да не сообщил бы, может быть, и теперь, если бы не посылка пронырливого капитана.

По прибытии Румянцева в Вену Веселовский волей-неволей должен был действовать решительно. На другой же день после свидания своего с присланным агентом Весе-

ловский донес государю, что действительно, по добытым сведениям, царевич под именем полковника Кохановского некоторое время проживал в Вене в частных домах, но к царю не являлся, проживал секретно и что об этом он, резидент, узнал только по отъезде царевича в Эренберг, дней десять тому назад, хотя в действительности почтенному резиденту об отъезде Алексея Петровича в Эренберг было известно тоже не менее трех месяцев. Вместе с этим известием Абрам Веселовский уведомлял и о том, что по взаимному соглашению с Румянцевым они условились действовать следующим образом: Веселовскому добиваться свидания с принцем Евгением, а капитану после этого свидания ехать в Тиролю — лично высмотреть: не выходит ли царевич из крепости и если выходит немногочисленно, то, известив о том резидента, захватить, а если же многочисленно, то хлопотать о выдаче путем дипломатическим.

Немало труда стоило Веселовскому добиться свидания с принцем Евгением, видимо уклонявшимся от всяких объяснений; только через неделю, после самых неотступных и настойчивых требований, состоялась аудиенция.

— Несомнительно теперь стало известно, что именуемый себя кавалером Кохановским находится в Тироле под царскою протекциею, и моему все милостивейшему государю известия о том не дано; не должен ли после сего российский государь такой поступок признать неприязнию к себе? — упрекал резидент на аудиенции принца Евгения.

— Ни о каком кавалере Кохановском я ничего не слышал и ничего о том не знаю, — решительно отперся принц.

Тогда резидент подробно объяснил, кто такой Кохановский, когда он приехал в Вену, где жил, когда и куда отправлен под видом государственного арестанта.

Ввиду таких подробных сведений принц Евгений не нашел возможным опровергать резидента и только уклончиво высказал:

— Если действительно все эти известия справедливы и император дозволил Кохановскому иметь убежище в своих владениях, то в этом дозволении нельзя еще видеть протекции, а лишь заботливость о безопасности. Цесарь по великодушью и справедливости своей никогда не захочет возбуждать сына против отца и усиливать взаимное раздражение; напротив, его величество, вероятно, имеет в виду их примирение. Впрочем, — добавил принц, оканчивая аудиенцию, — я спрошу императора и уведомлю о том дня через два.

Однако ж не через два, а через десять дней резидента пригласили к принцу Евгению. На этой аудиенции принц отрывисто, как будто не допуская никаких возражений, проговорил, что на доклад его император изволил отозваться совершенным неведением никакого Кохановского, следовательно, полнейшим отречением протекции, а вместе и неведением: проживает ли или нет где-нибудь в его землях Кохановский.

Донося об этом свидании русскому царю, Веселовский добавил: «Из сего ответа можно ясно видеть, что пребывание Кохановского здесь желают сохранять тайно».

После этих бесполезных аудиенций капитан Румянцев под видом шведского офицера Лобцикова отправился в Тироль на тайный розыск. Приехав в местечко Рейтте, за 78 миль от Вены, где жил комендант Эренберга генерал Рост, Румянцев, как усталый путешественник, остановился отдохнуть на несколько дней, в продолжение которых постарался ближе сойтись с домашнею прислугою генерала, очень естественно прикинувшись добрым малым недалекого соображения. Ловкий капитан сумел сдружиться с любимым камердинером генерала, милым человеком Вальдом и в дружеской беседе за кружкой пива, между рассказами из жизни суровой Лапландии, сумел незаметно выведать, что почти четыре месяца назад в Эренберг привезли какого-то странного и важного арестанта под самый строгий надзор, с крепким запрещением никуда ему не выходить и никого к нему не допускать. «До этого арестанта каждый день бывало,— болтал милый человек,— или кто-нибудь из крепости забежит к нам в Рейтте, или отсюда кто побывает в замке, а вот теперь, как приехал этот арестант, никто из крепости сюда морды не кажет и отсюда пробраться туда ни-ни...»

— А как вы полагаете, достопочтенный господин Вальд, кто такой этот арестант и за что его посадили?— интересовался шведский капитан Лобциков.

— Никто этого не знает, кроме моего господина, даже и я сам,— важно и понизив голос, проговорил достопочтенный Вальд,— а полагаю, какой польский либо венгерский князь.

— Почему же вы это так полагаете?— любопытствовал Лобциков.

— Почему... почему... По всему видно, что персона высокая.

— Почему же видно-то, почтенный Вальд? Свита, что ль, при особе большая?

— Как большая? Всего-то четыре человека, да и то пьяница на пьянице.

— Известно, у больших особ и слугам жить вольготно... А что, я думаю, сам-то граф или князь венгерский — персона величавая на вид, грозная?— спросил с невозможным добродушием швед.

— Вот и не угадал, брат,— снисходительно и насмешливо поучал камердинер,— никакой величавости в ней нет, такая же, как и мы с тобой... да если бы нас с тобою одеть как следует, так мы важней глядели бы.

— Что вы, что вы, милый человек и почтенный Вальд, эго хватили равняться с кем — с князем или графом! Хоть бы одним глазком взглянуть на такую персону!

— Ну, этого, дружище, никак нельзя: хоронят его от всякого глаза накрепко.

— Как не хоронить! Может, у него на уме замыслы какие противные; союзники, родня тоже есть немалая, себя нужно обеспечить... только я ведь ему не товарищ, компании мне с ним не водить... мне бы только взглянуть..

— Говорю тебе — нельзя, настрого запрещено.

— Запрещено! Запрещено для важных лиц, а не для нашего брата. Постарайся-ка, милый человек, показать мне хоть издали... Сам тебе удружу, выпьем здесь пивца, для жены твоей у меня подарочек славный... Больно разбирает меня любопытство, каковы это венгерские графы

— Ладно, ладно... так и быть, устрой,— сдался, наконец, милый человек,— утром придет сюда кум мой, что поваром у графа, за провизией. Одному ему не снести, так ты оденься простым работником да и снеси с ним в крепость. Там можешь увидеть и графа, ноне он выходит из комнат. Только, брат, смотри, никаких подвохов! Взгляни издали да и домой!

— Да что мне там делать-то? Лишь бы только взглянуть, а больше ничего,— успокаивал швед,— а вечером, милый человек, приходи сюда.

На другой день, ранним утром, Румянцев в платье носильщика провизии пробрался за поваром в крепость Эренберг. В кухне он увидел двух слуг венгерского графа, всмотревшись в которых он признал Якова Носова и Петра Меера, уехавших вместе с царевичем. Мало того, на этот раз счастье особенно помогало находчивому капитану: выходя из кухни, возвращаясь к крепостным воротам, он уви-

дел и самого царевича, на минуту вышедшего на крыльцо отдать какое-то приказание. Убедившись в главном, капитан внимательно осмотрел всю местность, толстые стены, ворота, запоры, окна и с горем решил, что тут ни хитростью, ни силою ничего не поделаешь. Так с этой неутешительной мыслью он и воротился в Вену, пробыв в поездке дней восемь.

Между тем положение резидента Веселовского день ото дня становилось затруднительнее. Конечно, в его действиях не было прямых доказательств потворства в укрытельстве царевича, но по грозным письмам царя можно было видеть возникшее и разраставшееся подозрение, а резидент понимал, как опасно подозрение Петра. Царь привык выполнять свою волю, не мог понять колебаний и затруднений, для него все казалось возможным, и он не допускал невозможности пятерым искусным, ловким и решительным офицерам исполнить такого пустого дела, как украсть человека!

Надобно было действовать, и притом действовать решительно, но как? Из-за совершенной недоступности Эренберга оставался только один путь дипломатических переговоров, и Веселовский на другой же день по возвращении Румянцева явился на частную аудиенцию к императору, в которой представил Карлу VI собственноручное письмо Петра, написанное им еще в декабре, при отправлении Веселовского из Амстердама.

— Моему всемилостивейшему государю зело чувственно слышать от министров вашего cesарского величества, — настойчиво докладывал резидент, когда император кончил чтение письма, — будто известной персоны в австрийских землях не имеется, тогда как курьер моего государя видел персонально самую ту персону и людей ее, живущих на императорском коште. А посему благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, по известному всему свету праводушию, всемилостивейше исполнить требование моего российского государя?

— Мне всегда радостно служить его царскому величеству, — уклончиво проговорил Карл VI, — но о пребывании известной персоны в моих землях мне не донесено, и если узнаю о том, что подлинно, то немедленно извещу царя.

Резидент начал было распространяться в уверениях справедливости полученных им сведений, но император, не желавший входить в подробные объяснения, отвернулся и

кончил аудиенцию, повторив снова, что ему необходимо основываться на официальных донесениях.

Действия венского кабинета нисколько не удивляли Веселовского, которому давно уже конферент Долберг шепнул о намерениях императора, — не ссорясь явно с московским царем, тайно укрывать царевича, но это намерение, а вследствие того и уклончивость, ставили его в слишком ответственное положение перед царем, не хотевшим знать никаких препятствий. И вот снова резидент совещается с Румянцевым, снова перебирают разные планы и, наконец, останавливаются на самом отчаянном: хитростью выманить царевича из замка и схватить его. При всей видимой трудности план этот еще мог быть выполнен несколькими решительными людьми, не жалевшими ни себя, ни денежных средств; но возник новый вопрос: оставят ли царевича в Эренберге после того, как его пребывание там открыто? Не перевезут ли куда? Если же перевезут, то отыскать новое место заключения будет уже гораздо труднее. Для предупреждения этого на общем совещании решили: капитану ехать опять в Эренберг, где, не спуская глаз днем и ночью, зорко следить за всем, что делалось в замке, и в случае если бы стали увозить царевича, то следить за ним издали, не отставая, до нового места назначения. Опасения оказались совершенно справедливыми. Вслед за аудиенциею Долберг передал Веселовскому, что в Тироль отправлен с великою тайною камер-курьер неизвестно с каким поручением. Может быть, Долберг сообщил сведения и более обстоятельные, но осторожный резидент не нашел удобным выкладывать все наружу.

Капитан Румянцев, на этот раз под именем Голицкого, немедленно отправился на свой обсервационный пост к Эренбергу, а резидент снова приступил с настоятельными требованиями к принцу Евгению, вице-канцлеру, герцогине Луизе и даже к самому императору; но все его попытки не вызвали никакого удовлетворительного ответа. Принц Евгений передавал все одно и то же: что он докладывает царю, что император улыбается настойчивым требованиям резидента, обещает отвечать тоже персонально на собственноручное письмо государя и ждет известий о царевиче. Сам император не допустил к себе резидента; на требование того приватной аудиенции отвечал решительным отказом, и наконец, герцогиня Луиза, мать цесаревнина, которую точно так же немало тревожил Веселовский, поговорив с сыном, отозвалась тоже неимением никаких сведений

о царевиче. Что же касается до вице-канцлера графа Шенборна, то он не постыдился с самым невиннейшим просто-сердечием отрешившись от всякого участия в этом деле, клятвенно уверяя в совершенном неведении, где царевич, и сваливая все на императора.

— Бог мне свидетель, — клялся граф Шенборн на упреки резидента, — не знал я и теперь не знаю наверное, здесь ли русский царевич. Если же и прежде уверял, то по словам цесаря, да и теперь сомневаюсь, как же император до сих пор не упоминает ни слова о таком важном деле?

Немало толкался по прихожим и антикамерам русский резидент, домогаясь выдачи царевича отцу; немало вытерпел он неудовольствий и мелких оскорблений, а дело все-таки не подвинулось вперед. Немало также вынес неудовольствий и предприимчивый капитан Румянцев. Явившись снова в местечке Рейтте под фамилией Голицкого, капитан этою переменою имени возбудил подозрение барона Роста. Напрасно отговаривался Александр Иванович тем, что прежний пас, как тогда называли паспорта, был неправильно обозначен именем Лобчикова по прежней его шведской службе, комендант не верил, отобрал пас и арестовал на несколько дней. К счастью, помогло старое знакомство. Милый человек Вальд не оказался неблагодарным за прежние подарки и кружки пива. Он по-прежнему навещал капитана, приводил разных знакомых и болтал о новостях. От него-то капитан узнал, что из Вены приехал какой-то важный курьер с поручением все по поводу того же таинственного польского или венгерского князя-арестанта; потом, дня через два, тот же милый человек сообщил, что приехавший важный господин увез с собою таинственного арестанта, куда — подлинно не известно, только поехали через Инспрук на Мантую, по Итальянской дороге. Вскоре, на другой же день, генерал Рост освободил из-под ареста Румянцева с строгим приказом тотчас же выехать на Фезен. Этот приказ вполне подтверждал известие о выезде царевича на Инспрук.

Времени терять было нельзя. Так как по инструкции царя и наказу Веселовского Румянцев должен был следить за царевичем, не выпуская его из виду, а между тем выезд арестанта опередил двумя днями, то, наскоро известив царя и Веселовского, он тотчас же выехал по Баварской дороге на Фезен, а затем, проехав Фезен, он взял лошадей прямо на Мантую, минуя Инспрук, рассчитывая тем выиграть время. И действительно, в Мантую он прибыл в то

время, когда беглецы выезжали оттуда в Рим. С этого времени он уже не терял следов по всей Италии, вплоть до Неаполя, где остановился царевич.

II

Секретарь тайной конференции Кейль — тип немецкой чиновничьей культуры по идеальной пунктуальности, точности и щепетильной исполнительности в круге своих обязанностей, по полному неведению и даже нежеланию ведать ничего, выходящего из этого круга. Секретарь Кейль, всегда исполнявший все поручения свято и безукоризненно, не придававший себе никакой цены как человеку, считался одним из доверенных и необходимых лиц конференции как живой сборник всех рапортов, донесений, отношений, мемуаров и тайных записок, всех прецедентов многообразных всевозможных случайностей, и притом такой сборник, из которого никогда не издавалось никакого нескромного звука.

Ввиду таких-то драгоценных качеств почтенного секретаря и ввиду энергических требований Петра, часто увлекавшегося необузданной запальчивостью, Кейль и был выбран в исполнители всех распоряжений по делу русского царевича Алексея Петровича. Посылая его для тайной перевозки царевича, император и вице-канцлер были вполне убеждены, что теперь не останется никаких следов, за которые можно было бы ухватиться московскому царю.

И действительно, Кейль исполнил свое поручение отчетливо, пунктуально, не мудрствуя лукаво и с безмолвием автомата; по всей вероятности, его поручение так и покрылось бы непроницаемою тайною, если бы судьба не поставила на его дороге сметливого, на всякие руки наметанного русского капитана. Приехав в Эренберг по объездной дороге под видом простого армейского офицера, Кейль немедленно, заявив только о своем прибытии генералу Росту, отправился в комнаты русского царевича. Время было послеобеденное, и Алексей Петрович умывался после полуденного отдыха с помощью своего молоденького шаловливого паж, почти никогда не отходившего от своего господина. Еще довольно далеко от двери ясно слышались веселый говор, смех, плеск воды, взвизги и возня, глухой неровный голос царевича и другие серебристые звонкие тоны, показавшиеся странными даже невнимательному, всегда занятому собою и своим поручением Кейлю.

При неожиданном входе Кейля царевич остолбенел с широко раскрытыми испуганными глазами и вверх протянутою рукою, из которой висело туго скрученное полотенце, а паж с раскрасневшимися щечками, с растрепанными роскошными волосами и расстегнутом платье быстро отвернулся и юркнул в другую комнату. Как ни было быстро это движение, но Кейль ясно успел заметить что-то странное, отчего сам невозмутимый секретарь как будто покраснел, даже на минуту растерялся и вместо заранее подготовленного по всем правилам объяснения молча подал письмо русского царя к императору в оригинале, относительно выдачи ему бежавшего сына и в копии — депешу графа Шенборна к австрийскому посланнику в Лондоне графу Волькра, составленную по этому поводу.

Долго царевич не мог прочитать отцовского письма; руки дрожали, а глаза, тупо смотревшие на исписанную бумагу, никак не могли уловить очертания строк, которые словно вертелись, сливались и перебивались; царевич видел крупные, угловатые буквы слишком знакомого твердого почерка, но не мог прочитать, какие именно это были слова. Потом по некоторым отдельным выражениям или, вернее сказать, скорее инстинктивно он понял, что этим грозным посланием отец настойчиво требует его выдачи. Царевич побледнел, кровь широкою волною прилила к сердцу, тревожно забившемуся, сознание таялось.

Методично, не возвышая и не понижая голоса, Кейль передал Алексею Петровичу поручение императора в тех же словах и в том же почти тоне; царевич выслушал, казалось, с глубоким вниманием, но ничего не понял, он слушал только одни монотонные звуки, не сознавая их значения. В голове вбилась гвоздем одна мысль, охватившая вдруг все его существо, мысль о требовании отца, страх опять жить с ним, терпеть, выносить и мучиться — мучиться бесконечно, до самой смерти. Затем скоро, без всякого перехода, нервное потрясение разразилось истерическим припадком. Он зарыдал, из глаз полились крупные слезы, бессвязные речи или скорее звуки, надорванные, скорбные, захватывающие сердце, стали вырываться отрывисто; с какими-то дикими движениями, как испуганный, он забегал по комнате, размахивая руками, как будто отгоняя от себя страшного, невидимого врага. Наконец в полном изнеможении сил он упал на колени и, подняв с отчаянием руки к небу, прошептал: «Умоляю императора именем Бо-

га и всех святых спасти мне жизнь и не покидать меня, несчастного. Я погибну! Я готов ехать, куда прикажет цесарь, жить так, как он велит, только бы не выдавал меня ужасному отцу!»

Когда пароксизм ослабел и царевич мог понимать, Кейль тем же бесстрастным голосом стал успокаивать:

— Ваше высочество должны на этот счет совершенно успокоиться, его величество, отправляя меня, приказывал именно уверить вас в своем неизменном покровительстве, но вместе с тем император находит необходимым перевезти ваше высочество в более отдаленное место, Неаполь например, так как настоящее ваше пребывание здесь открыто.

— Только это-то,— с радостью заговорил царевич,— да я готов ехать куда угодно, желаю даже сейчас, сию минуту, прикажу моим людям...

— Напротив, император желает, чтобы ваше высочество отправились без ваших людей, которые, по всей вероятности, по нескромности своей и дурному поведению виновны в открытии вас здесь московскими агентами.

— Всех оставлю здесь, всех, но...— вдруг царевич побледнел,— с одним из них я не могу расстаться... не могу оставить... выше сил моих... он мой истинный друг, искренний, преданный, на которого я могу во всем положиться... мой любимый паж, которого вы видели сейчас здесь. За скромность его я ручаюсь... притом же он никогда не отходит от меня...

— Его, ваше высочество, полагаю, можете взять с собою, хотя я и не получил на этот счет никаких инструкций...

— Так едемте же, мой милейший Кейль, едемте скорее, каждая минута дорога,— заторопился царевич,— агенты моего отца люди пронырливые, решительные...

— Может быть, ваше высочество; но во владениях моего все милостивейшего императора их решительность совершенно бесполезна,— с немецкой кичливостью заметил Кейль;— ехать же сию минуту мы никак не можем, лошади не приведены, но я просил бы вас ночью, часам к трем, быть готовыми и одетыми в форму австрийского армейского офицера, а паж ваш может быть одетым в обыкновенное свое платье... то есть... в платье пажа,— добавил Кейль подумав.

«Станный, необыкновенный случай, не предвиденный инструкцией,— думал Кейль, выходя из комнат царевича,— этот паж... совсем не паж, а любовница... я ясно ви-

дел... о, меня нельзя провести... Однако ж я поставлен в очень неприятное положение... Государь приказывал людей не брать, а между тем этот паж... но ведь он не паж... следовательно, к нему или к ней запрещение распространяться не может. Притом же царевич прямо отказался ехать без этого паж, а император наказывал ехать немедленно... следовательно, и просить разрешения тоже значило бы нарушать инструкцию. Скверное положение! По приезде в Мантую тотчас же обо всем донесу его высокопревосходительству господину вице-канцлеру».

Ночью, ровно в три часа, когда на востоке только что начинали прорезываться первые проблески света и выделяться из мрака на вершине горы белые стены и башни Эренберга, из тихо растворившейся низенькой двери крепостных ворот вышли два офицера, паж и солдат с небольшим узлом поклажи на спине. Осторожно спустившись с горы, они вошли в местечко Рейтте, где, не входя в дом коменданта, офицеры и паж молча уселись в ожидавший их на улице экипаж; солдат воротился в крепость. Это были секретарь Кейль, царевич и паж, или Афрося. Для большей осторожности и сокрытия следов Кейль купил для первых перездов от Эренберга лошадей и экипаж, а кучером посадил своего надежного камердинера. При таких предосторожностях, рекомендованных венским кабинетом, казалось, не было возможности открыть какие-либо следы; но Венский двор не мог предвидеть и не мог измерить, до какой степени ловкости наметались слуги энергичного московского царя. Сам осторожный Кейль, выезжая из Рейтте, не заметил, как из одного окошка крайнего домика следили за ним два больших смысленых глаза.

Кейль и его спутники, благополучно проехав Инспрук и Триест, прибыли в Мантую. Считая свои следы достаточно заметными, Кейль нашел возможным остановиться здесь для отдыха царевича и для составления подробного донесения его высокопревосходительству господину вице-канцлеру с просьбою разрешить недоумение, благоразумно ли он поступил, ввиду непредвиденных обстоятельств, разрешив пажу провожать царевича. В донесении своем Кейль между прочим сообщил и о том, что до самого Триеста на дороге встречались подозрительные люди. Бедный, всегда соображающий Кейль, готовый видеть от избытка усердия в каждом попадавшемся прохожем подозрительного человека и шпиона, постоянно смотрел вперед и оглядывался по сторонам, тогда как действительно опасный

человек не попадался ему на глаза, а незаметно, шаг за шагом ехал за ними, начиная от Мантуи.

Через неделю, в полночь 8 мая, царевич и Кейль въехали в неаполитанскую гостиницу «Трех Королей».

— Не будет ли поручений от вашего высочества все-милостивейшему цесарю и не благоугодно ли будет вам написать каких-либо отповедей о вашем благополучии преданным вам особам в России, которые иначе, не имея о вас известий, могут считать вас погибшими. Его сиятельство господин вице-канцлер с своей стороны находит это в наших же интересах особенно полезным,— говорил секретарь Кейль, прощаясь с царевичем перед отъездом своим из Неаполя в Вену.

— Передайте благодетелю моему цесарю мою все-нижайшую благодарность за оказанную протекцию, а насчет отповедей, то, бывши еще в Эренберге, я написал несколько писем, которые желал бы переслать в отечество, если на оное последует соизволение его величества императора.

И царевич передал Кейлю небольшой сверток бумаг с письмами к сенаторам и архиереям.

В этих письмах говорилось:

«Превосходительнейшие господа сенаторы! Как вашей милости, так, чаю, и всему народу не без сумнения мое от Российских краев отлучение и пребывание по сие время безызвестное, на что меня принудило от любезнейшего отечества отлучиться не что иное, как только (вам уже известное) всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же, это в начале прошлого года едва было и в черную одежду не облекли меня нуждою без всякой моей вины. Но всемилостивейший Господь молитвами всех оскорбляемых Утешительницы пресвятыя Богородицы и всех святых, избавил мя от сего и дал мне случай охранить себя отлучением от любезного отечества (которого аще бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить) и ныне обретаюся благополучно и здорово под хранением некоторые высокие особы до времени, когда сохранивый мя Господь повелит возвратиться в отечество паки, при котором случае прошу не оставить меня забвенна; а я всегда есмь доброжелательный как вашей милости, так и всему отечеству до гроба моего.

Р. С. Будет есть ведомости обо мне (хотя память обо мне у людей загладит), что меня в живых нет или иное что зло, не извольте верить: Богу хранящу и благодетелем

моим, жив есмь и в благополучии обретаюся; того ради и сие писание посылаю, дабы отразить противное мнение обо мне».

Подобного же содержания было и письмо царевича к архиереям.

— Будьте уверены, ваше высочество, в исправнейшем доставлении сих известий к господину вице-канцлеру и от него к нашему резиденту в Петербург*, но я полагал бы необходимо знать имена господ сенаторов и архиереев, а также каким манером оные известия должны быть доставлены,— заметил Кейль, выслушав содержание и принимая свертки.

— О, этого никак нельзя! Означать подлинные адреса и имена крайне опасно в ту меру, если какое известие попадет в руки государя, тогда тому сенатору или архиерею не будет пощады... Наилучше было бы, по моему суждению, рассылать известия по тайности, подкидывать неведомо от кого и неведомо к кому.

III

Получив донесение Кейля, вице-канцлер, а за ним император и все посвященные в дело царевича Алексея Петровича члены тайной конференции совершенно успокоились. Теперь не оставалось никаких доказательств в укрывательстве царевича, теперь можно показать лазутчикам царским весь Эренбергский замок для самого тщательного обыска: ничего нельзя было найти, никаких следов, а если кто и признавал в арестанте московского беглеца, то разве нельзя было ошибиться сходством? В Неаполе же, притом в надежном, тайном местечке, никому не придет в голову искать, да если бы как-нибудь и открылось, то в этом основательная отговорка — император не может вполне ручаться за Неаполь как за свои исконные владения: Неаполитанская область десять лет тому назад, во время войны за испанское наследство, завоеванная императорскими войсками и только по Утрехтскому договору перешедшая к австрийским владениям, все еще сохраняла некоторый вид самостоятельности и управлялась особым вице-королем.

Именно такую полную уверенностью видимой правоты

* Письма эти не были отосланы в Петербург, но до сих пор хранятся в Венском государственном архиве. (Прим. авт.)

и вместе с тем какою-то ядовитой насмешливостью дышит каждая строка ответного письма императора к русскому государю после перевоза царевича в Неаполь и по истечении с лишком месяца от представления Веселовским письма Петра.

«Пресветлейший, державнейший князь, особливо любезный приятель! Мне вашей любви,— писал император Карл VI царю,— приятнейшее письмо от 20 декабря прошедшего года от резидента при моем дворе Веселовского, недавно, в прошедших днях благовручено. Вы в том не погрешаете, когда вы подлинно уверены, что я во всех случаях вам и вашему царскому дому совершенно предан и весьма верно сердечно склонен, и тако, сколько токмо от меня зависит, со всяким попечением мыслить буду, дабы ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятельские руки, но склонен был и с детским нисхождением наставлен был вашей любви отеческую милость содержать и к у п н о по правам, его породе пристойным, путь и вашим непрестанным стезям и благо всегда поступать, якоже во всяких случаях непрестанно показывать не оставляю, что в постоянном почитании я к вам дружеско братскою любовью и всем добром постоянно благосклонен пребываю».

Письмо это государь получил в Париже, где он жил с весны* и куда заставили его приехать переговоры о посредничестве французского кабинета для прекращения Северной войны, начавшиеся переговоры о заключении торгового договора, но еще более по особому тайному предположению. В конце прошедшего года русский агент в Париже Конон Зотов сообщал Петру о желании Французского двора породниться с русским — женитьбою царевича Алексея Петровича на принцессе, дочери герцога Орлеанского. Тогда государю не особенно понравилось это предложение как обеспечивавшее права нелюбимого сына, но по этому поводу у него возникла другая тайная мысль. почему бы не выдать свою Лизу за малолетнего французского короля Людовика XV, которому в то время было не более семи лет. Эту мысль он тогда никому не высказал, но она сквозит в письме его к Катеринушке: «Дитя зело изрядное образом и станом и по возрасту своему довольно разумен».

* Петр Великий въехал в Париж 7 мая 1717 года в пятницу, около 9 часов вечера, в сопровождении выехавших к нему навстречу маркиза де Моньи и маршала Тессе (Прим. авт.)

В Париже приняли русского царя с почестью и окружили роскошью; но роскошь не по душе была суровому труженику, и он из комнат королевы в Лувре переселился на частную квартиру в отель графа де-Ледигьер, где, отказавшись от роскошной, изнеживающей постели, приспособил свою походную кровать, привезенную им в почтовом фургоне. В великолепной столице всего тогдашнего цивилизованного мира многое вызывало ненасытную радость русского государя. Не теряя времени, он, с записною книжкою и карандашом в руках, все осматривал, во все вникал, запросто заходил в лавки, к ремесленникам; обо всем расспрашивал; с удивительною проницательностью и верно-стью взгляда, поражавшими парижан, проникал в сущность каждого дела с полуслова, не требуя подробных объяснений. Как человек глубоко практический, царь обходил мимо предметы роскоши, не имевшие делового значения, а наоборот, останавливался на предметах, имевших житейское применение: на вопросах мореплавания, торговли, на предметах реальных искусств; с небрежностью оглядев сокровища из драгоценных камней, не выслушав до конца представление в опере, он очень долго осматривал Гобеленовы произведения, еще дольше пробыл в Зоологическом саду и целое утро провел в галерее планов.

В числе разных парижских достопримечательностей, государь с немалым вниманием осмотрел и Сен-Сирский монастырь как славившееся тогда образцовое воспитательное заведение и посетил перед осмотром наставницу этого заведения, знаменитую маркизу де-Ментенон, игравшую такую важную роль при покойном короле Людовика XIV. Ошеломленная неожиданным, без всякого предупреждения, приездом русского царя, восьмидесятилетняя маркиза не придумала ничего лучше, как сказать больною и улечься в постель с опущенными пологам. Быстро пройдя все комнаты и не встретив никого, царь, в сопровождении нашего посла, князя Бориса Ивановича Куракина, прямо вошел в полутемную спальню. Не найдя и здесь никого, он, не стесняясь, подошел к постели и смело отдернул занавеси — маркиза испуганно вскрикнула, увидев перед собою запыленную фигуру гиганта со смуглым лицом, торчащими подстриженными усами и огненным взглядом. Государь без церемонии уселся у ее ног.

— Спроси, Борис Иванович, у мадам, отчего она лежит, больна, что ль? — спросил царь, обращаясь к Кураки

ну, бывшему при нем в качестве переводчика, так как он совсем почти не владел французским языком.

Князь Куракин передал вопрос царя самыми изящными, элегантными выражениями.

— Больна старостью,— ответила маркиза, не отводя глаз с гостя, о странностях которого в Париже тогда ходили нескончаемые рассказы.

Куракин перевел ответ царю.

— Скажи же ей, что такие люди, как она, не стареют, что это видно и теперь по ее глазам. Да передай ей, Борис Иванович, сей мой комплимент познатнее.

Тем свидание и кончилось. Государь, вообще дороживший временем, встал и, отвесив глубокий церемониальный поклон, вышел.

Письмо Карла VI царь получил в Париже, в отеле, по возвращении с осмотра дома инвалидов, и, может быть, от этого-то обстоятельства письмо не произвело того неприятного впечатления, которое неизбежно было бы в другое время. Инвалидный дом царь осматривал с особенным любопытством, входил во все мелочные подробности, ощупывал койки, матрасы и подушки, ложился на них сам, ел солдатскую пищу в столовой и пил солдатскую чарку вина за здоровье товарищей-солдат. Под этим-то приятным впечатлением осмотра он и прочитал письмо цесаря без взрыва необузданного гнева, без конвульсивных подергиваний в лице, не обратив, казалось, внимания на оскорбительную уклончивость императора и отложив это дело до более свободного времени — так много оставалось еще ему учиться в Париже!

Однако и здесь надорванное здоровье заставляло себя чувствовать по временам настолько сильно, что потребовалось знакомство с парижским медицинским персоналом. Знаменитые парижские врачи внимательно осмотрели больного и предписали поездку в Спа для пользования минеральными водами, целебную силу которых в то время может быть несколько и преувеличивали. В начале июня Петр выехал из Парижа в Спа, в котором продолжал лечиться до половины июля, занимаясь между тем с дипломатами от России Головкиным, Шафировым и Куракиным, от Франции графом Шатонефом и от Пруссии бароном Книпенгаузеном о заключении союза, который бы обеспечивал прочность договоров Утрехтского и Баденского, а для России новые балтийские завоевания.

В Спа же приехал и капитан Румянцев с личным пол-

ным и подробным рассказом о содержании царевича в Эренберге, потом о перевозе в Неаполь и об устройстве его там, в живой картине раскрывшем перед царем двоедушие австрийского императора и венского кабинета. С обыкновенною своею пронизательностью Петр оценил всю опасность от вмешательства Австрийского двора в будущие свои планы — не из платонической же любви император принял участие в царевиче, к которому, по дурной жизни с Шарлоттою, скорее можно было бы чувствовать нерасположение. Надобно было во что бы то ни стало, не стесняясь никакими средствами, вырвать сына из цепких немецких рук... Но как? Первым движением царя, привыкшего действовать силою, было требовать и домогаться выполнения своего требования вооруженной рукою, но этот первый порыв быстро исчез перед очевидностью неуспеха. Начинать новую войну с сильным владетелем, обладавшим в то время громадным авторитетом, с своими истощенными силами значило бы готовить себе и своему делу совершенную гибель. Петр ясно видел свое положение и не обманывал себя. Борьба не могла быть равной — против него соединенные силы Швеции, Англии и Австрии, а внутри громадная сила бородачей, с ним же союзников... никого. Однако ж, с другой стороны, если оставить вмешательство императора в свои семейные дела, то не будет ли точно такая же гибель? Он давно решил отстранить сына от наследства, настоящий же случай еще более утвердил это решение. Теперь еще яснее стало, что все, им сделанное, что все, кровью, потом и мозольным трудом им добытое, все после него развеется прахом; теперь ясно стало, что не только отречение, но и самое пострижение в иночество, как вынужденное и насильственное, не стеснило бы впоследствии при благоприятных обстоятельствах... Нет, надобны другие меры, решительные...

Но эти меры могут быть придуманы после, теперь же необходимо главное: вырвать сына из чужих рук. И вот государь перебирает своих верных слуг, ищет человека способного, которого можно было бы послать в Вену доверенным лицом, человека ловкого, изворотливого, умеющего кстати пользоваться всеми обстоятельствами, умеющего кстати ласкать и угрожать, лгать и хитрить. Из таких людей выбор остановился на самом способнейшем и самом незастенчивом: на тайном советнике Петре Андреевиче Толстом. Решив этот выбор, государь тотчас же и отправил его вместе с капитаном Румянцевым в

Вену, с собственноручным письмом к императору и с широко уполномочивающею инструкцией.

В письме своем царь, выразив сначала удивление, почему бежавший сын его укрывается в цесарском замке и почему о пребывании его там ни слова не упоминается в ответном письме цесаря, продолжает настойчиво: «Посылаем к вашему величеству объявителя сего, нашего статских чужестранных дел коллегии тайного советника Петра Толстова, которому повелели о всем, касающемся того дела (царевича) пространно вашему величеству на приватной аудиенции донести, тако ж и сына нашего видеть, и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному объявить, и просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним к нам был отпущен. И с ним же, тайным советником, посылаем, для лучшего удостоверения, нашего капитана гвардии Румянцева, который вывезению из Тирольской фортеции и отвезению в Неаполь сына нашего очевидный свидетель был. И не сомневаемся чтобы ваше царское величество в том требовании нам могли отказать: ибо к тому никакой причины ни права не имеете, понеже по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и меж партикулярными подданными особами отца с сыном судить не может, а не то что суверенного и ни от кого зависящего государя. Я уповаю, что ваше величество изволите, по своему правосудию и мудрости, в том так к нам поступать, как бы вы сами в таком случае от нас требовали. Впрочем, ссылаемся на изустное доношение помянутого тайного советника, которому, просим, благоволите во всем полную веру ять, и дабы оный с полной сатисфакцией нашей от вашего величества не токмо резолюцию получил, но и сын наш к нам с ним прислан был».

В инструкции же, данной Толстому и Румянцеву, государь поручает сначала требовать декларации, на каком основании цесарь укрывает царевича в своих замках; потом, если бы император стал бы отговариваться добровольным обращением к нему царевича, объявить: что это не дает права судить отца с сыном; затем всеми силами домогаться свидания с царевичем, а в случае отказа настаивать на свидании с беглецом для передачи ему письма отца. Особенно замечательны в инструкции последние два пункта. В шестом пункте говорится: «Буде позволять им (Толстому и Румянцеву) с сыном нашим видеться, ехать им, где он обретается, подать ему наше

письмо и изустно говорить, что им приказано; також и сие объявить, какое он нам тем своим поступком бесславие, обиду и печаль и себе бедство и смертную беду нанес; сказать, что он учинил то напрасно и без всякой причины; ему от нас никакого озлобления не было; все на его волю мы полагали и никогда ни к чему, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его не принуждали; пусть рассудит, что он учинил и как ему во весь свой век в таком странствии и заключении быть? И того б ради послушал нашего родительского увещания и возвратился бы к нам, а мы его тот проступок простим и примем его паки в милость нашу и обещаем содержать его отечески, во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения. Употреблять, впрочем, удоб — в ы м ы ш л е н н ы е р а ц и и а р г у м е н т ы. Если к тому он склонится, требовать, чтоб объявил цесарю чрез письмо и просил об отпуске к нам, также и приставникам своим то намерение объявил. Получив такое письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться привезти его с собою к нам».

Наконец, в 7-м пункте исчисляются угрозы, если царевич откажется от возвращения к отцу:

«Буде же к тому весьма он не склонится, объявить ему именем нашим, что мы за такое преслушание предадим его клятве отеческой и церковной и объявим во все государство наше его непокорство: пусть рассудит, какой ему будет живот? Не думал бы, что может быть безопасен; разве вечно в заключении и за крепким караулом похочет быть, и так душе своей в будущем, а телу и в сем еще вiece, мучение заслужит. Мы не оставим искать всех способов к наказанию непокорства его; даже вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим; пусть рассудит, что из того последует? Ежели он на то на все не согласится, спрашивать, чтоб объявил свои намерения, для донесения нам. О чем писать и ожидать от нас указу»

IV

За Петром Великим всеми бесспорно признается способность громадной важности в выборе для каждого дела людей подходящих, способных именно к тому, а не другому делу. Он только сватом по временам оказывался не совсем удачным, и устроенные им пары впоследствии

горько жаловались на непрошеное устройство своей судьбы, и не раз поминались лихом его память Лопохиными, Ягужинскими и многими другими, но, впрочем... какой пронизательный человеческий ум может проникнуть в глубокие складочки женского сердца? Царь не видел, что творится, какие помыслы бродят даже в сердце своей возлюбленной Катеринушки, всегда такой ровной, милой, довольной и преданной...

Но в делах общественных и государственных, в особенности чисто практических, великий царь и преобразователь действительно умел подмечать и верно оценивать способности. Одним из самых блестящих доказательств этой способности служит его выбор тайного советника Петра Андреевича Толстого чрезвычайным посланником по делу царевича. Никто, кроме Петра Андреевича, не мог бы лучше исполнить тяжелого и щекотливого поручения, никто не мог бы более кстати и более умело пускать в ход настойчивость, угрозы, жалобы, просьбы и лживые обещания, да и никто, может быть, так легко не взял бы на свою душу тяжкого обмана, погубившего молодую жизнь...

Новый аккредитованный посол оказался на высоте своего призвания. По приезде в Вену он тотчас же потребовал приватной аудиенции у императора для вручения собственноручного письма русского царя, которую и получил не далее как на третий же день, то есть двадцать девятого июля. Цесаря поразило письмо Петра неожиданностью. Было все так хорошо устроено, казалось, что не оставалось никаких следов, так благоразумно и отчетливо составлена вся программа будущих мероприятий, а теперь вдруг все перевернулось, все тайные меры сделались известными, и продолжать далее игру в прятки становилось совершенно невозможным. С трудом затаив смущение, император высказал общими фразами свое удовольствие и благодарность за дружеское расположение царя, выразил крайнее удивление, почему его прежнее письмо показалось неясным, и в заключение кончил обещанием доставить на последнее письмо царя в скором времени удовлетворительный ответ.

Уклончивый прием не удивил нашего тайного советника, не ожидавшего никаких результатов от аудиенции у императора, растерявшегося от неожиданного оборота дела. Петр Андреевич рассчитывал на успех не от речей цесаря, а от переговоров с женским персоналом Австрийского дома и с теми влиятельными высокими сановниками,

которые если не явно, то втайне не прочь были противодействовать влиянию вице-канцлера графа Шенборна, главного виновника протекции, оказанной русскому царевичу.

С частной аудиенции у императора наш тайный советник отправился на аудиенцию к матери супруги цесаря и покойной Шарлотты герцогине Вольфенбютельской, с которой и повел речь дипломатично и тонко об убежавшем царевиче. Старая герцогиня при первых словах посланника тоже начала было высказывать заранее заученную речь о том, что царевича в австрийских владениях не было и нет, что, может быть, он и проехал ими, но куда проехал и где теперь находится — неизвестно.

— Где находился и находится царевич, о том всем в Европе известно. Теперь он содержится в Неаполе под караулом, и цесарскому величеству то доподлинно известно. Капитан Румянцев видел своими глазами, как царевич был в Тироле и как потом перевезли его в Неаполь,— конфидентно сообщил Петр Андреевич, как будто это сведение могло быть неизвестно Венскому двору.

Герцогиня показала вид крайне удивленный неожиданным открытием. Она точно так же изумилась, когда Петр Андреевич показал ей копию с письма царя из Копенгагена в доказательство того, что со стороны отца не было никакого насилия.

— Вижу теперь, что многое я не знала и многое мне передавали совсем иначе,— высказала герцогиня. Очень желала бы все это дело прекратить без ссоры и буду теперь всеми способами стараться примирить такого великого монарха с сыном... Ведь и сама я тут заинтересована... недалняя родня — внук родной...— прибавила она улыбаясь.

— Всенижайше ценю и благодарствую вашу великогерцогскую светлость за такое милостивое обещание, но смею доложить, что иного примирения быть в этом деле невозможно, как полное изволение цесаря отослать царевича со мною к отцу... Мой же всемилостивейший государь, его родитель, простит сына и примет его по-прежнему в свою отеческую милость, как о том в грамоте, к цесарю и в письме к сыну досконально изображено... В случае же если сын пребудет непокорен и со мной не воротится,— прибавил тайный советник торжественно и возвысив голос,— то родитель, его величество, предаст его проклятию!

— О Боже милостивый! Спаси моего внука от проклятия!— воскликнула в ужасе герцогиня.

Затем, несколько успокоившись и кончая тяжелый разговор, она посоветовала:

— Нехудо бы испросить частную аудиенцию у дочери моей цесаревы и высказать ей все, что мне говорилось, а с министрами не говорить ни с кем... разве с графом Зицендорфом...

Достаточно напугав бабушку и уверившись в ее содействии, Петр Андреевич прямо с аудиенции отправился к графу Зицендорфу, которому, согласно данной инструкции, высказал настойчивое требование о выдаче царевича и указал на губительные последствия в случае отказа.

От положительного ответа на это требование граф Зицендорф уклонился, высказав только, что хотя император и говорил с ним об этом деле, но до окончательного решения о выдаче царевича никакой речи быть не может.

Заявив Зицендорфу о желании получить частную аудиенцию у императрицы, наш тайный советник воротился, вполне довольный успехом начала. Дома Петр Андреевич тотчас же занялся подробным описанием всего своему высокому доверителю с добавлением собственного мнения о том, что если при Венском дворе прямо не высказывают, где находится царевич, то это, вероятно, происходит от намерения предложить свое посредничество к примирению. «Но такое посредство цесаря в примирении допускать не безопасно,— заключает в донесении своем граф,— так как неизвестно, какие будут предложены кондиции, да притом же какое посредство может быть между отцом и сыном? Не скорее ли это будет насильство, чем посредство?»

Между тем в тайной императорской конференции началась усиленная работа над разрешением серьезного вопроса: как поступить в таком странном непредвиденном случае? Много глубокомысленных соображений высказали члены конференции, много исписали бумаги и, наконец, изложили свой взгляд систематично, с разделением на неизбежные пункты, в форме установленной мемории. В первом пункте конференция положила: не скрывая более пребывания царевича в австрийских владениях, как бесполезное, объяснить русскому царю, что это не тюремное а с сохранением полного достоинства пребывание было дозволено по просьбе царевича о покровительстве ввиду близкого свойства императорского дома, в соображении

оказать услугу русскому царю недопущением царевича попасть в неприятельские руки и в намерении примирить впоследствии отца с сыном. В доказательство же добрых намерений императора конференция полагала передать отцовское письмо царевичу, и в случае его нежелания воротиться — дозволить тайному советнику Толстому ехать в Неаполь для личного свидания и переговоров.

Между тем в этих пересылках и переговорах выиграть как можно более времени, в которое выяснится, наконец, какой результат будет иметь поход русского царя, отчего будет зависеть и тон переговоров — смелый или скромный. Во втором пункте конференция ограничилась изложением важности настоящего положения ввиду многочисленных московских войск, расположенных вдоль силезской границы и ввиду запальчивого характера русского царя, способного вторгнуться в австрийские владения, например, Богемию, и взволновать там множество недовольных. В третьем пункте высказывалась необходимость заключения союза с английским королем для безопасности в случае нападения.

Доклад конференции император утвердил своим *placet** — в тот же день. Казалось, что все мудрые расчеты государственных мужей не могли бы не выполниться, но... такова судьба всех глубокомысленных соображений — в действительности вышло совсем иное!

Согласно утвержденным положениям конференции, граф Зинцендорф, на другой же день пригласив к себе графа Толстого, Веселовского и Румянцева, высказал им, что его величество цесарь по дружбе своей к русскому царю, а отнюдь не по принуждению приказал объявить все откровенно: действительно, царевич Алексей Петрович был в Вене, просил цесаря оказать протекцию и назначить ему безопасное убежище, а потому вследствие этой просьбы, по родственной дружбе и не желая делать гласными семейные отношения русского царя и в намерении впоследствии содействовать к примирению, император и назначил для жительства царевичу сначала Эренберг, а потом Неаполь, где его содержали вовсе не как арестанта, но со всевозможным удобством, хотя и не в такой обстановке, какая следовала бы по его высокому положению.

* Слово, выражающее согласие с каким-либо решением, готовность его признать. (*Прим. ред.*)

Затем, после откровенного признания, граф Зицендорф обратился к главному вопросу, возбужденному графом Петром Андреевичем, и высказал решительно, что требование русского царя о высылке к нему сына совершенно невозможно, так как было бы необходимо выслать его насильно, а это предосудительно императорской власти и всесветным правам — было бы знаком варварства. Наконец, граф Зицендорф в заключение своей речи объявил решение императора послать к царевичу особого курьера с собственноручным своим письмом, в котором будет склонять его к возвращению.

С первых же слов графа Зицендорфа наш тайный советник отлично понял всю суть тайных замыслов венского кабинета: извлечь сколько возможно больше выгод от пребывания русского царевича в его руках, а потому и начал всеми силами своего красноречия настаивать на законности и праве своего требования о возвращении сына отцу.

— Но если будет послан к царевичу особый курьер, то такая посылка приведет все дело в еще большую конфузию,— с волнением говорил Петр Андреевич,— царевич, не зная о прощении отца в случае возвращения, конечно, будет упорно держаться прежнего намерения.

— Что же наконец делать?— в недоумении спросил граф Зицендорф.— Император ни под каким видом не согласится на насильственную выдачу царевича.

— Во всяком случае мы просим императора не посылать курьера,— продолжал объяснять граф Толстой,— потому что, узнав о приезде за ним нас, царевич встретится и будет просить императора отпустить его из австрийских владений, чтобы скрыться в каком-либо другом месте... Как же поступит его цесарское величество при таком желании царевича?

— Я полагаю, что император,— отвечал граф Зицендорф,— как не считает себя вправе выдавать царевича против его желания, так, вероятно, не сочтет себя вправе и отказать ему в просьбе о выезде куда угодно, но...— добавил граф,— нельзя предполагать такого желания в царевиче...

За таким решительным отказом венского кабинета совещание приостановилось. Петр Андреевич понял всю бесполезность дальнейшего настаивания на своем требовании и потому моментально решил в уме своем прибегнуть к обходному пути.

— Если его величество цесарь,— снова начал Петр

Андреевич,— не считает себя вправе возвращать сына отцу неволею, то точно так же он не должен считать себя вправе и отказать мне в личном свидании с царевичем в Неаполе для передачи сыну отцовского письма с прощением и словесного наказа, узнать о чем ему будет приятно?

— Об этом его величество мне ни слова не изволил говорить,— заметил граф Зицендорф задумавшись,— но я не сомневаюсь, что император не только не встретит затруднения разрешить это свидание, но даже, вероятно, пошлет в помощь вам и от себя какую-либо знатную особу.

На этом и кончилось совещание дипломатов.

С этого момента тактика Петра Андреевича совершенно изменилась. Догадавшись, как человек в высшей степени сметливый, что настаивать на возвращении царевича бесполезно, он перестал докучать настояниями. В его уме быстро определилась возможность достигнуть своей цели, нисколько не насилуя чужих убеждений, достигнуть незаметно и вполне естественным путем. Наш тайный советник, под наплывом будто бы преданной любви, сделался мягок, сердечен, ласков и перестал говорить тоном грозных требований.

В таком именно роде и вел он беседу на другой день после свидания с графом Зицендорфом на аудиенции у герцогини Вольфенбютельской. О требовании возвращения почти не упоминалось; Петр Андреевич распространялся только о желании своем видеться с царевичем и утешить его родительским прощением. Герцогиня вполне вошла в виды сметливого посла и сама разгорелась желанием восстановить любовь и согласие в царском семействе, примирив отца с сыном. С полною искренностью она отнеслась к желанию отца и сама стала советовать графу ехать самому в Неаполь и уговаривать царевича; мало того, она даже вызвалась и от себя написать Алексею Петровичу.

— Очень, очень желала бы я, чтобы царь обещал и обнадежил сына дозволением жить в том месте, какое тот сам изберет, в каком-нибудь городке или в вотчине,— говорила она откровенно, причем добавила:— Я ведь натуру царевича знаю, отец напрасно трудится и принуждает его к воинским делам; он лучше желает иметь в руках своих четки, чем пистолы... Только бы немилость царя не пала на внука!

В заручке на содействие герцогини Петр Андреевич приобретал значительный шанс на успех. Герцо-

гиня могла передать свои убеждения дочери-императрице, а та с своей стороны могла влиять на решение мужа. И действительно, император с этого времени не только перестал делать возражения на просьбу Толстого, но даже, напротив, как будто и сам стал желать возвращения сына к отцу.

На другой же день после свидания графа Толстого с герцогиней Вольфенбютельской император отправил к неаполитанскому вице-королю, графу Дауну, курьера с письмом, в котором, предупреждая о скором приезде в Неаполь русских послов для свидания с царевичем, поручал подготовить царевича к этому свиданию, которое должно состояться в присутствии самого вице-короля или особого, доверенного лица, и уверить предварительно царевича, что император не отказывается от своего покровительства и против воли отцу не выдаст. Затем император определил положительно, как должен сообразоваться вице-король в своих распоряжениях с ответами царевича на предложения послов: в случае полного согласия передав царевича Толстому, отправить их немедленно, с назначением для сопровождения надежного офицера; в случае же согласия условного или решительного отказа,— донести императору и ожидать распоряжений из Вены.

Между прочим, в этом письме или, вернее сказать, довольно подробной инструкции одно выражение чрезвычайно характеристично определяет взгляд императора на характер русского царя и его послов: «Свидание должно быть устроено так, чтобы никто из москвитян (отчаянные люди и на все способные) не напал на царевича и не наложил на него руки, что, впрочем, я не ожидаю».

Но Петр Андреевич был не из числа таких отчаянных, на все способных, все ломающих русских медведей, напротив, по природе своей он был человеком мягким, сладкоубаюкивающим, ласкающим и если выпускающим свои ногти, то только в случаях крайней выгоды, когда выпустить их уместно и безопасно. Петр Андреевич прежде всего постарался убедить графа Зицендорфа, герцогиню и императрицу в нелицемерном прощении отца и в совершенной безопасности возвращения сына, зная, что под влиянием мнений самых близких лиц и сам император постепенно перестанет относиться к требованию русского государя с прежнею недоверчивостью.

Может быть, цесарь легко согласится на просьбу доброго и открытого графа Толстого о личном свидании его с царевичем по непредвидению опасности для своего про-

теже, а может быть, и по убеждению в совершенной бесполезности всех стараний московского посла. Вполне доверяя рассказам графа Шенборна и донесениям Плейера, своего резидента при русском дворе, император мог быть заранее уверен в отказе царевича, а следовательно, и в его согласии выразалось только одно желание доказать внимание и расположение к русскому соседу, раздражать которого не могло быть совершенно безопасно при тогдашних политических отношениях.

Как бы то ни было, но о позволении императора официально сообщил русским посланникам граф Зицендорф через несколько дней после первого с ними свидания:

«Его цесарское величество, всегда имея в почтении дружбу русского государя и стараясь доказать добрую приязнь свою, повелел мне объявить вам, что хотя царевича против всесветных прав выдать и нельзя, но из дружбы к русскому государю позволяем вам ехать к нему в Неаполь, видеться с ним и уговаривать к возвращению. От себя же цесарь писать к нему ни о чем не будет, желая оставаться в этом деле нейтральным. Если царевич решится ехать в отечество, то цесарь удерживать его не станет, но точно так же и не пошлет в случае его отказа. Согласно с этим, его цесарское величество повелел отправить к неаполитанскому вице-королю графу Дауну приказание, чтобы он свободно допускал вас видеться с царевичем, от себя же посылать никого не желает, имея доверенность к вам как уполномоченным послам...»

В душе Петр Андреевич был очень доволен таким согласием, вполне соответствующим его тайным намерениям; но все-таки нашел необходимым заявить просьбу о том, чтобы его цесарское величество повелел вице-королю и с своей стороны склонять царевича к возвращению, а в случае согласия царевича отпустить его с ними прямо, не сносясь предварительно с императором, и отправить тем путем, какой они вместе с царевичем изберут за лучший.

Граф Зицендорф обещал передать эту новую просьбу императору.

Послы, торопясь дорожными сборами в Неаполь к царевичу, просили об отпуске и о назначении им прощальной аудиенции у царственных особ. Герцогиня Вольфенбютельская, отпуская графа Толстого, передала ему письмо к царевичу, в котором будто бы прилежно просила о примирении с отцом, но в действительности очень уклончивое и неопределенное: «Пользуясь отправлением Толстого, я

долгом считаю напомнить о себе и возобновить уверение в своей преданности,— писала она,— и вместе с тем пожелать вашего примирения с отцом. Впрочем, ни советую, ни отсоветываю, а молю Бога послать вам просвещение избрать себе наилучшее и постыдить своих супостатов». Как видно, и она в душе своей не совсем доверяла искренности прощения отца!

Как герцогиня Вольфенбютельская, так и императрица, у которой аудиенция следовала непосредственно после аудиенции у матери, постоянно спрашивали у Петра Андреевича, действительно ли отец простит сына в случае его добровольного возвращения, и, после положительного в том заверения, просили о дозволении сыну избрать самому себе место жительства.

Наконец, такую же недоверчивость выразил и сам император в аудиенции у него графу Толстому. В ответ на витиеватую благодарственную речь посла, император с особенным ударением высказал:

— Я надеюсь, что по увещанию нашему царевич возвратится, но точно так же надеюсь и на прощение его другом моим русским царем.

— Мой всемилостивейший государь соизволил дать в этом торжественное ненарушимое слово,— отвечал, не запинаясь, граф Толстой.

— Мне будет очень приятно слышать о таком славном деле, как примирение с сыном великого государя, а потому и прошу засвидетельствовать мою искреннюю дружбу,— закончил цесарь, отпуская послов.

Затруднений и препятствий к отъезду послов более не было. Еще накануне они получили именное повеление цесаря к вице-королю Дауну в запечатанном конверте для передачи ему по приезде в Неаполь и копию с этого повеления лично для себя. Но так как в этом повелении говорилось только о разрешении допуска графа Толстого с одною или двумя персонами к царевичу и об изъявлении послу доброжелательства, то наш неутомимый тайный советник снова атаковал графа Зицендорфа просьбами: вписать в указ вице-королю приказание уговаривать царевича, а главное отпустить его, в случае согласия, без предварительных ссылок с Веною.

На этот раз услужливый Зицендорф оказался непреклонным и на все многоречивые доводы тайного советника обрезал коротко:

— В указ вписывать нечего. Вице-король имеет другое

повеление склонять царевича к возвращению в отечество, а когда царевич вздумает ехать, то задерживать и ссылаться с цесарем не будут, да и цесарю только трудности, а никакой пользы нет от пребывания царевича в его областях. Если же и этого вам мало, то и я с своей стороны поприятельски отпишу к графу Дауну поддерживать ваши настояния.

Послы выехали из Вены 21 августа, но прибыли в Неаполь только 24 сентября от испорченной постоянными дождями дороги.

V

Особенно приветливо и любовно встретили царевича солнце, земля, воздух, стены и даже самые люди в неаполитанском Сент-Эльмо. Здесь все казалось ему так полно, так гармонично, как будто здесь осуществились те заветные, неясные мечты, с которыми жила его душа, никак не умевшая сродниться с холодной практической жизнью. Царевич с ненасытным наслаждением упивался южной природою, убаюкивающей человека, как любимое детище, и отстраняющей от него гнетущие заботы о насущном хлебе. Алексей Петрович еще не бывал в Италии, этом благоухающем цветнике; до сих пор он видел только колючие иглы сурового, родного севера с вечными туманами да кропотливую грошовую жизнь германских городов — и то и другое отравленные беспощадною требовательностью отца. Может быть, ум царевича поразил и контраст мрачных затхлых стен, железных, решеточных окон, едва пропускающих свет, Эренберга с высокими, светлыми комнатами королевского неаполитанского дворца, безжизненных голых скал, отупляющих взгляд, — с блестящими красками беспредельного горизонта.

Вторая половина сентября. У открытого окна угловой комнаты Сент-Эльмского замка задумчиво любитесь царевич, прислонясь головой к выдающемуся косяку рамы, на величаво раскинувшуюся перед ним панораму. Впереди расстилаются синие волны безбрежного моря, которые, то сливаясь, то набегаая друг на друга, молочную пеною рассыпаются у прибрежных камней; а там вдали, в неясном горизонте как будто берега какого-то волшебного острова в фантастических очертаниях зелени. Внизу группы домов, кажущихся сверху нагроможденными друг на друга, с раз-

ноцветными сверкавшими кровлями, и оттуда же слышится мерный плеск прибоя и глухой человеческий говор. Вправо от города, вдали вырезывается темная громада Везувия, из которого, как из адского чудовища, вырываются клубы черного дыма. Влажный воздух, без густоты и тягучести Балтики, прозрачный и светлый, позволяет видеть издали белые паруса рыбацких лодок, скользящих по волнам, как бело-серебряные чайки.

Глаза царевича почти не отрываются от великолепной картины, то покоясь на морских волнах, то следя за мелькавшими парусами, то переходя к дымившемуся чудовищу; он безмятежно наслаждается полными волнами звуков и красок. По временам только высокий лоб наморщится от пронесшейся тяжелой мысли или заботливый взгляд тревожно оборотится к милому другу, сидевшему с работой в руках, тут же, за столом у окна.

Алексей Петрович в последнее время пополнел; спокойствие и ощущение безопасности от отцовского гнева вызвали на бледные щеки румянец и придали выражение какой-то самоуверенности. Афрося тоже изменилась, но иначе. Молодая женщина заметно похудела и побледнела, хотя ее талия от наступившей второй половины беременности видимо округлилась, а походка стала тяжелой и увалистой. Серые открытые глаза, прежде так бойко и весело смотревшие на Божий мир, теперь окаймленные синими полосами, сделались тусклыми и мутными. Свежая и здоровая белизна лица заменилась блеклостью с желтоватыми пятнами, полные щеки осунулись. Но не от одного физического страдания все эти перемены: чем более креплялась жизнь царевича с Афросей, тем резче стали выступать различия их природ.

Афрося иногда даже вовсе не понимала своего Алешу. Чуть не с боязливым изумлением смотрела она на него, когда он по целым часам, в каком-то непонятном для нее восторге весь поглощался дивными переживаниями звуков или цветов, таинственным говором прибоя волн или мелодическими тонами итальянской песни, когда он с таким вниманием следил за полетом какой-нибудь птицы, как будто эта птица должна была принести ему несчетные богатства. После удовлетворения порывов животной любви в Афросе выказалась прежняя подкладка, некогда составлявшая весь круг ее потребностей. И вот теперь, оторванная от прежней жизни, от всего, что она понимала, что так ясно говорило ее сердцу, пересаженная в другую

сферу, совершенно незнакомую, она вдруг затосковала о своем прошедшем. Тяжелые неприглядные формы деревенского детства окрасились привлекательными цветами: она все чаще и чаще стала вспоминать нескончаемую ширь полей с золотистыми волнующимися нивами, мутную тинистую речку, в которой бултыхалось ее грязное тельце в знойные дни, и заскорузлые, потные лица, некрасивые, заморенные, но зато родные и такие добродушные. Афрося как ни старалась идти об руку с другом, она не могла не отдалиться и не сосредоточиться в себе самой, в своих воспоминаниях, в своих тайных, безотчетных надеждах.

А между тем царевич и Афрося по-прежнему, если не более, любили друг друга, но только любовь их была разная: Алеша любил в Афросе женщину и друга, а она любила его только как мужа и отца будущего своего ребенка.

— Афрося!.. Афрося!..— обратился царевич к ней, не замечавшей, что он уже давно с нежностью любит-ся ею.

Афрося не слышала и продолжала работать машинально.

— Афрося!— громче окликнул царевич.

— А!.. Что?— отозвалась она, как будто оторопелая и захваченная врасплох. Она и действительно была захвачена в своего рода преступлении, в тайных воспоминаниях, о которых она никогда не высказывалась ему. В этой тайной работе воображения ей казалось, что она еще прежняя Афросиньюшка, будто она с другими такими же замарашками-подругами в темном лесу, который так близко, почти вплоть подступил к старым покосившимся избам, будто они шатаются по лесу в поиске за грибами, распевая пискливыми голосками песенки, перенятые от старых людей.

— О чем ты думаешь, Афрося?

— Да так... ни о чем...— лениво протянула она, опуская на колени уставшую руку.

— Посмотри, Афрося, как хорошо! Посмотри на это море, на этот остров, на эту гору.

— Что же я там не видела? Вода как есть все такая же, и гора все та же... Скучно...

И они снова вернулись каждый к своим занятиям: он к своему морю, а она к работе, под механические движения которой снова стало воскресать забытое прошлое.

— Фрося!.. А Фрося!..— снова заговорил царевич, подходя и положив к ней на плечо руки.— Как ты думаешь, зачем вице-король присылал пригласить меня к себе завтра утром?

— Не знаю... видно, дело какое есть...— рассеянно отвечала Афрося.

— Дело! Какое дело! Нет ли каких известий оттуда?— и у царевича от одного слова «оттуда» колыхнулось сердце и дрогнул голос.— Дай, Господи, чтобы вести были хорошие... Не придется ли опять бежать... Не хотелось бы отсюда...

Афрося с удивлением взглянула на него. Странную ей показалась такая боязнь. И к чему привязался он здесь, думалось ей, все здесь чужое, и говорят все как-то странно, как ни вслушиваешься, все ничего не поймешь.

В богато убранном кабинете королевского дворца в Неаполе вице-король и фельдмаршал граф Даун систематично, со всеми предосторожностями сообщает сидевшему против него за письменным столом Алексею Петровичу о приезде русских уполномоченных, тайного советника Толстого и капитана Румянцева. Как ни тонко, ни убедительно и осторожно вел свою речь вице-король, но известие поразило царевича, как страшный громовой удар, разразившийся при светлом безоблачном небе. Молодой человек схватился за голову, потом за сердце, концы губ задрожали и нервно скривились.

— Зачем мне не сказали, что они здесь, зачем?— почти бессознательно забормотал он.— Как они могли узнать? Я не хочу их видеть... не хочу... я боюсь их... Они убьют меня.

— Здесь, в обширных владениях великого цесаря, не так, как в иных странах, не убивают никого, а тем более из цар... из высоких персон,— поправился вице-король, который, не получив инструкции, как величать своего высокого пленника, всегда затруднялся в его титуловании,— высоких персон, находящихся под покровительством его цесарского величества,— обидчиво высказал граф Даун.

— Но я не хочу их видеть, не хочу и не хочу,— твердил царевич.

— Но это невозможно, никак невозможно; я имею положительные инструкции на этот счет от императора,

при том же послы имеют письмо для передачи и словесное поручение.

В это время незаметно, из соседней непритворенной двери, по тайному знаку графа Дауна, вышел тайный советник Петр Андреевич своей обыкновенной осторожной походкою и с наостренными, по обыкновению, ушами. За Толстым следовал капитан Румянцев, который своей суровой осанкою всегда приводил в трепет Алексея Петровича.

По окончании вступительной речи, в которой, искусно пролавирировав между грозным требованием государя и его сердечными чувствами, Петр Андреевич подал царевичу отцовское письмо.

В этом письме, ясном и определенном, как и во всем, что выходило из-под пера Петра, говорилось:

«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от н а к а з а н и я не последовал наставлению моему; но наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил. Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию! Что не слыхано не точию между наших детей, но ни же между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил! Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моею послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то яко отец, данною мне от Бога властью, проклиная тебя вечно, а яко государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помни, что я все не насильством тебе делал; а когда бы захотел, то почто на твою волю полагаться? Чтоб захотел, то б сделал».

В каждой строчке этого сурового письма сын видел сверкающие яростью глаза и поднятую тяжелую руку отца; царевич дрожал как в лихорадке.

— Уехал под протекцию цесаря я из боязни гнева отца и его принуждения к отречению от наследства,— едва можно было расслышать из бессвязного ответа.

В опровержение Петр Андреевич сначала высказал о

заботливости государя и о желании его иметь себе достойного наследника, а потом распространился в обещаниях милостей и ласк по возвращении и в угрозах в случае неповиновения.

— Ничего я не могу теперь решить,— уклонился царевич,— об этом надобно много подумать.

Более положительного результата Петр Андреевич не мог добиться в этой аудиенции. Надобно доподлинно разузнать, с кем будет советываться царевич, с кем думать.

VI

Домой воротился Алексей Петрович бледным и встревоженным. Афросе не нужно было долго допрашивать, для чего приглашали друга.

— Кончились наши ясные дни, Афрося, и не вернутся они никогда...— и Алеша заплакал, горячо обняв свою Афросю и положив голову к ней на плечо,— узнали наши лиходеи, где мы... и пришли за нами... Прочти вот...

Афрося, читавшая писанное с трудом, многое не разобрала, но она догадалась о значении каждого слова и сердцем поняла невзгоду. Впрочем, эта невзгода не показалась ей такою мрачною, как Алеше. Отец прощает, промелькнуло у нее в голове, позволяет им жить, где угодно... Чего же больше и желать-то? Не вечно же бегать переодетыми, как на Святках, лазить по ущельям да прятаться по замкам, которые хоть и понравились ей, да только сначала, когда въезжала в немецкую землю и любовалась ими издали, а не теперь, когда сама испытала, каково сидеть в этих гнездах взаперти. Вот у нас на родине-то нет этих замуравленных толстых стен; везде открытые поля, а по полям растут цветы, правда не долго, только весной, но Афрося была еще молода, и в ее воображении еще рисовалась только деревенская весна с изумрудной зеленью бархатных лугов, с шумящими ручьями да песнями жаворонков.

Афросе очень хотелось утешить Алешу, высказать, что он напрасно так кручинится, что на родине им будет гораздо лучше, чем в басурманских тюрьмах, но в первые минуты побоялась перечить; она только теснее прижала к себе его голову да крепче целовала его.

Прошло два дня, и царевич несколько успокоился под ласками Афроси, нежно ластившейся к нему каждый раз, когда царевич задумывался и скорбное выражение набе-

гало на бледное лицо; а на третий день снова приехала закрытая карета и снова увезла Алешу к вице-королю.

На этом свидании при первом же вопросе графа Толстого, додумался ли до послушания отцу, царевич, по-видимому, твердо отвечал:

— Возвращаться к отцу опасно и явиться перед его разгневанное лицо не бесстрашно... не смею воротиться, о чем и донесу письменно протектору моему, его цесарскому величеству.

Довольно решительный тон царевича раздражил графа Толстого почти до иступления, как обыкновенно случается при неожиданной встрече отпора от лиц, от которых не ожидали сопротивления. Петр Андреевич выпустил ноготки.

— Если ты не возвратишься, тогда царь будет считать тебя изменником и не отстанет, пока не получит тебя живого или мертвого. Мне приказано не удаляться отсюда прежде, чем возьму тебя... Если бы и перевезли тебя в другое место, то и туда буду следовать за тобою!

Понятно, до какой степени этот резкий тон напугал царевича, которого привести в полное расстройство и отчаяние достаточно было одного грозного взгляда, одного жеста, напоминавшего тяжелую руку отца. Царевич бросился к вице-королю, схватил его за руку и увлек в другую комнату.

— Скажите, ради Бога, если отец вздумает требовать меня с оружием в руках, могу ли я положиться на протекцию цесаря?— спросил он порывисто и задыхаясь.

— Его цесарское величество с удовольствием видел бы примирение вашего высочества с родителем, но если вы считаете небезопасным возвратиться, то вполне можете положиться на покровительство императора, который настолько силен, что может защитить принятых им под свое покровительство во всех случаях.

— О, благодарю Бога, теперь я спокоен и останусь здесь, так как без явной опасности воротиться не могу и ни под каким видом не хочу попасть в руки отца,— положительно объявил царевич графу Дауну.

Затем, воротясь в кабинет, где ожидал граф Толстой, царевич высказал уклончиво:

— В настоящее время я ничего не могу сказать положительного. На письмо же отца отвечать буду и тогда изложу мой окончательный ответ,— решил Алексей Петрович, оканчивая аудиенцию.

Свидание опять не принесло никакой пользы; мало того, оно даже как будто отдалило посла от назначенной цели. Петр Андреевич теперь очутился в самом неприятном положении: видимо, на царевича не действовали ни угрозы, ни ласка, ни убеждения — употребить же силу, захватить, наложить, как выразился император, руки, сколько ни обдумывал тайный советник, а не представлялось никакой возможности. Царевича оберегали зорко, даже и на аудиенцию к вице-королю привозили всегда в закрытой карете под надзором надежного караула. А между тем во что бы то ни стало, а необходимо достигнуть цели — к Петру нельзя вернуться с пустыми руками! И заработала изобретательная голова графа Толстого во всю свою мочь.

Добродушного фельдмаршала и вице-короля Петру Андреевичу обойти не стоило большого труда. Граф Даун ему вверился почти безусловно, и даже сам стал видеть в возвращении сына долг христианский, которому каждый обязан помогать всеми силами. Притом же пребывание русского царевича, не то принца, не то арестанта, не мало тяготило вице-короля, не знавшего даже, как и титуловать непрошеного питомца! Граф Даун не желал ни на йоту отступать от приказаний императора, в совести считал даже малейшее отклонение от них преступлением, но... как понимать самое приказание, когда применение его чрезвычайно разнообразно? Правда, император категорически запретил выдавать царевича в случае его отказа вернуться к отцу, но вместе с тем приказал склонять его воротиться... Какие должны быть меры к такому склонению?

И добрый Петр Андреевич постарался помочь разрешению недоумения.

— Склонять царевича,— внушал граф Толстой вице-королю,— значит показать явно, что цесарь оружием защищать его не будет, что и резону в том для цесаря никакого нет. Хоть прежде была обещана ему протекция, но это обещание уже и выполнено... Отец объявил прощение, написал об этом к сыну и к цесарю грамоты с заклинанием Божиим, то какое же основание цесарю протестовать? Теперь отказ — одно уже упрямство, за которое нет повода цесарю начинать новую войну, имея уже у себя на руках две... а следовательно, необходимо будет цесарю выдать его против воли отцу.

— Правда, правда...— подтвердил граф Даун,— какая тут новая война, когда у нас дома хлопот полны руки.

Послушайте только, что здесь толкуют... сколько изменников! Того и жду, что десант гишпанский подойдет, а мне здесь с одними своими силами против гишпанских войск и своих изменников не управиться... Нужна помощь, а лишних войск нет... все двинуты к Турции.

— Вот видите и сами, почтеннейший граф, что цесарю нет резона расходиться с моим государем. Поверьте, что он вам будет очень благодарен, если вы уладите дело о царевиче и не доведете до разрыва с московским царем. Уладить же можно только одним способом: когда царевич не будет надеяться на помощь цесаря.

— Правда, все правда, милейший граф,— согласился Даун,— только сурово толковать-то с царевичем не приходится, приказа нет... да совестно как-то... Нельзя ли как-нибудь иначе?.. Постращать бы...

— Да как же иначе постращать, ваша светлость?— удивился граф Толстой.

— Не касаться бы вопроса о протекции... Опасно, да и неловко... Сначала все говорил одно, а потом вдруг заговоришь другое... Надобно бы иначе... Да... вот что я придумал,— самодовольно сообразил граф Даун,— с царевичем живет какая-то переодетая по-мужски женщина, и эту женщину, как мне докладывали, он крепко любит, обойтись без нее не может. Попробую я постращать, что император приказал отослать эту женщину. Оно и вероятно. Цесарю, как свояку, конечно, неприятно видеть у родственника наложницу...

— Что ж, попробуйте, ваша светлость, только все-таки главное необходимо вырвать у царевича надежду на протекцию. Не будет надежды, не будет и упрямства, поверьте мне,— настаивал граф Петр Андреевич, который, как человек никогда не испытывший нежного чувства любви, не придавал особой цены сердечным увлечениям.

Граф Толстой совершенно перетянул на свою сторону вице-короля, но в этом он приобрел себе еще не очень большую помощь. Граф Даун оказывался человеком неподходящим и неспособным хладнокровно опутывать кознями невинного, а потому и необходимо стало отстранить его от дальнейших переговоров. На это не потребовалось большого труда. Петр Андреевич, заявив графу, что ведение переговоров в королевском дворце неудобно, что перевозка царевича каждый раз в закрытой карете с конвоем неприлична и небезопасна, предложил на будущее время свидания установить в самом замке Сент-Эль-

мо, в присутствии особого доверенного лица. На это предложение вице-король согласился без всякого колебания; а так как ему самому тяжело было ездить в Сент-Эльмо и еще тяжелее присутствовать при переговорах, то он вместо себя командировал фельдцейхмейстера фон Венцля.

Отстранив таким образом главное препятствие к своему насильственному давлению на волю царевича, Петр Андреевич занялся присканием себе деятельного и способного помощника, которого и скоро нашел в лице Вейнгардта, секретаря вице-короля, пользовавшегося особенной доверенностью своего принципала. Вейнгардт — молодой человек, приятной, симпатичной наружности, обаятельных манер, жуир, баловень женщин, с резко выдающимися способностями и замечательным умом, соединявший ненасытную жажду наслаждений всевозможных, самых разнообразных видов: женщинами, вином, игрой и кутежами. Наслаждения, конечно, требовали средств, далеко превышающих его умеренное жалованье и скромное наследственное достояние. Недостаток в средствах заставлял его прибегать к непрерывным долгам, изворотливости и к поступкам, далеко отходившим от строгих правил нравственности. Петр Андреевич оценил способности молодого человека и сумел ими воспользоваться.

Уговорить Вейнгардта принять деятельное участие было нетрудно ловкому Петру Андреевичу. Да и как бы не сочувствовать и не помогать доброму тайному советнику в таком хорошем деле, как примирение отца с сыном, в особенности же когда от такого сочувствия после первого же свидания с тайным советником в тощем кошельке молодого человека зазвенело более полутораста золотых червонцев, а в голове заиграла надежда на еще большую награду.

Взявшись за дело, Вейнгардт поспешил заслужить свои сребреники и тотчас, в то же утро несчастного второго октября навестил царевича.

Тяжелые дни переживали Алексей Петрович и Афрося, дни тревожного раздумья, как поступить и как определить свое будущее. К несчастью, теперь-то, в эти критические дни, когда только в единении могла быть сила, способная поддержать друг друга, впервые между ними появилась рознь. Царевич не желал возвращения, не верил отцовскому прощению, смотрел на него, как на тенеты, из которых, запугавшись, ему уже не выбраться; в незаслуженном прощении он слышал не кроткий голос отца, готового с

любовью принять блудного сына, а неумолимый приговор, который лишит всего... может быть, даже и жизни.

Совсем иначе смотрела на все это Афрося. Как дитя низменной среды, без всякого внутреннего развития, она понимала в жизни только будничные явления, оставаясь совершенно чуждою к потребностям духа. Она томилась в чуждой стороне, где все было ей незнакомо: язык, нравы, обычаи и даже самая обстановка; тосковала о родном, грязном и затхлом, но ей памятном. Одна любовь, как бы ни было сильно это чувство, не в состоянии еще просветить до правильного сознания, до анализа совершающегося. Бесспорно, Афрося любила нежно и глубоко своего Алешу, но ее чувство походило на бессознательную привязанность животного, на преданность собаки. Она грустила, жалела Алешу, находя каким-то чудным, чуть ли не юродством, безмолвное, почти восторженное созерцание таких простых будничных вещей, как деревья, море, закат или восход солнца, отражение лучей в морских волнах, не понимая, как это Алеша не спешит воспользоваться прощением отца, не спешит уехать отсюда в родное гнездо, не в столицу, конечно, а в какую-нибудь Грачевку. И она молча, с сердечным замиранием следила за борьбою Алеши.

Вейнгардт застал молодых людей в обыкновенном их в последнее время состоянии духа: Алексея Петровича в нервном волнении, в суетливом движении, в непрерывной перемене места, как будто спешащим куда-то; Афросю за ее работой в руках, с опущенными ресницами, из-под которых выкатывались крупные слезинки.

— Что нового, любезнейший господин секретарь, нет ли каких вестей из Вены, из Спа? Что Толстой?— забросал вопросами царевич Вейнгардта при входе.

Царевич часто видал Вейнгардта, и молодой человек нравился ему веселым, добрым и открытым характером.

— Новостей много, мой милый принц, новости слетелись к нам со всех сторон, только не хорошие... Я поспешил к вам предупредить о них. Знаете, лучше, когда они не ударят, как гром врасплох, когда на свободе можно обдумать, подготовиться, хладнокровно взвесить, как и что сделать...

— Да говорите же скорей, Вейнгардт, что случилось? Не мучьте, ради Бога!— умолял окончательно встревоженный царевич.

— Вот вы уже и стали волноваться, а в таких случаях

главное дело не теряться...— советовал секретарь, соображая, как бы эффектнее и чувствительнее ударить и так уже в полумертвого Алешу.— Вот видите ли, вчера ваш граф Толстой, который, надобно сказать, мой дорогой принц, мне чрезвычайно не нравится, получил какие-то известия, какие именно, я не могу сказать, я не читал их сам, а Толстой их никому не открывает... Но, должно быть, известия для него приятные, такой веселый стал. Вчера же и мой фельдмаршал получил депеши от двора, в дополнение к прежним, все о том же, какие меры предпринять в случае, если гишпанский десант высадится у Неаполя. Из Вены пишут, что к нам посланы новые войска на подкрепление, все это, конечно, для вас не любопытно, но вот что, дурное-то в самом конце... В инструкции говорится, что ввиду таких усложнившихся обстоятельств и ввиду прощения, данного вам отцом, император велел Дауну передать вам, что далее продолжать протекции он своей не может, силою защищать вас не будет, так как с его стороны сделано все, что было возможно... и наконец, что он советует вам смириться и ехать к отцу. Царь дал торжественное обещание простить вас, а следовательно, и опасаться нечего.

— Опасаться нечего! Цесарь не знает моего отца, а я его знаю!— с горечью выкрикнул царевич.— По наущению, в сердцах он готов убить... и убьет, не посмотрит на свое слово. Нет, если цесарь от меня откажется, то я убегу в Рим к Папе...

— Как знаете, принц, обдумайте, времени теперь еще довольно.

— Вы говорите, Вейнгардт, что новостей много, какие же еще?

— Другие-то? Ну другие не так важны... и... мне хотелось... после как-нибудь...— как будто затруднялся Вейнгардт.

— Говорите, говорите все... не стесняйтесь. Здесь посторонних никого нет, от моего друга я ничего не скрываю... Говорите при нем.

— Если вы этого непременно требуете... Цесарь в конфиденциальном письме своем к фельдмаршалу пишет, будто бы ему стало известно о постоянном пребывании с вами какой-то женщины... Находя такое пребывание не совсем приличным... у него, как у свояка, цесарь приказал вице-королю немедленно же отделить от вас ее... и отправить, куда она пожелает.

Это известие было верно рассчитанным ударом, прибреженным до конца. Царевич мертвенно побледнел, задрожал и судорожно схватился руками за сердце. Отнять Афросю, мать его будущего ребенка, отнять именно тогда, когда она стала дороже для него собственной жизни... Нет, это невозможно, этого перенести царевич не мог. Афросю тоже поразила новость, она вскопчила, протянула руки к царевичу, как будто желая ухватиться за него, и с хриплым криком упала без чувств.

Царевич бросился к ней, засуетился по комнате, отыскал воду и стал брызгать ею лицо и грудь Афроси. Скоро она пришла в себя, и как женщина, не знакомая с уловками нынешних светских дам, сама же принялась успокаивать Алешу. Вейнгардт исчез — он заработал червонцы...

Когда они оба несколько успокоились и были в состоянии говорить о своем положении, царевич вдруг круто повернул свое мнение, решительно объявив Афросе, что он воротится к отцу, откажется от наследства и что будут они жить где-нибудь в отчинах мирно и счастливо. Наговорившись досыта о своем будущем житье-бытье, царевич отправил записку к графу Толстому:

«Петр Андреевич! Буде возможно, побывай у меня сегодня же один и письмо, которое получил от государя-батюшки, привези с собою. Самую нужду имею с тобою говорить и полагаю, что не без пользы будет».

Вечером приехал к царевичу граф Петр Андреевич, но не один, а с фельдцейхмейстером Венцлем и Вейнгардтом, в свидетельстве которых теперь нуждался он, а не царевич. Алексей Петрович отвел Толстого в сторону и тихо, долго расспрашивал его, когда и какое письмо тот получил от государя.

— Действительно, получил я вчера собственноручное письмо от государя,— сообщил граф,— в котором его царское величество пишет, будто намерен доставить тебя оружием, для чего войска оставил в Польше, расположив их на границе Силезии. Да и о том еще изволит писать, что хочет сам приехать сюда.

— Отец!.. Сюда!.. Сохрани Бог!.. Этого не может быть!..— забормотал сын, задрожав от одного предположения такого несчастья.

— Как не может быть? Да кто же может запретить видеться отцу?— стал развивать граф свою удачную выдумку.— И не думай, что этого не может случиться — трудности никакой нет; нужно только изволение его вели-

чества, а ты сам знаешь, что он давно собирается посетить Италию... теперь же всенепременно поторопится.

— Нет... нет... я сам поеду к нему... я решился... только бы не ехал... пусть назначит мне жить где-нибудь в деревне; да не отнимает Афросю... Приезжай завтра, ты получишь мой решительный ответ.

Этот решительный ответ сложился в сердце царевича с того момента, когда он услышал от Вейнгардта о распоряжении отнять от него Афросю. Тягучая природа Алексея Петровича могла вынести лишение протекции цесаря и грозное известие о приезде отца, но не могла представить себе возможности разлуки с Афросей, с другом, в котором сосредоточились все его привязанности,— с матерью его ребенка.

И действительно, на другой день утром, когда снова приехали в Сент-Эльмо граф Даун и обычные посетители, граф Петр Андреевич, Румянцев, фельдцейхмейстер Венцль и Вейнгардт, царевич ясно и отчетливо высказал, обращаясь к графу Толстому:

— Я еду с вами в Россию. Только об одной милости прошу тебя, Петр Андреевич, исходатайствуй у государя-батюшки позволение мне жениться на Евфросинье до приезда моего в Петербург.

— Сегодня же буду писать о твоём желании государю, и хотя его величество ничего не изволил мне приказывать насчет этого сюжета, но, зная его желания, могу тебя обнадежить в согласии,— утвердительно отвечал граф Толстой.

— А тебя, господин фельдмаршал и граф,— сказал царевич, обращаясь к графу Дауну,— прошу отписать цесарскому величеству мою всенижайшую просьбу отправить наперед к моему родителю надежного человека умиловить его гнев на меня.

Оба желания царевича были исполнены.

Петр Андреевич в тот же день настрочил длинное послание к другу своему барону Шафирову для доклада государю о желании сына.

«На это желание царевича,— писал он,— можно согласиться, во-первых, для того, что тем на весь свет он покажет, что ушел не от какой обиды, а только для своей девки; во-вторых, очень огорчить цесаря, который уже ни в чем ему верить не будет. Если государь на то позволит, то написал бы ко мне, при других делах, чтобы я мог письмо ему показать, но не отдать; если же рассудить,

что это не надобно, написал бы ко мне, что я ему доносил и что желание царевича будет исполнено в С.-Петербурге. Он будет обнадежен и не станет мыслить чего иного. Я с своей стороны думаю, что можно бы позволить: все государство увидит, какого он состояния».

Петр Андреевич не ошибся расчетом на согласие Петра, да, впрочем, ему и не было особенной нужды заботиться, будет ли исполнено обещание или нет — главное дело кончено, царевич в руках, и миссия его выполнена с успехом, несмотря на все препятствия.

Послы заторопились отъездом.

VII

Трудное дело сломил Петр Андреевич, получив согласие царевича воротиться домой, но этим еще далеко не исчерпывалась вся трудность, это еще не было полным успехом. Царевич мог каждый час изменить свое решение и мог отказаться от данного слова, а пока они находились в цесарских владениях, было невозможно прибегать ни к принуждению, ни к крутому насилию. Необходимо стало сблизиться и не допустить возможность перемен. Ввиду этого Петр Андреевич волей-неволей становится милым, преданным человеком, нежно заботливым, внимательным, ревниво, как любовница, охраняющим от всякого постороннего искуса, как мать, оберегающим от пагубного влияния, неустанно следящим за каждым шагом, за каждым движением, зорко наблюдающим за всеми, кто обращался к царевичу. Тяжелая работа для Петра Андреевича, но он выполнил ее добросовестно.

Как ни стремились послы скорее выбраться из опасных цесарских владений, но принуждены были отсрочить отъезд; теперь их воля пока временно ограничивалась волею слабого. Алексей Петрович пожелал пред возвращением на родину поклониться мощам Святого Угодника Николая, у гроба чудотворного святителя испросить его защиты и заступничества на новом пути; и Петр Андреевич должен был ехать с царевичем в Бари, трястись по испорченной дороге и потерять драгоценного времени дней десять. Только около половины октября, уже по возвращении из Бари, они отправились по заранее составленному маршруту на Рим, Венецию, Инспрук, Вену и Берлин.

К счастью, Петру Андреевичу помогали верные союз-

ники: сначала граф Даун с талантливым секретарем, желавшие как возможно поскорее избавиться от опасного гостя, а потом сама Афрося. Петр Андреевич скоро подружился с Афросей. Искусно и ловко он вошел в доверенность к молодой женщине, не подозревавшей никаких злых умыслов, уверяя ее в своем искреннем доброжелательстве, рисуя ей будущее в самых заманчивых красках, безуданно говоря с ней о царевичевых вотчинах, о его хозяйстве, о счастливой жизни в деревне; и Афрося, счастливая и повеселевшая, сделалась невольно самым послушным и надежным оружием Петра Андреевича. Деятельнее всех она торопила отъезд.

Под влиянием радужных надежд Афроси и рассказов графа Толстого ободрился и сам Алексей Петрович. По словам Петра Андреевича, отец в последнее время, с тяжелой болезнью в Петербурге и от истощения сил в заграничных походах, заметно стал мягче, снисходительнее и как будто менее занят воинскими делами.

Царевич с Афросей и послами, все вместе, выехали из Неаполя в половине октября. Как будто нарочно, с целью изгладить восторги царевича чудным небом и морем Италии, природа во все время их пути старалась разочаровать самыми ненастными и отвратительными днями. Дожди, лившие ливнями с утра до вечера, испортили дорогу до невозможности ехать по ней, не рискуя сломать головы, и наши путешественники на первой же станции, в Аверзе, принуждены были остановиться на продолжительный отдых. Мрачное небо наваяло и мрачные мысли. На царевича снова налегли тоскливые опасения за свою жизнь и за будущность милой Афроси. Пользуясь отдыхом в Аверзе, он написал письмо к отцу, в котором снова подтверждал добровольность своего возвращения, так как добрая воля обуславливала право на милость и прощение. Здесь же еще с большей настойчивостью царевич стал упрашивать Петра Андреевича описать отцу о непременном исполнении обещания относительно женитьбы на Афросе до въезда в русские пределы, угрожая в случае отказа в австрийских владениях. Петр Андреевич успокаивал, заверяя в своем ходатайстве и в непременном согласии отца; и он действительно отправил новое ходатайство к царю.

Эти письма сына и графа из Аверзы царь получил через месяц уже по возвращении своем в Петербург и в тот же день отправил ответы. К коротенькому извещению

сыну о получении письма и о своем ожидании скорого прибытия царь в особой приписке добавил: «Писал нам господин Толстой и Румянцев о вашем желании, о чем я позволил и написал к ним пространно, в чем и будьте благонадежны». В письме же к Толстому и Румянцеву действительно говорилось подробнее: «Мои господа! Письмо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению, с вами сюда поехал, меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем,— и в том весьма ему позволит, когда в наши края приедет, хотя в Риге или в своих городах, или хотя в Курляндии у племянницы* в доме, а чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Буде же сомневается, что ему не позволят, и в том может рассудить: когда я ему так великую вину отпустил, а сего малого дела, для чего мне ему не позволять? О чем и наперед чего с Танеевым писал, и в том сего обнадежил, что и ныне паки подтверждаю; также и жить, где хочет, в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежить его».

Хотя это письмо и было получено значительно позже, но Петр Андреевич, вероятно знавший о согласии царя на свадьбу сына и на житье его в деревне, смело уверял царевича, божился и клялся. Алексей Петрович успокоился и выехал из Аверз в Рим, куда прибыли не ранее как через две недели. Дороги сделались не только не проездными, но даже непроходимыми, и дальнейшее путешествие Афро-си с царевичем становилось невозможным. Петр Андреевич чуть не ежеминутно торопил царевича ехать скорее в его же личных интересах, а между тем положение больной женщины требовало очень не больших переездов и долгих остановок.

В Риме молодые люди расстались: царевич с графом Толстым и Румянцевым уехали вперед через Венецию на Инспрук, потом на Линц и на Вену. Уговаривать царевича ехать отдельно вперед Петр Андреевич имел особую уважительную причину, которую, разумеется, он никому тогда не высказал. Перед выездом из Неаполя царевич высказал графу Дауну свое неперемное желание в проезде через Вену, быть у императора и лично благодарить его за участие. Это желание Алексей Петрович несколько раз выра-

* Имеется в виду герцогиня курляндская Анна Иоанновна, будущая императрица России, приходившаяся племянницей Петру Первому. (Прим. ред.)

жал и в продолжение пути, но именно этого-то свидания нельзя было допустить. При взаимных объяснениях неизбежно должен был обнаружиться обман относительно отказа цесаря от вооруженной защиты, а это, с своей стороны, неизбежно повело бы к изменению решения царевича. Следовательно, необходимо было отвлечь царевича от свидания и проехать через Вену незаметно, налегке, без больной женщины и без большого поезда. Трудно было уговорить царевича расстаться с Афросей, но когда это удалось, то остальное вполне уже зависело от личных распоряжений Петра Андреевича.

Из Линца граф Толстой отправил в Вену эстафету к резиденту Веселовскому, в которой просил его к четвертому декабря приехать в Нусторф, никому не рассказывая о цели своей поездки, а по приезде в Нусторф, повидаться только с ним одним, то есть с графом Толстым. Согласно с полученным приказанием, Веселовский действительно приезжал в назначенное время в Нусторф, откуда и воротился домой с должными инструкциями.

Четвертого декабря, поздно вечером, царевич с свитой своей приехал в Вену. Его фургон, ничем не отличавшийся от обыкновенных экипажей лиц среднего класса, смиренно проехал через весь город, к дому русского резидента, не возбуждая любопытства ни собак, ни уличных мальчишек, и даже — вещь совершенно необыкновенная — не обратив на себя внимания самой фрау-булочницы, соседки резидента, которая зорко следила за всеми прохожими и проезжающими по улице вообще, а в особенности за проходящими и проезжающими в дом резидента. Фургон, лошади, сбруя и кучер до того выглядели обыкновенными, даже мизерными, что любознательная из любознательнейших фрау во всей Вене не потрудилась послать, как она этого делала обыкновенно, своего шустрого мальчугана к соседям разузнать досконально, кто именно приехал, зачем почему и надолго ли?

Во весь следующий день тоже ничего особенного не происходило в доме резидента, никакого шевеления; все шло обыкновенным порядком, не было куплено ни одной лишней булки, никакого лишнего приготовления на кухне; а шестого числа рано утром, до того рано, что сама любознательная фрау была еще в постеле, тот же мизерный фургон выехал, не гремя и не задевая ничего, из ворот дома Веселовского и, слегка покачиваясь, покатился по дороге в Брюн. Но, несмотря на все предосторожности,

судьбе угодно было не оставить совершенно без последствий проезда русского царевича через Вену.

Если фрау и допустила себе вначале непростительную оплошность, то все-таки хоть и по отъезде фургона, но дозналась о каких-то странных гостях резидента, которые как будто особенно желали не быть замеченными. Фрау подробно расспросила соседнюю прислугу о наружности приезжавших гостей, с полною добросовестностью принялась за расследование, но, не выяснив ничего, в тот же день как любопытную новость рассказала своему другу кузену, начальнику полицейской охраны своего квартала.

Полицейский страж, имевший уже сведения о скором прибытии русского царевича, догадался, кто были известные гости резидента, расспросил сам прислугу и поспешил тотчас же донести об этом кому следует по начальству, которое, с своей стороны, донесло выше, и, наконец, известие достигло до ушей самого австрийского цесаря. Спросили Веселовского, и догадки вполне подтвердились.

Известие о таком таинственном проезде Алексея Петровича встревожило императора и заставило его с неслыханной поспешностью в тот же день или даже в тот же час отправить курьера в Брюн к Моравскому генерал-губернатору графу Колоредо с следующим секретным приказом: «Царевич, испросив дозволение благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, пятого декабря поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюн, не быв у меня; да и Толстой никого из моих министров не посетил. Из этого беспорядочного поступка ничего другого нельзя заключить, как то, что находящиеся при нем люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу. Я счел нужным послать вам как можно поспешнее этого курьера с повелением, когда царевич придет в Брюн, задержите его под каким-нибудь предлогом, хотя оказанием почестей, постарайтесь видеться с ним наедине и спросите его моим именем: как и по каким причинам допустил он уговорить себя возвратиться к отцу? Действительно ли не был принужден к тому силою? И точно ли не имеет подозрения и страха, побудившего его искать моего покровительства? Если он переменил свое намерение и скажет, что охотно желает не продолжать своего путешествия, примите все нужные меры к удобному его помещению и смотрите, чтобы люди его чего с ним не сделали; впрочем, поступайте с ним прилично до получения моего повеления. Если

же царевич намерен продолжать путешествие, дайте ему полную волю».

Граф Колоредо, получив это приказание от курьера, опередившего царевича только несколькими часами, тотчас же по приезде русских высоких путешественников, послал к ним в Вюрцгауз своего секретаря узнать: когда будет угодно его высочеству принять господина генерал-губернатора. Через несколько минут воротился секретарь с странным известием: будто в числе приезжих русского царевича *in persona** нет; так по крайней мере отозвался ему старший из русских послов. На следующее утро сам граф Колоредо отправился к ним в Вюрцгауз, но и ему ответили уклончиво, будто царевич никого не принимает. Тогда генерал-губернатор вошел в комнату графа Толстой с настойчивым требованием доложить о себе царевичу

— Царевич крайне утомлен с дороги и не желает никого принимать... Притом же он спешит и уже распорядился немедленным выездом,— сухо и коротко отвечал граф Толстой.

— Но я имею положительное приказание от его цесарского величества явиться лично к царевичу и засвидетельствовать ему от имени императора добрый комплимент.

— Комплимент передам царевичу я, а вам видеть его лично нельзя,— решительно объявил граф Толстой.

— Но в таком случае я должен просить у его величества инструкции, как поступить в таком странном обстоятельстве, а вас, граф, должен просить не выезжать отсюда до получения разрешения императора.

— И этого нельзя,— возразил Толстой,— царевич спешит, и мы сейчас выезжаем.

— А я как генерал-губернатор его цесарского величества имею честь вам сообщить, что вы не выедете до получения указа императора,— официальным тоном объявил граф Колоредо.

— Что ж это такое? А фронт? Арест? Я требую доставить мне двух курьеров для отправления их в Вену и Петербург с жалобами на вас, господин генерал-губернатор!— почти закричал граф Толстой.

— Никакого афронта и ареста нет, а только торжественнейшее требование с моей стороны личного свидания с его высочеством для засвидетельствования учтвого комплимента моего императора, а так как в этом мне

* Собственной персоной, лично. (Прим. ред.)

отказывается, то я и принужден вас просить обождать разрешение цесаря, тем более что царевич, как вы сами сказали, чрезвычайно утомлен, а следовательно, и имеет нужду в отдохновении,— объявил граф Колоредо, оканчивая объяснения.

Воротившись домой, генерал-губернатор тотчас же от правил курьера в Вену с подробным рассказом своего свидания с графом Толстым и с требованием дальнейших инструкций, а между тем озаботился устройством такой обстановки, которая бы временному задержанию давала вид официальных почестей. По предложению графа Колоредо, весь магистрат доброго города Брюна в полном своем составе явился к царевичу с поздравлением, но он не был принят под предлогом Рождественского поста, когда будто бы у русских не допускаются никакие торжественные празднества. Затем начались приношения: от магистрата свежую рыбу, а от графа Колоредо разными винами, дичью и фруктами, все эти приношения были приняты с благодарностью; обратно отосланы были только экипажи, присланные генерал-губернатором на случай желанья царевича осмотреть город.

Точно так же с изъявлениями учтивостей к графу Толстому приезжал секретарь генерал-губернатора с тою же просьбою, выраженною в самой тонкой учливой форме, остаться до получения ответа от императора.

— Мне никак непонятно,— резко высказал граф Толстой секретарю,— как можно арестовывать за то, что царевич не желает слушать комплиментов.

— Но, ваше сиятельство, разве можно назвать арестом намерение нашего все милостивейшего императора изъять дружбу его царскому величеству в лице кронпринца?— находчиво отозвался секретарь.

— *Adesso e l'amicitia passata; questo non può restare così, et si vedesa cosa che ne seqnira**,— проворчал Толстой.

— Последует то, ваше сиятельство, что через несколько часов получится разрешение.

— Увидим... увидим,— перебил Толстой,— а я все-таки требую немедленного доставления ко мне курьера для посылки к моему государю, от которого я буду ждать ответа.

* Теперь дружба миновала.. это не может так остаться, и увидим, что будет (Прим. авт.)

Секретарь изъявил полнейшую готовность исполнить требование; но не только курьер не явился, но даже были приняты все меры к устранению всякой возможности к пересылке какого бы то ни было сообщения.

Через несколько часов получилось распоряжение императора, в котором предписывалось графу Колоредо добиться личного свидания с царевичем во что бы то ни стало, даже силой; при свидании доложить царевичу, что расположение к нему цесаря не изменилось, что цесарю приятно было бы его видеть в своей столице; если после того царевич пожелает ехать далее, то не делать никаких препятствий, но если изменить намерение, то остановиться отправлением, впредь до особого распоряжения.

Так как это приказание было получено вечером в девять часов, когда царевич уже лег спать, то граф Колоредо на другой день утром, часов в восемь, опять послал к Толстому своего секретаря с объявлением приказа императора о немедленном и личном выражении комплимента кронпринцу.

— Я же вам говорил, что царевич не хочет слышать комплиментов и не желает видеть вашего генерал-губернатора, — с грубостью отвечал граф Толстой.

— В таком случае, господин генерал-губернатор, к крайнему своему сожалению, должен будет обойтись без вашей помощи и лично распорядиться аудиенцией, — официально объявил секретарь.

— Хорошо, аудиенция будет; что же вы станете делать после комплиментов? — спросил Толстой.

— Когда поручение цесаря будет выполнено, тогда и царевичу можно будет продолжать свой путь, — обнадеживал секретарь.

— Ну это еще вопрос... Так как я послал уже царю донесение о нашем задержании, то, может быть, мы и останемся ожидать его распоряжения, — высказал граф с угрозой, хотя никакой жалобы не отправлял да и отправить не мог. — Впрочем, переговорю с царевичем, когда он может принять вашего генерал-губернатора... Сегодня утром он занят, а когда будет можно, я пришлю курьера.

Но прошло несколько часов, а от Толстого не было никакого ответа. Два раза измученный секретарь ездил к графу Толстому с напоминанием и угрозами, что в случае дальнейшего упорства генерал-губернатор силою заставит принять себя; наконец-то после полудня прискакал курьер

с известием, что царевич назначил быть аудиенции в пятом часу.

Ровно в четыре часа граф Колоредо явился в приемную царевича, где нашел капитана Румянцева и еще какого-то немца, принятого послами в услужение. Вскоре вышел к ним царевич в сопровождении Толстого.

— Мой всемилостивейший император, с крайним сожалением узнав о проезде вашего высочества через Вену, не повидавшись с ним, приказал мне изъявить вашему высочеству, сколь ему было бы приятно видеть вас у себя и вместе с тем приказал доложить, что его величеством дано распоряжение о доставлении вам полного удовольствия в австрийских владениях... если ваше высочество пожелаете продолжать свой путь. Что же касается до настоящего несчастного промедления, то оно произошло единственно из доброго расположения к вашему высочеству со стороны его величества цесаря.

На эту речь царевич отвечал изъявлением своей глубочайшей благодарности за расположение цесаря и личную просьбою к графу Колоредо представить его величеству нижайшие извинения в том, что не мог быть у императора в Вене за неимением экипажей и за беспорядочным дорожным видом.

Этими речами и ограничилась аудиенция. Что побудило царевича возвращаться в отечество и почему именно переменилось его намерение — об этом не было высказано ни слова в присутствии послов, видимо стороживших каждое слово.

Граф Колоредо уехал, а вслед за тем выехал из Брюна и царевич с послами. Это была последняя неудавшаяся попытка австрийского правительства, с целью — нельзя ли воспользоваться семейными делами русского царя в политических отношениях.

VIII

В первых числах наступившего 1718 года царевич въехал в русские пределы; десятого января проехал Ригой, через неделю Новгородом, в четыре дня проехал расстояние от Новгорода до Твери и в последний день, тридцать первого января, в пятницу, въехал в Москву. Морозом встретила родина своего любимца, надежу-наследника, таким морозом, от которого мозг леденел и костенели члены,

морозом нестерпимым, в особенности после мягкого воздуха Италии. Да, впрочем, и без мороза царевич во весь почти двухмесячный переезд находился в каком-то полусознательном состоянии, благодаря зоркой, неутомимой внимательности нового пестуна своего, Петра Андреевича. Под двойным влиянием угощений графа, особенно обильных во время проезда австрийскими владениями, и ужаса от предстоящей встречи с отцом мозг царевича казался парализованным, а нервы угнетенными до невосприимчивости к внешним впечатлениям.

Одна только мысль не поддавалась никакому давлению, одна только она всплывала каждый раз при малейшем пробуждении духа — это память о милом друге Афросе. Глубокой нежностью к ней дышат все письма, которые он отправлял к ней с дороги, при всяком удобном случае. «Матушка моя, друг мой сердечный, Афросинюшка! Здравствуй о Господе! Я приехал из Инспрука вчера, в добром здоровье, и, ночевав здесь, поедem в Вену водою. И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом, а дорогою себя береги. Поезжай в летиге, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога каменистая: сама ты знаешь; а где захочешь, отдыхай, по сколько дней хочешь. Не смотри на расход денежный; хотя и много издержишь, мне твое здоровье лучше всего. А здесь в Инбурхе, или где-инде, купи коляску хорошую, покойную... Пиши, свет мой, ко мне, откуда можно будет, чтобы мне, маменькину руку видя, радоваться. Засим тебя и с маленьким Селебеным вручаю в сохранение Божие. Верный твой друг Алексей».

Во всех письмах царевича выражается самая преданная, любвеобильная, даже мелочная заботливость о здоровье и удобствах милого друга. По въезде в отечество он тотчас же распорядился отправкой к ней, как к будущей жене своей, достаточного комплекта женской прислуги и священника. Любовь подсказывала ему такую утонченную деликатную нежность, на которую способна только развитая любящая природа. Он затаивает в себе свое страдание, не пугает ее, а, напротив, ободряет, показывает себя совершенно спокойным и верующим в будущее счастье. «Слава Богу, все хорошо,— пишет он к ней из Твери,—и чаю, меня от всего уволят, что нам жить с тобою, буде Бог изволит, в деревне и ни о чем нам дела не будет. Пожалуй, друг мой, не верь, какие будут о моем приезде ведомости до моего письма, понеже знаешь, что в немецких ведомостях много неправды. Для Бога не печалься, все Бог управит»

Афрося не печалилась и не терзалась за своего друга. В ее письмах нет нежной заботливости Алеши; Афрося принимает предупредительность царевича как должное, за которую она благодарит, удостаивая писать в своих ответах несколько начальных строк собственной рукою. Она то благодарит за присылку рецепта, то спрашивает совета, пустить ли ей кровь, и если пустить, то сколько унций; описывает поездку свою в Венеции на гондоле музыку слушать, так как «опры» и комедий не застала, уведомляет о покупках своих: материи золотой, за которую заплатила 167 червонных, креста из камней, серег и лалового перстня; благодарит за гостинцы и просит о присылке к ней разной провизии: паюсной, черной, красной зернистой икры, соленой и копченой семги, всякой рыбы, сетков белозерских и круп гречневых, но никаких сердечных излиний, в которых обыкновенно высказывается привязчивая женская душа. Ехала Афрося тоже не торопясь, отдыхая по несколько суток и забавляясь доброй компанией; в половине февраля она только что приехала в Берлин, не подозревая той страшной грозы, которая гремела в Москве над ее милым другом.

Между тем на родине всех, от мала до велика, от серого крестьянина до важной высокопоставленной персоны, всех лихорадочно тревожил вопрос о возвращении царевича, но далеко не под одним и тем же чувством. Побег царева наследника поразил всех; но когда смутные толки об убийстве царевича улеглись, когда выяснилось, куда он убежал, где живет, под какой сильной протекцией находится, тогда почти все, за исключением только немногих, прямо заинтересованных в новшествах, успокоились, благословляя его издали и ожидая с терпением того времени, когда он вернется целителем ран, нанесенных беспокойным государем. Сам отец догадывался об этом общенародном чувстве, сильно подозревая его во всех, а в особенности у бородачей; не без умысла допрашивал он почтенного митрополита Рязанского, что думает тот о поступке сына. Достойный иерарх очутился в затруднительном положении. В душе своей он ободрял поступок сына, но высказать это одобрение отцу — значило бы сгубить себя и еще более повредить сыну. Приходилось лгать; но так как до прямого грубого лганья не могла унизиться честная душа доброго иерарха, то он и поспешил отозваться уклончиво

— Что ж, ему здесь и делать нечего; вероятно, он желает за границей поучиться.

Государь, проницательно взглянув на святителя, с недоумением проговорил:

— Если ты это говоришь мне в утешение, так хорошо, но если иначе, то слова твои — Мазепины речи.

Слабого митрополита до того поразил быстрый, испытующий взгляд и слова государя, что он заболел, слег в постель и долго не мог оправиться.

Но если никто не смел высказать самому государю своей мысли, то она высказывалась между собою всеми, говорилась не стесняясь не только в народе или духовенстве, но даже и между придворными, за спиной государя.

— Когда сюда царевич приедет, ведь не век же он там жить будет, — говорил, например, Иван Нарышкин в кругу своих знакомых, — так, чаю, он уберет светлейшего князя с прочими, да и учителю Никифору с роднею достанется — ведь продавали царевича князю.

И вдруг среди этих толков и предсказаний о будущих расплатах неизвестно откуда пронеслась молва о возвращении царевича по настоятельному требованию отца. Стали гадать, почему именно возвращается, отчего и какая судьба ожидает беглеца...

— Иуда, Петр Толстой, обманул царевича, выманил его... ему ведь не первого кушать, — объяснил тотчас же Иван Нарышкин тем же знакомым; и все согласились с ним — все были уверены, что сам по доброй воле не вернулся бы царевич, что, верно, Толстой спойл молодого человека или прельстил его какими-нибудь обещаниями.

— Слышал ты, — говорил бесцеремонный прямик, князь Василий Владимирович Долгорукий, близкому своему знакомцу, князю Богдану Петровичу Гагарину, — что царевич-дурак сюда идет на то, что отец посулил женить его на Афросинье? Жолв ему, не женитьба! Черт его несет! Все его обманывают нарочно!

Князь Василий Владимирович выразился жестко, ругательно, но высказался правдиво. Не женитьбу, а розыск, страшный розыск, вероятно такой же, какой был лет двадцать назад над стрельцами и при одном воспоминании о котором волосы становились дыбом. Но на кого же падет этот розыск? Разумеется, на тех, кто принимал хоть какое-нибудь участие в побеге...

Из непосредственных участников побега был только один Александр Васильевич Кикин, постоянно советовавший царевичу убежать и искавший для него местечко за границей. И всполошился же теперь Александр Ва-

сильевич больше всех, заметался затапывать дорожку своих следов и принялся обдумывать: какие могут быть против него улики и как бы их замести. Первым делом его было послать за единственным свидетелем его отношений с царевичем, за камердинером Иваном Большим Афанасьевым

— Знаешь ли, царевич сюда едет?— сообщил он Ивану Афанасьеву, когда тот явился по его призыву.

— Не знаю,— хладнокровно отвечал Афанасьев,— слышал только от царицы, когда она навещала царевичевых детей, будто Алексея Петровича встречали в Риме.

— Верно тебе говорю, едет... и зачем это он делает? Ведь от отца быть ему в беде, да и другим пострадать напрасно,— продолжал допытываться Кикин.

— Какой беде? Буде, что до меня дойдет, я что знаю, то все и скажу,— добродушно высказался Афанасьев.

— Что ты! Что ты! Как это можно!— испугался Александр Васильевич.— Ведь ты сам себя умертвишь. Вот и до меня... Пожалуй, прошу тебя, а ты и другим поговори, чтобы все они показали, будто я у царевича до побега давно не бывал... А лучше бы тебе скрыться куда-нибудь! Поехать бы тебе навстречу к царевичу и доложить бы, что отец сердит, хочет суду предать его... для этого и собраны все архиереи в Москве.

— Не смею ехать... боюсь... дознается светлейший князь... беда тогда,— отрещивался Афанасьев,— нешто послать брата...

— Ну, пошли брата,— согласился Кикин,— а я ему выхлопочу подорожную за вице-губернаторскую подписью, без ведома князя.

Через несколько дней подорожная за вице-губернаторскую подписью действительно была выхлопотана, но ни Иван Афанасьев, ни брат его не поехали, побоявшись светлейшего, а царевич так и остался неведущим о предстоящей ему судьбе...

По приезде в Москву поздно вечером царевича поместили в Кремлевском дворце. Назябшись на тридцатиградусном морозе и измятый двухмесячной дорогой, царевич тотчас же заснул богатырским сном и проспал вплоть до полудня другого дня, без всяких тревожных сновидений и не проснувшись ни разу. Первый предмет, на который упали глаза его при пробуждении, было самодовольное, улыбающееся лицо своего дорожного пестуна, Петра Анд-

реевича Толстого, уехавшего при выезде из Риги вперед для свидания с царем.

— Долго же спал, царевич, видно, не то что на чужой стороне,— поздравил Петр Андреевич царевича,— не видел ли чего во сне? Говорят, что на новом месте бывают сны вещие.

— Ничего не видел, Петр Андреевич, да и какое же новое место? Все, кажется, здесь по-старому,— отвечал царевич.

— Не к старому, Алексей Петрович, дело идет, а к новому,— с странной улыбкою проговорил Петр Андреевич.

Но царевич не обратил внимания ни на загадочный смысл речей старого спутника, ни на его лукаво прищуренные глазки. Алексей Петрович совершенно спокойно стал одеваться.

— Петр Андреевич,— обратился он к графу, оканчивая свой утренний туалет,— виделся ты с батюшкой?

— Виделся, царевич.

— Что он... сердит?

— Как на кого... на иного сердит, а ко мне благосклонен.

— Если к тебе благосклонен отец, так окажи мне свою милостивую протекцию, умилиativi его ко мне, дабы мне явиться на его очи в добрый час,— жалостливо взмолился царевич.

— Я об тебе и так не мало хлопотал и хлопочу, царевич, не знаю только, в угоду ли тебе будет, а насчет явки твоей к отцу, так отложи попечение... Государь не приказал допускать тебя к нему до особого его приказа.

— Что же это значит, Петр Андреевич? Ведь он помиловал меня?

— Помиловать-то помиловал, а... да потерпи, он тебе сам скажет свою резолюцию...

Царевич задумался. В душе своей он рад был отсрочке свидания, о котором во всю дорогу не мог подумать без ужаса, но вместе с тем ему сделалось тревожно и холодно от этого распоряжения. Помолчав несколько минут, он снова обратился к Петру Андреевичу.

— Об моем деле, граф, ничего не узнал?

— Об каком это деле твоём, царевич,— как будто не догадываясь, переспросил граф Толстой.

— Да вот насчет того... женитьбы-то моей на Афросинье?

— Не успел, царевич, лучше уж сам спроси, когда она приедет.

— А когда она приедет, Петр Андреевич, как ты думаешь, где она теперь?

— Где? Чаю, в Берлине. Когда мы были в этой резиденции, я приготовил ей там знатное помещение, спокойное. Ежели придет ей время там родить, так ни в чем недостачи не будет — женщин и бабуку туда отправил.

— Спасибо, Петр Андреевич, век не забуду твоей услуги.

— Погоди благодарить-то, может, еще и не будешь доволен моей услугой,— как-то насмешливо отозвался граф Толстой.

Но и на этот раз Алексей Петрович не придал никакого значения странным словам графа и, видимо, заторопился.

— Да ты куда одеваешься-то, царевич? Никак, собрался выходить?

— Хочу проведать духовного своего... отца Якова, а потом навестить князя Василия Владимировича либо князя Якова Федоровича.

— Не трудись напрасно, тебе запрещено выходить.

— Как запрещено?— испугался царевич.

— Да так. Велено наложить на тебя арест, и шпагу, пока ты спал, от тебя отобрали.

— Стало, меня судить будут?— упавшим голосом, едва слышно проговорил Алексей Петрович.— За что же судить? Я ничего такого не сделал. Если виноват, что отдавался под протекцию цесаря, так в этой вине милостивое прощение получил... Судить... розыск... Боже мой! Боже мой!.. Что станется со мной... с моей Афросей...— и царевич ломал себе руки в отчаянии. Он знал, к чему обыкновенно ведет отцовский суд, какими средствами допытываются нужные речи... За истерическими порывами отчаяния следовало, нередкое у царевича, полусознательное состояние, оупелость нервов и возможность автоматических движений, без всякого участия воли. Он не заметил ухода услужливого пестуна, не заметил, когда наступил час обеда, машинально ел и пил, не заметил, наконец, как и ночь спустилась. Прошел и другой день — царевича никто не навестил, ниоткуда никакого голоса, словно вымерла вся Белокаменная...

На рассвете 3 февраля большая аудиенц-зала Московского Кремлевского дворца, окруженного тремя лейб-гвардейскими батальонами с заряженными ружьями, быстро наполняется съезжавшимися чинами всевозможных ведомств: духовного, военного, придворного и гражданского. При тусклом свете, с трудом пробивавшемся сквозь узкие окна, залепленные снежными хлопьями, съехавшиеся чины кажутся какими-то странными тенями таинственного собрания, тенями молчаливыми, холодными и торжественными. На всех лицах видна сдержанность, у всех движения как будто связаны не то страхом, не то боязливым ожиданием чего-то необыкновенного; глаза всех с немым вопросом обращены к одному фокусу — к колоссальной фигуре царя, на сумрачном лице которого, всегда таком оживленном, лежит теперь окаменелое выражение беспощадного судьи.

Каким-то языческим грозным богом возвышается в середине залы стройный стан государя, стоявшего отдельно с поднятой курчавой головою, подавшей несколько вперед и с неподвижным загадочным взглядом, как будто вызывающим на борьбу, хотя в душе его давно уже не было борьбы, как давно уже высохли и последние остатки отцовского чувства к старшему сыну.

По движению руки государя распахнулись противоположные двери, и в них появилось бледное, исхудавшее лицо царевича Алексея Петровича, по обоим сторонам которого стояли как телохранители два заслуженных преображенца. Медленно и с заметною дрожью подошел царевич к отцу и упал на колени, наклонив голову к его ногам. Лицо отца оставалось по-прежнему холодно и сурово, никакое чувство не пробилось сквозь напускную торжественность.

— Всему свету известно, сколько попечений и забот прилагали мы о твоём воспитании с самой твоей юности и как оные наши попечения были пренебрежены тобою; всем известно твоё дурное сожитие с покойной достойною супругою, чем возбудил неудовольствие как наше, так и родственника нашего, австрийского цесаря; а к довершению своего непотребного поведения ты посрамил себя тайным побегом из отечества в чужие края, не устыдясь жаловаться там на отца с оскорблением его чести и до-

стоинства,— высказал государь, резко отчеканивая каждое слово обвинения

— Признаю себя непотребным, во всех сих мерзких делах виновным и прошу милостивого помилования,— с рыданием проговорил царевич.

— Чего ж просишь ты ныне?— спросил царь.

Жизни и милости...

— Встань,— наконец решил государь после нескольких минут тягостного молчания,— милость моя тебе обещана, и я об этом еще раз подтверждаю... но с условиями отречения от наследства и открытия всех соучастников побега. Можешь ли выполнить сии условия?

— Выполню, государь, все, что соизволишь приказать.

— В таком резоне напиши мне в сей же момент и при сих же свидетелях свое прошение о помиловании, а мне персонально и конфидентно о своих пособниках.

Царевичу подали белый лист бумаги, и он тут же дрожащей рукою написал свою просьбу:

«Милостивый Государь-батюшка!

Понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя; так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования».

Прочитав прошение и обдумав его, государь пошел в соседнюю залу, сделав знак рукою царевичу следовать за собою.

Об чем допрашивал государь и что говорил царевич в персональном объяснении, осталось между ними тайной, но беседа продолжалась недолго — едва ли царевич в своем растерянном и почти бессознательном состоянии мог сообщить подробные и обстоятельные сведения.

По возвращении же царя и царевича в аудиенц-залу, согласно заранее составленному плану вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, взяв со стола уже приготовленное клятвенное обещание, начал читать его вслух, отчеканивая каждое слово:

— «Я, нижепоименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я, за преступление мое пред родителем моим и Государем, его величеством, и з о б р а ж е н н о е в е г о г р а м о т е и в повинной моей, лишен наследства Российского престола; того ради признаваю

то, за вину мою и недостойнство, заправедно и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом Его той воле родительской во всем повиноватися, и того наследства никогда ни в какое время не искать и не желать; и не принимать его ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего Петра Петровича. И на том целую святой крест и подписуюсь собственной рукою».

Петр Павлович громко и отчеканивая, хотя и с еврейским акцентом, от которого не мог, как ни старался, избавиться, прочел отречение для назидания и вразумления всех; и все действительно, склонив голову, вразумились... не слышал роковых слов только тот, до которого они ближе всех касались, сам царевич... которому, впрочем, и не было надобности слушать: давно уже, более двух лет, эти роковые слова постоянно резали его мозг.

Кончилось чтение. Царь, а за ним и все присутствующие отправились молча, словно похоронной процессией в Успенский собор, где царевич, став перед аналоем, на котором лежали крест и Евангелие, снова уже сам прочел клятвенное обещание, после чего в удостоверение поцеловал крест с Евангелием и подписал нетвердым почерком «Алексей».

Из собора все разъехались по домам; царевич ушел в свою новую арестантскую, а царь к себе в кабинет за усиленную работу с неутомимым помощником, ловким графом Петром Андреевичем. Теперь им предстояло много труда: надобно разогнать гонцов для захвата всех действительных и предполагаемых участников побега, составить обстоятельные вопросные пункты для царевича и окончательно редактировать манифест об отречении от наследства сына. Последняя работа требовала в особенности большого внимания — надобно было соблюсти законность и умело выставить всенародно злодейские поступки сына, которому все симпатизировали и на которого все смотрели, как на законного единственного наследника. И действительно, составленный и в тот же день обнародованный манифест рельефно и красноречиво выставляет все непотребства Алексея Петровича, доказывает его недостойнство, нравственную испорченность и полную неспособность к самодержавию.

«И хотя он, сын наш, за такие свои противные, от давних лет против нас, яко отца и государя своего, поступки, особливо же за сие на весь свет приключение нам бес-

честия чрез побег свой и клеветы, на нас рассеянные, от нас, яко злоречивый отца своего и сопротивляяйся государю своему, достоин был лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем. Однако ж в рассуждении его недостойности и всех непотребных обхождений не можем по совести своей его наследником по нас престола Российского оставить, ведая, что он, по своим непорядочным поступкам, всю полученную по Божией милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили, и не токмо отторгнутся от государства нашего от неприятелей провинции как присовокупили, но и вновь многие знатные города и земли к оному получили, тако ж и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то всем известно.

А тако мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежнего в худое состояние не были приведены, властью отеческою, по которой, по правам государства нашего, и каждый подданный наш сына своего наследства лишит и другому сыну, которому хочет оное определить, волен, и яко самодержавый государь, для пользы государственной, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по нас престола нашего всероссийского, хотя бы ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас помянутого престола наследником другого сына нашего Петра».

Помог находчивый Петр Андреевич государю и в редактировании вопросных пунктов царевичу, которых, впрочем, было тогда сочинено только семь, вероятно ввиду плодотворной деятельности на этом поле в будущем. Все эти составленные вопросные пункты относились к исследованию в общих чертах о том, кто сочувствовал царевичу, с кем он советовался в сочинении ответных писем отцу и, наконец, относительно побега за границу*.

Кончив эту работу, царь на основании словесных показаний царевича о лицах, принимавших в нем более или менее теплое участие, в тот же злополучный день третьего февраля отправил в Петербург к князю Александру Дани-

* Весь рассказ о допросах царевича и всех его сторонников составлен, строго держась подлинного дела, а потому страдает некоторою сухостью, на что читатели, вероятно, не посетуют из уважения к истине. (Прим. авт.)

ловичу Меншикову курьеров Сафонова и Танеева с приказанием захватить Александра Андреевича Кикина, князя Никифора Кондратьевича Вяземского, князя Василия Владимировича Долгорукова, камердинеров царевича Ивана Большого Афанасьева с его братом Иваном Меньшим и служилых Дубровского, Эвернакова с прочими, отобрать от них показания и потом закованными переслать в Москву. Между тем по всем московским дорогам приказано было устроить заставы и расставить офицерские караулы, мимо которых было бы невозможно никому ни выехать из Москвы, ни приехать без представления особо установленных подорожен. Одновременно с этими распоряжениями отправлен был и другой курьер, капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка Григорий Петрович Скорняков-Писарев, в суздальский Покровский монастырь для самого тщательного исследования: какое участие в деле царевича принимала его мать, инокиня Елена. Правда, на это участие не было никакого указания, не было оговора и от сына, но государь, может быть под влиянием невольного сознания в своей жестокой несправедливости к неповинной жене, твердо был уверен в существовании интриг, заговоров поборников старины, в числе которых, конечно, первое место занимала постриженная государыня и ее родственники. Государю, сделавшемуся болезненно подозрительным, везде чудились крамолы... и он решился воспользоваться делом сына, разъяснить все тайные пружины, схватить всех виновных и вырвать зло с корнем.

Сумрачно и бездеятельно жил Александр Васильевич в последнее время; он казался озабоченным до того, что даже милые капризы и колкости Надежды Григорьевны скользили по нем, не вызывая, как бывало, суетливой готовности исполнять их как можно скорее. По целым часам он ходит по своему роскошному кабинету, все обдумывая, рассчитывая и соображая, но все-таки не решаясь ни на какую меру. Словно другим человеком стал Александр Васильевич, какая-то робость оковала изобретательный ум, и не может теперь этот ум вывести никакой хитрой комбинации, ясный взгляд будто застилается туманом и обставляется фантастическими образами.

Сначала сильно смутила Александра Васильевича весть о возвращении царевича, а потом — известительные письма шурина Баклановского, брата Надежды Григорьев-

евны, служившего денщиком у государя. Из этих писем Александр Васильевич знал, когда царевич выехал в отечество, когда проезжал Новгород, Тверь и когда приехал в Москву; знал, какую цену имеет отцовское помилование, зачем собрано в Москве столько государственных чинов, и знал о неизбежности розыска. Не может же неволью не сознавать он, что этот розыск должен задеть его, что царевич не утаит его деятельного участия, а между тем какая-то неясная надежда все шепчет ему ласковые речи о благополучном исходе, о скромности царевича и о том, что розыск будет только одной формой, направленной единственно к оправданию важной государственной меры — отстранения от законного права прямого наследника.

Последним письмом, которое теперь лежит на столе только что распечатанным и прочтенным, Баклановский извещает о назначенном третьего февраля общем собрании государственных чинов для присутствования при отречении царевича и о предстоящем потом перевозе его из Кремля в Преображенское. Этот перевоз ясно сам собою говорит о серьезности розыска, следовательно, о неминуемой ответственности самого Александра Васильевича, о необходимости скорее скрыться, бежать куда-нибудь за границу, в какой-нибудь глухой уголок, куда никогда не проникнул бы зоркий царский глаз, но в то же время ему становится так невыносимо больно расставаться со всем добром своим, которое стоило немалых трудов и которым не упустят воспользоваться доброжелатели; не менее тяжело расставаться и с женою... Да и зачем же спешить, когда может все еще устроиться и беда может обойти его. Колеблется Александр Васильевич, теряет энергию, начинает не доверять самому себе, начинает искать помощи и совета.

В тяжелом раздумье Александр Васильевич едет к брату своему Ивану Васильевичу, будит его в самую полночь и просит научить его уму-разуму. Спросонок Иван Васильевич долго не мог понять, чего от него просит брат, долго не мог понять отрывистой скороговорной речи и наконец-то, уловив общий смысл полученных известий, высказывается решительно:

— Чего ж тут думать-то? Одно средство — бежать... Какой-нибудь пас достать нетрудно.

— Бежать? Бежать не хитро, — колебался Александр Васильевич, — да как потом-то?

— Что потом-то?

— Как это! Первое, пожитков лишишься... конфискацию учинят... Царь рад будет воспользоваться чужим добром.

— Что поценней захвати с собой.

— Всего нехватишь... земли тут, дворы, лавки.

— Послушай, брат, да тебе что дороже: пожитки иль своя голова? Полагаю, голова дороже. Ну, положим, все твое имущество конфискуют — так, может быть, не надолго... Сам знаешь, каково стало здоровье у государя. После все вернешь с лихвою.

— Оно, конечно, так, а все жаль. Думаю и то, что все может еще обойтись и весь этот розыск только один показ для народа, для вида, предлог к отстранению... Да если и взвалят что, так разве у меня нет ума извернуться...

— Эх, Александр, Александр, точно ты ослеп. Разве не знаешь государя? Если он примется, так до всего доберется и голову тебе первому снесет.

Александр Васильевич, хорошо зная государя, не мог не сознать справедливости слов брата, но, несмотря на это, ослепленный самоуверенностью и обольщенный надеждою все еще колебался.

— А как же жена здесь останется?— снова нашел отговорку Александр Васильевич.— С собою ее взять не могу и оставлять здесь на злобу врагов тоже нельзя...

— Э, брат, об жене не тревожься. Всякая молодая и смазливая баба всегда выйдет из воды сухой, а твоя и подавно. Не беспокойся, с тоски по тебе не помрет, а полезной тебе, пожалуй, еще может быть... Да если бы и стосковалась, так разве нельзя после, когда все успокоится, уехать за границу лечиться.

Наконец, Александр Васильевич решился бежать. Наскоро простившись с братом, он быстро вышел из кабинета с твердым намерением дома собраться в ту же ночь и с рассветом, не простившись с женою, выехать — благо пас был в запасе; но на этот раз судьбе угодно было распорядиться иначе. Только что успел Александр Васильевич войти в прихожую, как две сильные руки схватили его за плечи, а другие, проворно стянув ему локти назад, начали вязать их веревками. От неожиданности Александр Васильевич не вскрикнул, не сопротивлялся и молча пошел за воинским сержантом, как видно ожидавшим в прихожей его выхода из кабинета брата. Только на улице, когда свежий мороз обвеял отуманенную голову, он спросил одного из провожавших, в котором уз-

нал знакомое лицо курьера Сафонова, куда его ведут и по чьему приказу арестуют.

— По приказу государя ведем тебя к светлейшему князю Александру Данилычу, — коротко сообщил Сафонов.

Дорога от кикинских палат до недавно выстроенных палат Меншиковых, на Васильевском острове, была не дальняя, и арестанта привели туда далеко до рассвета, когда светлейший еще не изволил встать с постели, хотя Александр Данилович имел обыкновение вставать и приниматься за работу рано, по примеру своего царственного патрона. Впрочем, в последнее время избалованный частыми отлучками государя светлейший князь стал понекому вводить в свою домашнюю жизнь некоторую изнеженность. И пришлось теперь Александру Васильевичу униженно, со связанными руками ожидать в прихожей пробуждения своего заклятого исконного врага; к счастью еще, что душевное расстройство притупило в нем острую восприимчивость к болям оскорбленного самолюбия. Александр Васильевич ясно не сознавал, ни где он находится, ни какими лицами он окружен, ни кого он ожидает. В мозгу сменялись какие-то странные обрывки неясных представлений, более похожих на болезненный бред, чем на обычную сообразительность, до сих пор никогда не терявшегося дельца. Александр Васильевич опомнился только тогда, когда подле него раздался громкий голос:

— Вот никак не ожидал увидеть нашего умнейшего Александра Васильевича в такой компании! По какому делу изволил пожаловать? — говорил с ядовитой насмешкою в глазах князь Меншиков, вышедши в шлафроке и лениво потягиваясь.

— По какому делу меня захватили, как какого-нибудь вора, и привели сюда, об этом тебе вернее знать, — угрюмо отозвался Александр Васильевич.

— И ты узнаешь, господин адмиралтейц, только возьми немножко терпения, — подсмеивался князь, — потрудись с своей свитой прогуляться в гарнизон, куда и я с некоторыми персонами прибуду, чтобы порасспросить тебя по известному делу с пристрастием.

Александр Васильевич пошел было к дверям, но вдруг остановился и, в упор взглянув на Меншикова, спросил:

— А князь Василий Владимирович Долгоруков взят ли?

— Неизвестно мне, может, и не взят, — отозвался Меншиков.

— Вот как! Нас истяжут, а фамилию Долгоруковых царевич пожалел и закрыл, — как будто про себя проговорил Кикин.

Александра Васильевича повели, как арестанта, с Васильевского острова на Петербургскую сторону в крепость, где помещался тогда гарнизон и где обыкновенно производились секретные розыски.

По прибытии в гарнизон арестантского конвоя и по приезде туда Меншикова и некоторых персон — генерал-майора Голицына с комендантом Бахметьевым, съехавшихся по приглашению князя, Александр Васильевич тотчас же познакомился с характером розыска: его подвергнули допросу и пытке вискою*. На предложенные вопросы, касавшиеся главным образом разъяснения степени его участия в побеге царевича за границу, Александр Васильевич чистосердечно, а может быть из опасения важных улик, сознался в своих неоднократных, после смерти кронпринцессы, советах царевичу бежать к цесарю, точно так же и в советах принять пострижение; только отвергнул решительно показание о своем выражении, что «клобук не пришит гвоздем к голове».

В том же, первом своем показании Александр Васильевич попытался оговорить и участие Долгоруковых, высказав, что по получении царевичем вызова государя из Копенгагена князь Яков Федорович будто бы посылал его брата Ивана Васильевича посоветовать царевичу к отцу не ездить — что, впрочем, братом его исполнено не было.

По окончании пытки Александра Васильевича и отобранные от него показания отправили в Москву.

* Кроме дыбы или виски, практиковались и другие пытки. Иногда обвиняемого секли сальными свечами, иногда привязывали голову к ногам веревкою с ввернутою в нее палкою, которую вертели до тех пор, пока голова не пригибалась к пяткам и несчастный изгибался в три погибели, иногда сдавливали винтами ножные и ручные пальцы, иногда в станке сдавливали голову, вбивали в тело гвозди или вколачивали спицы за ногти, а иногда морили жаждой после поения соленой водой и жарко натопленной бани. Одним словом, по описанию Котошихина, пыточный каталог оказывался достаточно разнообразным. (Прим. авт.)

К концу зимы, начиная с февраля, как большие, так и проселочные дороги, не совсем удобные и в наше время, за двести почти лет назад бывали решительно непроездными. От разной величины и глубины ухабов, нырков, рытвин и раскатов, выбитых бесконечными обозами, каждому проезжему на всяком шагу приходилось платиться чувствительными ушибами. Не велико расстояние от Москвы до Суздаля, а между тем сам капитан-поручик от бомбардир лейб-гвардии Преображенского полка Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, несмотря на всю свою неутомимую ревность, принужден был протащиться несколько дней и, выехав из Москвы утром четвертого февраля, приехал в суздальский Покровский монастырь только десятого, в полдень. Казалось бы, толчки и ушибы должны были значительно поохладить усердие гонца-следователя, но не таковы были люди петровского закала — для них ушибы и боли становились новым, еще более сильным возбуждающим средством.

Григорий Григорьевич, неустанно ругавшийся и проклинавший почти всю дорогу, как только завидел из-за перелеска, на сером фоне, высокую белую колокольню Покровского монастыря, совсем переменялся, стал бодрым и свежим, будто и не проезжал несколько сот верст мучительного пути. Справившись у монастырского привратника, где живет государыня-инокиня, он, как только въехал на широкий церковный двор, проворно выпрыгнул из экипажа и побежал к государыниной келье до того скоро, что если бы кто и заподозрил в нем какого-нибудь человека недоброго, то во всяком случае не успел бы предупредить. Моментально взбежав на крылечко и ловко сбросив в прихожей с плеч тяжелую, меховую шубу, он вошел в небольшую приемную, ту самую, где государыня-инокиня принимала по праздникам гостей и где теперь она сидела у окна, наклонившись над каким-то вышиванием. Авдотья Федоровна была одета по-прежнему в мирское платье, но без прежнего щеголеватого подбора, в простую телогрею, местами потертую и в далеко не новом повойнике.

Сильно изменилась в последние годы постриженная государыня, постарела и осунулась, стала почти неузнаваемой. Молочной белизны круглое лицо как будто вытянулось, пожелтело и избороздилось резкими морщинками на

лбу и с обеих сторон прежде пухлых, а теперь высохших губ. Нельзя признать и ее прежних с поволокою глаз, бывало смотревших из-под полуопущенных длинных ресниц благодушно и только изредка, не на долгие минуты загоравшихся гневом, а теперь холодных, кидавших взгляд каждому человеку прямо, в упор, постоянно блестевших гневом, точно видевших в ближних своих злых и непримиримых врагов. Да и не была ли она действительно права? Видела ли она в ком-нибудь участие, преданность и любовь к себе? Напротив, не испытала ли она от всех и повсюду одну злобу и вражду? Мелькнуло было счастье, откликнулось было ее тоскующему сердцу другое, но и это счастье, длившееся недолго, кончилось еще горшею скорбью. Любимый человек кинул, натешился от нечего делать ее телом и бросил. Как же не иссушиться после такого унижительного оскорбления ее сердцу, как не сделаться ему черствым?

При стуке широко распахнувшейся двери Авдотья Федоровна подняла голову и мертвенно побледнела от тайного предчувствия или просто от испуга нежданно увидеть у себя незнакомого мужчину, когда ее, кроме отца Досифея да отца протопопы, давно уже все забыли. Государыня-инокиня хотела было крикнуть, опросить: кто осмелился ее обеспокоить без зова и доклада, но ни звука, ни слова не выговорил язык, да и приезжий, как видно, не нуждался в докладе. Он, казалось, не обратил на нее никакого внимания, не сказал ни слова, а, внимательным быстрым взглядом оглянув всю приемную, словно хозяин, прямо прошел в соседнюю комнату, ее спальню. Там он прежде всего накинудился на сундуки бывшей царицы.

Оправившись от испуга, Авдотья Федоровна тоже побежала за приезжим в свою спальню. Теперь она стала догадываться, кто он такой. Она знала подробно от своих людишек и по слухам, проносившимся Бог весть откуда, обо всем, что делается в Москве, знала о возвращении сына, боялась и ожидала больших неприятностей для него, но нисколько, никаких злоключений не предполагала лично для себя. Да и за что? Она не только не имела никаких вредительных замыслов против жизни и здоровья бывшего супруга, но даже напротив, веря глубоко предсказаниям и откровениям, надеялась со временем сойтись с ним и снова сесть на державство — не потерпят же святые угодники немку на православном престоле!

Прибывав в спальню, она увидела, как приезжий,

открыв первый сундук, стал выбрасывать оттуда немалое количество телогрей и цветных кунтушей; всего было много, не было только чернической одежды. Сундук оказался набитым разными нарядами, все платья да полотно — но вот между материями мелькнули какие-то бумажки... Приезжий схватил их и развернул; Авдотья Федоровна бросилась было отнимать, но не смогла вырвать из цепких рук. В первой бумажке капитан-поручик прочитал вслух:

— «Доношу вам подлинно, государь, царевич Алексей Петрович в Москву в скорех числах ожидают; есть подлинны письма; а при нему государе-царевиче будет же Петр Андреевич Толстой. Доложите, где знаете. Именно ожидают. Приказано его государя-царевича хоромы устраивать, именно. Государь будет. А как его государя Бог принесет в Москву писать буду именно и немедленно. Пишите ко мне. 17 января 1718 года».

— Скажи-ка, кто такой доносил тебе?— спросил Скорняков-Писарев.

— Письмо это прислал стряпчий здешнего монастыря Михалко Воронин к братьям своим Василию и Ивану, а вовсе не ко мне,— заикаясь, объяснила государыня-инокиня.

— Вот как! Значит, он к братьям своим доношениями отписывается?— насмешливо заметил капитан-поручик и стал читать другое письмо:

— «Человек ты еще молодой. Первое искуси себя в посте, в терпении, послушании, воздержании брашна и пития. А и здесь тебе монастырь и как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание».

— А это к кому и кто отписывает такие назидательные препозиции?— снова допрашивал капитан-поручик.

— Это... это... список... с челобитной какого-то, не знаю, мужика, который пожелал постричься,— совершенно растерянно отвечала Авдотья Федоровна.

— Так... так... а вот порасспросим и поразведем, кто таков давал такие разумные препозиции простому сермяге,— засмеялся следовательно, пряча письма в карман и снова принимаясь выкладывать наряды и платья. Но как ни трудился он, но ни в этом, ни в других сундуках не было найдено ничего подозрительного.

Окончив осмотр кельи государыни-инокини, Скорняков-Писарев вытребовал монастырских попов и вместе с ними отправился в Благовещенскую церковь, в которой обыкновенно совершалось богослужение. В церкви, при

осмотре алтаря, он заметил какой-то лоскуток синей бумажки на жертвеннике, исписанной круглым почерком духовного пера. Взяв лоскуток, он прочитал:

«В нынешний настоящий пресветлый праздник Воскресения Христова подай Господи благочестивейшему государю нашему царю и великому князю Петру Алексеевичу всея великия и малыя и белыя России самодержцу и его благочестивейшей великой государыне нашей царице и великой княгине Евдокии Феодоровне и сыну нашему благочестивейшему великому государю нашему царевичу и великому князю Алексею Петровичу благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во все благое поспешение ныне и впредбудущие многая и несчетные лета во благополучном пребывании многая лета здравствовать».

Внизу находилась подпись отца протопопа.

— Когда было написано поминание, кто писал и совершали поминание на церковных службах?— спросил Скорняков-Писарев, обращаясь к обоим попам.

— Когда, кто писал и по чьему приказу, мне доподлинно не ведомо, как человеку здесь новому; а поминать о здравии государыни Авдотьи Феодоровны я действительно поминал, ибо это велось так прежде, и при ключаре отце протопопе Феодоре Пустынном поминание совершалось,— оправдывался почти обезумевший от страха поп Герасим.

То же подтвердил и поп Иван Козмин.

— Когда именно скинула инокия Елена свое черническое платье?— продолжал допрашивать капитан-поручик.

— Видели мы ее точно в иноческом одеянии и в апостольнике, но когда именно скинула оное и надела мирское — мы не знаем, понеже тогда мы здесь пребывания не имели,— отвечали в один голос попы.

Оставив священных отцов в покое, как ни в чем не повинных и безвредных, Григорий Григорьевич воротился с подробными расспросами к сестрам-келейницам. Сначала смиренные сестры пугливо выглядывали на страшного капитана, таурились и отвечали односложными словами, но когда одна из них побойчее решилась на смелую речь, тогда вдруг все заговорили и полились нескончаемые рассказы. Каждая из сестер, перебивая другую, выкладывала весь свой накопившийся запас слухов, сплетен, разных своих наблюдений, раскрашенных и дополненных собственным творческим воображением.

Одна из сестер говорила с видом оскорбленной невинности о том, как задорно вела себя инокиня Елена с красивым анаралом Степаном Богданьчем, как прогуливались они по ночам в тенистом монастырском садочке, какие воровские речи говорились у инокини с анаралом, как обнимались и целовались, причем рассказчица даже отплюнулась; другая с математическою точностью определяла, в какую именно пору скинула инокиня черническое одеяние и надела мирское, какие именно платья носила, какого цвета и из какой материи, в продолжение целых двух десятилетних давностей; третья горько жаловалась на суровое обращение постриженной государыни, на озорство ее домашней челяди; а в особенности на бесстыжее охальство карла, от которого не было покоя смиренным сестрам. Речей и рассказов явилось столько, что другой менее опытный человек ничего бы не понял, растерялся и утонул бы; но Григорий Григорьевич выслушивал всех терпеливо, взвешивал, соображал и в конце концов мог с положительною верностью определить ценность показаний как по вопросу о времени одевания государыни-инокини в светский костюм, так и по вопросу об отношениях ее к епископу Досифею, ключарю Федору Пустынному, брату Аврааму Лопухину, князю Щербатову и к другим близким к ней людям.

Из всех рассказов, очищенных и тщательно профильтрованных, опытный капитан-поручик сочинил и отослал в Москву подробное донесение, в котором, на основании несомненных фактов, осмелился даже посоветовать государю немедленно арестовать брата Авдотьи Федоровны, бывшего тогда в опале Авраама Лопухина, князя Щербатого и протопопа Андрея Пустынного, находившегося в то время в Москве, так как, в заключении писал разведчик, «мню ими многое воровство окажется». При донесении были приложены бумаги, найденные в сундуке постриженной государыни, и поминальная таблица.

В три дня усердный Григорий Григорьевич исполнил царское поручение и в половине февраля уже уехал в Москву, в голове немалого поезда, в котором находилась сама царица-инокиня и все старицы-келейницы, имевшие с нею непосредственные сношения.

При беседах Скорнякова-Писарева Авдотья Федоровна не бывала и не знала всех рассказней, но не могла же она не предполагать, сколько нанесут на нее эти, как она выражалась, чернохвостницы воровских небылиц, да и от то-

го, что было-то, если расскажут про одного Степу,— срам! «Что-то будет?— думает дорогой государыня-инокня.— Носить ли мне мою головушку, или вздернут ее на высокий шест?» А между тем в то же время неволью навертывалась и надежда. Наносу монашенок государь, может, еще и не поверит, улик никаких нет, может, еще и к лучшему, что везут ее теперь в Москву: увидит ее бывший муж, и, может, снова разгорится его сердце, и снова может взять ее к себе... Недаром же предсказания и святые отцы все обещают ей в будущем почести и власть! Под влиянием этих надежд она написала письмо к государю, в котором каялась за проступок свой в оставлении иноческой одежды, молила прощения и милости, умалчивая совершенно о Степане Богдановиче.

Носить мирское платье и отбросить черническое в глазах государя не могло быть преступлением, он сам не уважал иночество, как бесполезное существование, и не доверял монашескому сподвижничеству, но в настоящем деле, по его глубокому убеждению, суть была не в платье, а в злых умыслах и тайных подвохах против него самого, против его жизни, против всех его дел, столько прославляемых в чужих краях и столько проклинаемых у себя дома. Он помнил, как его бывшая жена всегда заступалась за юродивых, за бородачей, за свою упрямую родню и за всех тех, кто становился ему поперек дороги. Наверное, думал он, в то время, как не щадя своей жизни, он работал день и ночь, перебрасываясь из одного края в другой, поучаясь в иноземщине и поучая других,— у себя дома в бородачатых вертепах строились свои планы, составлялись заговоры и сочинялись ковы, как бы погубить его и разрушить все. Ему представлялись заговоры уже несомненно существующими, и в этих заговорах главными деятелями, около которых группировались бородачатые злодеи, были отвергнутая жена и непотребный сын. Вспомнил он свой беспощадный стрелецкий розыск, в котором он и тогда попытался до неясных указаний на пассивное участие Авдотьи Федоровны и ее родни, то мудрено ли, что теперь, в постоянное его отсутствие, при совершеннолетию сына, это пассивное участие, под влиянием раздражения за насильное монашество, перешло в деятельное и живое. Не без цели же убежал сын под чужой кров и чужую защиту, не посмел бы он на такой шаг без внушений, без поддержки и без надежды на какую-нибудь силу. И решился государь вполне воспользоваться настоящим розы-

ском, попытаться положительно во что бы то ни стало до истины, до полного раскрытия всего зла. В болезненном мозгу государя, сделавшегося подозрительным, собственные представления получали осязательность, слепое упорство сына казалось деятельным восстанием — по природе своей государь не мог понять возможности мысли без непосредственного ее осуществления.

При таком настроении государя письмо Авдотьи Федоровны, конечно, не могло иметь никакого значения.

Между тем с каждым днем прибывали в Москву подневольные гости, кто после пыток и допросов в Петербургском гарнизоне, кто прямо с постели, но все связанные и в оковах. Привезли, наконец, и князя Василия Владимировича тоже в оковах, взятого по оговору царевича в тайном сочувствии к нему. Всполошилась вся семья Долгоруковых, а в особенности встревожился князь Яков Федорович, на которого точно так же мог упасть извет от царевича за такое же сочувствие. И вот отчасти с целью предупредить оговор на себя, отчасти в защиту родича князь Яков Федорович написал к государю красноречивое послание, в котором напоминал ему все важные услуги, оказанные всем родом Долгоруковых еще с малолетства Петра, мученическую смерть дяди и брата в стрелецких смутах, исконную их всех преданность всему царскому дому и лично государю-преобразователю и, наконец, если не оправдывал Василия Владимировича, то обвинял его только в одном неразумном дерзновении языка, известном всему свету.

Царь прочел письмо, но не ослабил розыска, напротив, чем выше стояло обвиняемое лицо и чем ближе к престолу, тем деятельнее и строже производилось расследование.

XI

Волнуется безбрежное море и поднимаются волны одна другой выше; грозные, с молочными гребнями, встают они одна над другой, ревут, мечутся и с стоном упадают в бездну. Необъятная сила и неизмеримая мощь слышится в этом яростном вопле расходившейся стихии, роковой и губельной для неумелого и слабого кормчего. Всколыхнулось русское море, и застонало оно от странных вестей, что творится в самой заветной святыне — у державной

семьи, и, как стихия, оно только бурлило да ревело, выбрасывая по временам из своей глуби окалеченные тела. Такая же ширь и такая же мощь нужна была и тому кормчему, который захотел бы управлять ею, бесцельному придать цель, бессильному вложить силу и бездушному вдохнуть дух.

Как лесная птица не может переродиться в горного орла, пугливый олень — в царственного льва, так и царевич — в народного гения. Не для руля и не для борьбы создана была его мягкая, болезненно-чуткая и восприимчивая природа. Шум оглушал его, яркий свет ослеплял глаза, он не мог разобраться в этом бесконечном движении, и море, поглотив и задушив холодными объятиями, выбросило его потом на берег бездушным трупом, как вещь ненужную.

И теперь, сидя в отдельной камере Преображенского*, лишенный свободного здорового воздуха, царевич не думает об ускользающем величии, не желает его, а, напротив, мечтает, как бы уйти от него как можно дальше. В те редкие минуты, когда он может отдаться самому себе, его воображение уносится от громадной толпы к тихому углу, розовому рассвету, широким полям, где живет незаметно и счастливо, опираясь на ласкающую руку. Царевич жадно предвкушает уже эту жизнь с своей Афросей, в далекой вотчине, в простодушной среде, где неизвестны хитросплетения интриг.

Впрочем, царевич редко отдается самому себе. Отец с лихорадочной энергиею торопится следствием, непрерывно сочиняет новые вопросные пункты, варьирует их, старается искусными сопоставлениями и противоречиями открыть правду и уловить нить злодейской интриги; ему никак не верится, чтобы его бесхарактерный сын мог решиться без постороннего обдуманного плана, без поддерж-

* Преображенское заключало тогда: дворец, приказ, тайную канцелярию, медоварню, острог и т. п. сооружения. Дворец составляло двухэтажное каменное здание с тремя по фасаду с железными решетками окнами, выходившими на генеральную улицу; против дворца находился приказ, деревянное трехэтажное здание, суживающееся уступами кверху, с деревянным резным петухом на деревянной же кровле, обнесенное кругом высоким забором; от дворца в стороне, где ныне дом дьякона Петропавловской церкви, лепилась тайная канцелярия, помещавшаяся в одноэтажном деревянном здании с небольшим крыльцом. Все Преображенское лежало на берегу Яузы, против Сокольников; от прежних зданий в настоящее время не осталось почти никаких следов, и вся эта местность теперь принадлежит отчасти дворцовой конторе, а отчасти частным лицам (дом купца Хлебникова). (Прим. авт.)

ки целого общества заговорщиков — на такую опасную меру, как побег, и именно к цесарю; царь везде и во всем видит увертки, хитрости и ложь. Царевич опутан допросами; то его требуют на генеральный двор, где спрашивает его сам отец-государь, то присылают ему разные вопросы, писанные или отцовскою рукою, или усердным Петром Андреевичем. Царевич по возможности отвечает, но часто, спутанный вопросами, особенно словесными, с грозной острасткою, он противоречит себе, и, стараясь припомнить подробности, которые состоят только в словах, сказанных бессознательно после чарки вина, он смешивает время, придает смысл какому-нибудь выражению совсем иной.

Путает царевича еще и другое обстоятельство. Мозг его начинает работать не совсем нормально под двойным влиянием: постоянного испуга и винных паров. После выезда из Рима, где он расстался с Афросиньей, во все время проезда австрийскими и прусскими владениями Петр Андреевич не уставал угощать его вином... и царевич пил, — пил много, безмерно, стараясь в вине потопить страх близкого свидания с отцом и залить щемящее горе разлуки с своей Афросей. В одуряющем зелье ему не отказывали и в Преображенском с целью ли сделать его неспособным или по убеждению скорее открыть правду в вине. И действительно, царевичем постепенно начинает овладевать страсть к искусственному возбуждению, в котором он, забывая настоящее, наслаждался всеми оболъщениями, созданными его воображением.

Между тем допросы следуют одни за другими непрерывною цепью. Государь неумолимо преследует свою цель открыть заговорщиков и злоумышленников, а вместе с тем и во всяком случае, найти законность своим насильственным мерам против сына. С этою же целью отец и отыскал предлог отказаться от своего слова о помиловании, высказать, на другой день после торжественного отречения, в последнем пункте допросов: «А ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй: понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон». А можно ли было не обвиниться в том положении, в каком находился царевич? И можно ли не видеть в этой угрозе основания к неизбежному обвинению, когда каждое запечатование какого-нибудь выражения, какого-нибудь свидания могло считаться за умышленное укрывательство?

Сознаваясь в своей вине, царевич при первом же допро-

се откровенно высказал, что побег был совершен единственно из желания избавиться от угнетенного положения, от требований, которые были противны его природе, из видов охранения себе жизни; сознался даже и в том, что он не отказывался совершенно в душе своей от надежды правительствовать после смерти отца, во время малолетства брата; но далее этого преступление не шло. Оказывалось, не существовало никаких заговоров и интриг, не было даже непосредственных деятельных пособников к побегу. Только одно сколько-нибудь серьезное обвинение падало на личное, вероятно, не бескорыстное участие Александра Кикина, за несколько лет еще говорившего царевичу о побеге за границу, обещавшего отыскать ему там местечко, натолкнувшего потом на побег именно к цесарю, советовавшего не возвращаться из чужих краев, не склоняться ни на какое обещание («не ездят, он тебе голову отсечет публично») и, наконец, так лукаво хитрившего замести все следы своего участия.

Кроме Александра Васильевича знали о решении царевича бежать еще двое: камердинер Иван Большой Афанасьев да заведующий хозяйственными делами царевича, Федор Дубровский — и то узнавшие только накануне отъезда. По показанию царевича, он даже свою Афросинью и людей, сопровождавших его в поездке, взял с собою обманом, сначала уверением, что берет их только до Риги, а потом объяснением, будто едет в Вену секретно по приказу государя для заключения альянсу против турка.

Из всех обвиняемых Александр Васильевич Кикин казался самым важным преступником, и на него по преимуществу упала вся тяжесть розыска. Первую пытку он вытерпел еще в Петербургском гарнизоне от личного своего врага князя Меншикова, потом тотчас по приезде в Москву, затем через три дня и, наконец, последнюю через десять дней, пятого марта. Каждый раз его поднимали на дыбу, резали, жгли, секли кнутом, давая то двадцать пять, то четыре, то девять ударов, допытываясь открытия каких-нибудь злых замыслов. На первом меншиковском допросе с вискою Александр Васильевич сознался в советах своих царевичу о пострижении и потом о побеге за границу, но отказался от слов о клобуке; на втором же допросе, произведенном самим царем в Преображенском застенке, он не только подтвердил прежнее показание, но еще дополнил его признанием в поездке своей в Вену для приискания местечка царевичу.

Но так как оба сознания были вынуждены пытками, то, отдохнув от них и обдумавшись, он потребовал к себе бумагу и чернил для изложения будто бы всей истины на письме. В этом письменном показании Александр Васильевич заговорил уже совсем другое, и советам своим царевичу уехать за границу он теперь придавал значение, совершенно согласное с желаниями государя. «Надобно смотреть, с чем назад приехать,— будто говорил он царевичу, когда тот собирался в Карлсбад,— понеже государь изволит взыскивать дела, зачем он послан». А потом, по возвращении из Карлсбада, когда царевич высказывал, как полюбились ему тамошние места, он, Александр Васильевич, действительно заметил: «Ежели бы ты захотел, то бы и государь еще некоторое время велел быть, понеже то и ему было угодно, только бы недаром жить». Впоследствии же, увидев, что царевич воротился из чужих краев с тем, с чем и поехал, стал от него отдаляться и в его доме, до побега, был всего раза три или четыре. Бежать во Францию не советовал да и не мог советовать, так как «ни единого случая, ни малого для знаемости моей двора французского нет и прежде не бывало, а не ведая тамошнего состояния как же посылать и для чего же бы то делать»? Относительно совета о пострижении Александр Васильевич объяснил, что действительно на рассказ царевича о письме он говорил ему: «Отец ваш не хочет, чтоб вы были наследником одним именем, но самым делом», на что царевич будто бы высказал: «Кто же-де тому виноват, что меня таким родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Когда же затем царевич спрашивал, что ему делать, то Александр Васильевич будто бы советовал постричься «понеже сам о себе говорит, что никаких дел понести не может», но о клобуке не говорил ни слова.

О свидании в Либаве Александр Васильевич показал, что никаких разговоров у него там с царевичем не было, кроме того, что царевич отдал ему письмо к Ивану Большому Афанасьеву, которое он по приезде в Петербург и передал по адресу. Точно так же Александр Васильевич отрекся и от совета царевичу бежать в Вену, высказывая: «Ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, тогда бы я сделал при себе, мочно ли там жить или не примут? А не ведав ничего, посылать «поезжай в Вену», сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифирей и

как содержать корреспонденцию, а без сего ни которыми дела прибыть невозможно».

Между прочим и в этом письменном показании Александр Васильевич усиливался навлечь подозрение царя на обоих Долгоруковых, Василия Владимировича и Якова Федоровича — на первого указанием о тайных свиданиях князя с царевичем, а на второго показанием, будто князь Яков Федорович посылал брата его, Ивана Васильевича, посоветовать царевичу перед его побегом не ездить к отцу. В заключение Кикин объясняет несправедливый оговор царевича немилостью его к себе, во-первых, за то, что он от царевича отстал, и во-вторых, за донесение его, Александра Васильевича, государю о намерении царевича уехать за границу, о чем будто бы царевич от кого-то узнал. Когда и каким образом предостерегал Кикин государя, об этом не сохранилось никаких следов; но очень может быть, что, склоняя царевича к побегу, он, по обыкновению своему заметать следы, в то же время неопределенно что-нибудь и передавал отцу о намерении сына; но тогда государь не обратил на это никакого внимания.

На этот раз изворотливость не вывезла Александра Васильевича. Теперь подозрительность государя обмануть было трудно, тем более что полное тождество признаний, данных в гарнизоне и потом на первой царской пытке, с показаниями царевича и камердинера Ивана Большого Афанасьева, тождество, до передачи даже одних и тех же выражений, слишком ясно говорило об истине. На этот раз Александр Васильевич своим хитросплетением не только не улучшил своего положения, но, напротив, значительно ухудшил, раздражив государя и подав повод к подозрению еще большего зла. На новом допросе, даже сравнительно легком, при ударе кнутом не более четырех раз, Кикин опять заговорил по-прежнему и снова подтвердил свои словесные показания. Наконец, на последней пытке Александр Васильевич высказал решительно: «Что-де царевич в повинной своей поминал, и то-де он, Кикин, делал, а иного и не упомнить, только во всем том, он виноват. А этот побег царевичу делал и место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб к нему был милостив».

Этим признанием закончился розыск Александром Васильевичем; продолжать далее становилось совершенно бесполезно. Обнаружилось ясно, что всеми действиями Кикина руководило одно корыстное личное побуждение, до того эгоистическое и трусливое, что даже сама подозри-

тельность царя не могла вывести солидарности его с какими-либо общими политическими соображениями. Камердинера царевича, Ивана Большого Афанасьева, привезли в Москву несколькими днями ранее; и в тот день, когда Александра Васильевича допрашивал князь Меншиков в гарнизоне, Ивана Большого допрашивал сам царь на генеральном дворе. Так как Иван Большой Афанасьев находился всегда при царевиче и мог быть ближайшим свидетелем всех действий своего барина, то на показания его было обращено особенное внимание царя.

В сохранившемся розыске показания Ивана Большого весьма важны, но важны только в том отношении, что окончательно выяснили как побудительные причины побега в личном характере царевича, так и отсутствие какого бы то ни было организованного заговора. Иван Большой многое рассказал из домашней жизни царевича, об его выходках после кутежей и об участии Александра Кикина, который бывал у царевича и тайно с ним разговаривал. Иван Афанасьев признался, что, узнав от царевича о намерении бежать, накануне отъезда, он обещался молчать; признался также и в том, что намеревался сноситься с царевичем, когда узнает, где он находится посредством цифирной азбуки, но вместе с тем он передал много и сплетен, в которых оговорил невинных.

Так, Иван Большой показал, что после отъезда царевича приезжали к нему в дом Иван Иванович Нарышкин и Василий Михайлович Глебов осведомиться, где обретается царевич. «И я им сказывал, что от барона Гизена слышал, как он в курантах читал, будто царевич в Цесарии. И на это Василий Михайлович говорил: это-де зело хорошо, что он цесаря держится, а цесарь-де его отцу никаким образом не отдаст. А ведь-де царевич ни от чего уехал, что от понуждения; принудил-де отец: первое — от наследства прочь, другое-де — и постричься; того ради и ушел».

Спрошенный Василий Михайлович отозвался, что ничего подобного не говорил и ничего не помнит. На очной ставке и потом на розыске, при котором дано было изветчику двадцать пять ударов кнутом, Иван Афанасьев оправдал Глебова, сознавшись в ложном своем наговоре.

Из других служителей царевича особенно интересны показания Федора Дубровского и Федора Эверлакова, которые хотя и ничего почти не высказали относительно побега в Австрию, но многое разъяснили о тягостном

положении царевича, заставившем его укрыться у цесаря. И тот, и другой были допрошены царем тотчас же по привозе их в Москву. Федор Дубровский показал: «Когда царевич уезжал из Петербурга 24 сентября и я (Дубровский) спрашивал его: «Изволишь ли ехать к отцу?» — «Еду», — отвечал царевич. «Знатно, отец зовет тебя жениться?» — «А я не хочу, я и в сторону». — «Государь-царевич, куда же в сторону?» — спросил испуганный Дубровский. «Хочу посмотреть Венецию. Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти». На это Дубровский сказал: «Многие наши братья спасались бегством, однако же в России того не бывало и никто не запомнит». — «Бывало и в России, — возразил царевич, — великого князя Дмитрия сын бежал в Польшу и опять приехал». — «Чаю, и сродники тебя не оставят... а Абрама отец твой запытает», — в заключение заметил Дубровский. Перед самым отъездом царевич велел ему взять пятьсот рублей у Ивана Большого и отослать их к матери, но этого приказания Дубровский из боязни ответственности не исполнил. Федору Дубровскому на дыбе дано было 15 ударов кнутом.

Что же касается до Федора Эверлакова, то его во время отъезда Алексея Петровича в Петербурге не было и он узнал о побеге царевича с матресою в немецкие края уже по возвращении своем от Ивана Большого Афанасьева; не объявил же о том тогда потому, что не было приказано об этом деле разыскивать. Питанный в первый раз под 25 ударами кнута, он оговорил князей Гагариных в том, что будто бы в доме Петра Павловича Шафирова князь Алексей Гагарин, рассказывая слышанное от тестя своего Шафирова о возвращении царевича, высказался: «Поубил-де он себя напрасно», — и при этом обозвал царевича дураком. Затем питанный во второй раз Эверлаков передал разговор свой с царевичем, бывший еще при жизни кронпринцессы в 1715 году: «Жаль мне, что так не сделал, как Кикин мне приговаривал, чтобы уехать во Францию, — жалобился царевич, — там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит». — «Для чего так делать?» — спросил Эверлаков. — Изволь выпросить здесь дело у отца и живи здесь при делах». — «Не таков он человек, — продолжал жаловаться Алексей Петрович, — не угодит на него никто. Я ничему не рад; только дал бы мне свободу, не трогал никуда и отпустил меня в монастырь. Я бы лучше жил в Михайловском монастыре в Киеве, нежели здесь». В другой раз чем-то опечаленный царевич высказался: «Два чело-

века на свете, как боги — папа Римский да царь Московский, чего хотят, то и делают».

По словам Эверлакова, царевич, чтобы избавиться от похода или от присутствования при спуске корабля, притворялся больным и принимал лекарства.

Не избежала от допросов и царевна Марья Алексеевна, но ее допрашивали скорее в качестве свидетельницы, чем обвиняемой. По ее показанию, она всегда наставляла племянника благоразумными советами, вроде: «Утешай отца и будь ему во всем послушен». Относительно же оговора царевича о том, что будто бы тетка, на слова племянника о доброте и расположении к нему царицы Екатерины Алексеевны, упрекнула его «что-де ты ею хвалишься — не родная мать», то от этих слов царевна решительно отперлась, сознавшись только в советах своих царевичу «о пострижении бить челом царице и она-де у отца делает».

На допросах князя Никифора Кондратьевича Вяземского, которого поднимали на дыбу, и петербургского духовника царевича протопопа Георгия — оба они ни в чем не сознались, и к обвинению их никаких достоверных улик не было представлено.

Всех обвиняемых по делу царевича собралось в Преображенском до двадцати лиц, но большинство из них принадлежало к среде низменной, служительской, не имевшей поэтому никакого существенного значения. Сами Кикины, хотя и считали свой род древним, но и этот род давно уже захудал и потерял все непосредственные связи с первостепенными, влиятельными персонами; Александр Васильевич, как и брат его, играли роли личными выслугами, богатели, наживали от службы и потому, конечно, не могли иметь нравственного, общественного влияния. Из лиц же, принадлежащих к высшей аристократии того времени, подвергались розыскному допросу только очень немногие — князь Василий Владимирович Долгоруков, сибирский царевич, Иван Иванович Нарышкин, князь Гагарин, княгини Львова и Голицына; но и они оказывались виновными лишь в выражениях сожаления к скорбной участи царевича, без всякого даже намека на какую-нибудь активную роль и определенную цель.

По оговору царевича, более всех других оказывал к нему сожаления князь Василий Владимирович Долгоруков, на сочувствие которого, действительно, нельзя было не обратить внимания: все члены рода князей Долго-

руковых, одного из самых древних и богатых, в служебном и общественном положении занимали выдающиеся роли; да и сам князь Василий, как генерал-лейтенант, любимый подчиненными и солдатами, пользовался значительным весом. Не только коренная измена реформаторскому делу государя, но даже просто сердечное сочувствие к старым порядкам такого человека могло иметь влияние на государственный строй, если не при жизни самого государя, то после смерти его. Благодаря такому видному положению князя Василия Владимировича, государь особенно серьезно отнесся к его сочувственным выражениям, хотя и знал необузданную дерзость языка князя, высказывавшегося часто совершенно необдуманно, под влиянием какого-нибудь минутного увлечения.

Государь допрашивал Василия Владимировича по пунктам, составленным Петром Андреевичем из оговора царевича и из других розысков и исправленным собственноручно государем.

По первому пункту: говорил ли царевичу: «Давай пишем хоть тысячу; еще когда что будет; старая пословица: «улит едет, коли-то будет»?»

— Не говорил, — коротко отвечал князь.

По второму: не говорил ли слова: «Я тебя у отца с плахи снял»?

— Не говорил, — точно так же отперся Долгоруков.

По третьему: говорил ли слова при Штетине: «Кабы на государев жестокий нрав да не царица, нам бы жить нельзя, я бы в Штетин первый изменил» — и если говорил, — то давно ли думал об измене?

И этот пункт Василий Владимирович решительно отвергнул.

По четвертому: о чем советовали с царевичем запершись?

— Тайно никогда не говорили.

По пятому: присылал ли царевич за тобою и что советовали, когда были к нему письма о наследстве?

— Царевич присылал и был у него два раза, но ни о чем не советовали.

По шестому, и последнему: с каким намерением говорил: «Едет сюда дурак-царевич, что отец посулил ему жениться на Афросинье; жолв ему, не женитьба будет; напрасно сюда едет»!

— Может быть, такие слова и говорил, но не помню, — отозвался князь Василий.

Неустанно скрипят блоки, то поднимая, то опуская обнаженные тела с вывороченными вверх руками, неумолчно слышатся свист кнута, крики, стоны, отчаянные резкие вопли, точно из не человеческой груди. Дело кипит в Преображенском, не успевают мастера возобновлять подобающие материалы веников и раскаленных утюгов. Как везде и во всем, царь своей лихорадочной деятельностью подает поучительный пример. В застенках, как в калейдоскопе, постоянно сменяются лица, искривленные ужасом, то синие, то мертвенно-бледные, и спины, окровавленные глубокими бороздами.

Работы много; только что принялись за привезенных из Петербурга, как прибыла новая партия из Суздаля, партия, солидная с царственным лицом, епископом, монахами да черницами людьми почетными, которым ждать не приходится. И действительно, их не заставили томиться ожиданием. Пятнадцатого февраля в полдень прибыли гости из Суздаля, а уже на другой день поутру к личному царскому допросу повели трех из почетных лиц: спасского иеромонаха Иллариона, соборного суздальского ключаря Федора Пустынного да старицу-казначейшу Покровского девичьего монастыря, Маремьяну.

Почтенный иеромонах показал, что он, действительно, ездил из Спасо-Ефимьевского монастыря, по приказанию архимандрита Варлаама, в Покровский девичий монастырь, где в келье казначейши Маремьяны и постриг государыню Авдотью Федоровну в черничество под именем старицы Елены; а когда скинула старица Елена свое черническое одеяние, он не знает и ничего о том не слышал. Показание не многословно, и улики к изобличению какого-либо соучастия отца Иллариона ниоткуда не поступило.

Точно так же не много добились допросами от ключаря отца Федора, хотя на соучастие его указывалось более подробно в доношении капитана-поручика Скорнякова-Писарева. Отец Федор признался только в том, что знал о пострижении государыни, сам и исповедовал ее монашескою исповедью и слышал о переписке государыни-инокини с ее родным братом Абрамом Федоровичем Лопухиным, но в остальном во всем заперся.

Мать казначейша Маремьяна высказала, что постригали царицу в ее келье, но подлинно ли совершалось пострижение, она утвердительно не знает, так как отречение

происходило за занавесью, за которой находилась, кроме самой государыни, только игуменья, уже умершая Марфа, да старица Капитолина; слова отречения говорил окольный Языков, а не царица, постригальные же песни пели крылошанки Вера и Елена. После пострижения государыня носила черническое одеяние недель десять, а может, и более: сколько именно, не помнит; не знает и того, по какому случаю царица-инокиня надела мирское платье.

Этими показаниями ограничился первый допрос; о Степане Богдановиче и о его сношениях с Авдотьей Федоровной не было высказано никем подробного доноса.

На другой день допрашивалась келейница постриженной государыни старица Капитолина, но на этот раз от нее могли узнать только о сношениях Авдотьи Федоровны с братом Абрамом и с царевной Марьей Алексеевной через какого-то вроде юродивого Михалки Босого, переносившего между ними письма и привозившего к государыне от царевны разные подарки вещами и деньгами. Этот юродивый пророчествовал государыне, и он же доставил известие о требовании государем от сына пострижения и потом о побеге царевича.

«Тайные сношения! Пересылки! Вот она, крамола-то! Наконец-то найдена нить преступных замыслов», — подумал государь и начал строго допытываться, кто такой и где теперь находится этот юродивый Михалко Босоной.

— Босым он прежде ходил, милостивый государь-батюшка, за то и прозвище такое приобрел, а ноне вздел сапоги, как стал ходить в посылках у государыни-инокини. А живет он по разности, то у нас гостит недели по две, либо по три в особом чуланчике при келейной церкви, то в лопухинской Мещовской вотчине Абрама Федоровича либо в Суздальской у Степана Васильевича, а если и там его нет, то, стало, — у царевны Марьи Алексеевны, — закончила свое показание сестра Капитолина.

Так как Босого у царевны не оказалось и не было его в Покровском монастыре, то государь распорядился немедленно же послать в лопухинские вотчины надежных гонцов, а сам между тем принялся за энергический розыск сестрам-старикам.

На допросе 19 февраля мать казначейша Маремьяна оказалась податливее и словоохотливее. Она с подробностью рассказала, когда скинула черническое платье Авдотья Федоровна, как смущались этим сестры и как серди-

лась государыня, когда по этому поводу были от монастырского начальства вопросы и настояния. Развязав свой язычок, мать казначейша не утерпела проболтаться и о предмете, щекотливом для царя, о котором все упорно молчали при первых допросах — о посещениях царицы генералом Семеном Богдановичем, а проболтавшись, она уже не скупилась в деталях, выгораживая, разумеется, сколько возможно себя. «И запершися она да он да Капитолина говаривали между собою,— рассказывала мать казначейша,— а меня отсылали телогреи кроить в свою келью, и, дав гривну, велят идтить молебны петь. Как прихаживал, наряжая, Глебов казал себя дерзновенно. Я ему говаривала: «Что ты ломаешься? Народы все знают». Быв в Благовещенскую заутреню, он остался от всех людей в паперти; я велела пономарю проводить его за монастырь, а царице сказала: «Дурно, что к заутрене пришел, можно ему и другую церковь сыскать». Она меня за то бранила: «Черт тебя спрашивает! Уж ты и за мною примечать стала. Я знаю Степана, человек честный и богатый. Будет ли тебе с его бесчестья». Зато и другие мне говорили, а именно старицы Марья и Дорофея: «Что ты царицу прогневала?» Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о сем сказывали мне дневальный слуга да карлица Агафья: «Мимо нас Степан проходил, а мы не смели и тронуться».

Кстати, при этом мать казначейша успела ввернуть царю и извещец на старицу-келейницу Капитолину о том, что и келейница сама имела блудную связь с монастырским слугою Михаилом Родионовым, состоящим в последнее время при монастыре в стряпчих.

Тотчас же привели к допросу келейницу Капитолину, которая в подтверждение слов казначейши высказала, что к царице-старице Елене по вечерам действительно езживал генерал Степан Глебов, целовался с ней и обнимался; при этом Капитолина добавила и о том, что она принимала от Глебова любовные письма и сама посылала к нему от царицы по ее приказанию.

И вот нежданно-негаданно, преследуя мрачные ковы да заговоры, государь вместо них наткнулся на проделки амура. И странное чувство заговорило в душе его. Он не любил отринутую жену, всегда вспоминал о ней почти с ненавистью, а между тем ее неверность отозвалась в нем болезненно. Невольно он вспомнил, как ему изменили все те, кого он любил: безбожно изменила Аннушка Монсова, изменяли и другие, вот изменница и Авдотья Федо-

ровна... Не изменит ли и Екатеринушка? Эту дикую мысль государь отбросил, но все-таки едкий вопрос оставил по себе незаметный след.

Неожиданное открытие присоединило к страстному преследованию противников еще новое побуждение, зародившееся в оскорбленном самолюбии, в раздражении против похитившего его собственность, которую он хоть и не любил, но которая все-таки была его, некогда носила его имя. Жажда мести оскорбленного самолюбия еще более растравила неудержимый порыв истребить недругов, уничтожить и затопить их в крови.

— В сей же момент арестовать Степана Глебова, схватить его жену и сына, привезти их сюда, осмотреть и захватить все его бумаги, письма какие есть, пересылки, — запальчиво выкрикнул государь лейб-гвардии капитану Льву Измайлову, постоянно находившемуся при розыске.

Лев Измайлов исполнил грозное приказание в точности. Молнией влетел он в дом Степана Богдановича, связал хозяина, обшарил все углы, забрал бумаги и, захватив с собою Глебова и жену его Татьяну Васильевну с сыном Андреем, полумертвых от страха, вечером же воротился в Преображенское.

В числе отобранных бумаг оказались девять писем от государыни-инокини, написанных рукою старицы Капитолины, и несколько бумаг, писанных цифирью.

На другой день, утром двадцатого февраля, Степан Богданович представил царю письменное показание, в котором, сознаваясь в блудной связи с старицей Еленой, к которой ввел его соборный ключарь Федор Пустынный, признал в отобранных от него бумагах письма Капитолины от имени государыни, признался в обмене им с царицею-инокинею кольцами и в разных подарках, поднесенных ей от него.

Степану Богдановичу и Авдотье Федоровне дана была очная ставка, последствием которой было сознание царицы-инокини, написанное ею собственноручно в коротеньком показании: «Я, бывшая царица, старица Елена, приведенная на генеральный двор с Степаном Глебовым на очной ставке, сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набору, в том я виновата. Писала своею рукою, Елена». В словесном же допросе относительно надевания мирского платья государыня-инокиня объяснила, что никаких поводов к этому поступку не было,

кроме пророчеств отца Досифея о будущем ее примирении с мужем и о вступлении ее вновь на державство.

Но царя не могло удовлетворить одно сознание в преступной связи, он подозревал везде злые умыслы и искал заговоров. Под влиянием подозрения он лично допрашивал Глебова по составленным им допросным пунктам о том: по какой причине и с каким намерением сняла государыня-инокиня черническое платье, советовал ли ей кто и не обнадеживал ли кто в чем? Были ли от нее к сыну к кому другому письма или пересылки и об чем были те письма? И знала ли мать о побеге сына и через кого получила она это известие?

На эти вопросы Степан Богданович ничего не сказал, а в допросных показаниях лаконически отмечено: «Запирается».

Затем на вопрос царя: что означает выражение в одном из писем государыни, чтобы «ты ее бегству помогал через кого ты знаешь», Степан Богданович отвечал, что царица велела ему помогать через Аксинью Арсеньеву, а в чем помогать, этого он не знает.

Остальные пункты относились к вопросам, с кем списывался он найденною цифирною азбукою, к кому писано найденное циферное письмо и кто то письмо советовал писать?

На эти вопросы Степан Богданович отвечал, что азбуку составил сам, выписывал ее из книг и ни с кем не переписывался, и в найденном письме говорится частью о жене, об отце, который оставил брата, и об сыне, частью же выписки из книг, но во всяком случае нисколько не относящихся к возмущению.

Степана Богдановича подняли на дыбу в долгой и мучительной пытке. Из желания выслужиться и выказать в полном блеске свое искусство перед царем, заплечный мастер с намерением удлинял страдания: он встряхивал медленно, с расстановкою, отчего лопались связки и вывороченные кости производили более острую боль; точно так же, с рассчитанным искусством он проводил по изрезанным и обнаженным мускулам горячим утюгом или раскаленными углями. На первой пытке Степану Богдановичу дано было двадцать пять ударов кнутом, но таких жестоких, что при первых же ударах кровь брызнула ключом. Но и этим не кончилась пытка: изрезанного и окровавленного, его привязали на трое суток к столбу, на доске с голыми ногами на деревянных гвоздях.

Нестерпимы были страдания, но, несмотря на всю боль, Степан Богданович, как будто понимая, что его стоны будут скорее приятны оскорбленному мужу, во все время не издал ни одного крика, ни одного вопля о пощаде. Ослабевшего и едва живого, его сняли с виски и подвели к новому допросу... но и теперь он повторил только то же, что говорил и по пунктам.

Покончив с пыткой мужа, привели к допросу его жену, на откровенное признание которой во всем можно было вполне рассчитывать. Однако слабая и болезненная Татьяна Васильевна в трудном испытании показала себя античной героиней. Несмотря на угрозы и на вид страшных пыточных снарядов, она с спокойной твердостью защищала и оправдывала мужа, высказывая, что у государыни-инокини бывала она сама с мужем и одна, что муж ее ни с кем не вживался и что вообще ничего не замечала и ничего не знает.

Более податлив оказался сын, юный Андрей Степанович. При первых же угрозах он оговаривал отца в дружбе его с епископом Досифеем, с ключарем Федором Пустынным и с ризничим Петром, в тайных свиданиях отца с ними и в их пересылках цифирными письмами.

Между тем в последствии рассказа Авдотьи Федоровны о пророчествах, привезли в Преображенское и Ростовского епископа Досифея. В первом объяснении, данном им 23 февраля, отец Досифей высказал только то же, что царица-инокиня и генерал Глебов у него бывали, когда он был в Спасо-Ефимовском монастыре, да, кроме того, Степан Богданович был еще раз после, уже один, в то время — когда Катерина Алексеевна была объявлена государыней. На этом последнем свидании Степан Богданович будто говорил ему: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» На что он, Досифей, будто бы отвечал: «Я не большой, и не мое то дело, и стоять мне о том не для чего».

Генералу Глебову и отцу Досифею дали очную ставку, на которой каждый из них подтвердил только прежние свои показания. Пользуясь этим случаем, Степана Богдановича снова поднимали на дыбу и снова секли кнутом, но и опять-таки не допытались до признания в злых умыслах на государя.

Отец Досифей явился подозрительному уму царя тем типом корыстных и упорных бородачей, с которым он боролся почти тридцать лет и который он, при всей своей

энергической силе, сломить не мог. Недаром же все эти пророчества и грубые обманы слепых умов, думал он, под ними должны быть скрыты тайные крамолы, выжидавшие только благоприятного случая выступить наружу. Во что бы то ни стало необходимо узнать все их цели и средства, необходимо вытянуть признания и заставить их вполне открыться против воли. Но заставить говорить пытками отца Досифея было нельзя, и на такое оскорбление религиозного чувства государь не мог решиться — оставался один путь: лишить епископа того сана, под которым крамольники могли считать себя в безопасности.

Для избежания этого затруднения по приказанию государя Петр Андреевич составил из розыскного дела обвинительные пункты против отца Досифея о том, что инокиня Елена скинула монашеское одеяние именно с того времени, как стал навещать ее святитель, что он поминал старицу Елену при священнодействии царицею и что он, наконец, вводил в заблуждение инокиню пророчествами и рассказами о гласах, исходящих будто бы от святых икон. Эти обвинительные пункты на другой же день были отправлены на рассмотрение высших церковных иерархов, еще не разъехавшихся из Москвы после третьего февраля, с категорическим вопросом: не подлежит ли Ростовский Досифей обнажения от архиерейского сана за такие непотребные дела?

Собравшийся собор под председательством Стефана Яворского, Рязанского митрополита, из членов: митрополита Воронежского Пахомия, архиепископа Вятского, епископов Сарского, Тверского, Суздальского и трех греческих, призвал в свое присутствие обвиняемого на другой же день по получении предложения и выслушал его признание.

— Только я один в этом деле попался, а посмотрите, что у всех на сердцах? Извольте пустить уши в народ — что в народе говорят... а кто именно, этого я не скажу, — спокойно отвечал отец Досифей, с усмешкой оглянув весь собор и остановив упорный взгляд на председательствующем. Густая краска покрыла бледное и грустное лицо доброго митрополита Рязанского и блюстителя патриаршего престола; до почтенного святителя доходило много жалоб и стонов; не выходя из своей кельи, он хорошо знал, что говорится в народе, сердцем чувствовал великие народные тягости, тайно скорбил об участи насильно постриженной и ее несчастного сына, но вместе с тем и свято помнил тра-

диционный принцип о повиновении подлежащим властям.

Решение состоялось тотчас же без споров и возражений, собор единогласно решил и подписал определение о низвержении Ростовского епископа из архиерейского сана — и сделался отец Досифей не архиепископом, митрополитом или патриархом, о чем некогда мечтал, а простым расстригой Демидом, арестантом Преображенского застенка.

Тяжело и излишне приводить все показания несчастных жертв розыскной деятельности, усилившейся до страшных размеров в последние две недели с конца февраля. Стены и пол застенка покрыты кровью, которую не успевали смывать; каждый день поднимали на дыбу то певчего царевны Марьи Алексеевны, Федора Журавского, писавшего от нее письма к родным и близким лицам, то расстригу Демиды, то Степана Богдановича, то Абрама Лопухина, то других, имевших к ним какие-либо отношения; пытали по очереди и без очереди...* Но результатом всех этих мук и истязаний по-прежнему была только передача сплетен, сетований на дороговизну соли, на тяжесть налогов, на народное разоренье от войны, передачи, выраженные в той или другой форме желаний перемены к лучшему после смерти государя, по воцарении его отвергнутой жены и старшего сына, и ни одного слова, ни одного даже намека на какое-нибудь активное содействие к скорейшему выходу из настоящего тягостного положения. И из этих вымученных показаний многое, может быть, извратилось под ударами кнута и многому придалось другое значение, с иным оттенком.

ХІІІ

— Сортируй, герр тайный советник, по сюжетам, дабы министеры и господа сенат при обсуждении провинностей каждого не имели суспиций и не волочили напрасно время, понеже оное мне дорого. Чаю, господа Брюс и Остерман скоро выедут из Або на Аланд для прелиминарных конди-

* По подлинной записке о розысках, с собственноручными отметками самого государя, с 18 февраля, когда начался первый розыск Кикиным, и до 10 марта было всего тридцать шесть пыточных допросов, следовательно, в двадцать суток почти по две пытки на каждый день. (Прим. авт.)

ций с шведом, собирайся и ты со мной в Питер, — говорил государь Петру Андреевичу Толстому, заботливо перебиравшему и сортировавшему бумаги розыскного дела в царском Преображенском кабинете.

— Никаких суспиций не должно быть, ваше царское величество, ибо воровство разыскано пунктуально, точно на ладони, — с уверенностью отозвался Петр Андреевич, — но если соизволите выслушать мою рабскую пропозицию, то по главному сюжету резолюции не мочно...

— О главном сюжете генеральное суждение будет в Питере, и по оному бумаги отложи в сторону, как я указал, — перебил государь.

Петр Андреевич снова принялся за просмотр показаний и стал разделять их на два столбца, искоса по временам взглядывая на задумавшегося царя. Указание государя заключалось в том, чтобы по тем обстоятельствам, которые достаточно выяснились розыском, составилось решение немедленно в Москве при бытности же его, а по обстоятельствам, касавшимся до главной сути, — до побега царевича, розыск перевести в Петербург, куда должна была приехать и Афросинья, показания которой представлялись существенно важными.

По оконченному кровавому розыску можно было судить, какими ничтожными размерами ограничивалось преступление, так называемое тогда воровство. Сплетни, жалобы, слезливые ноты о прежних временах, утешения угнетенных, высказывавшиеся только одними желаниями возвращения к прежнему, и притом же от лиц, не имевших почти никакого влияния на государственное движение. Самые беспощадные пытки не вызвали указания на участие влиятельных персон, стоявших у руля, за исключением лишь Кикина, цели которого были совершенно личные. Правда, в числе недовольных обнаружилось одно лицо коллективное, духовенство, лицо важное по непосредственному своему отношению с народом, но и это недовольство проявилось только в сетованиях да в пророчествах. Без всякого сомнения существовала тайная нравственная связь у царевича с духовенством, но непосредственного, злого отношения, несмотря на все усилия, не отыскалось. Об этой-то связи и думал государь, когда Петр Андреевич приводил в порядок розыскное производство.

— Когда бы не монахиня, не монах и не Кикин — Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло, — прогово-

рил государь после непродолжительного молчания, как будто сам с собою, в виде резюме своей розыскной деятельности, — ой, бородачи! Многому злу корень — старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Бог сердцеведец и судья вероломцам... Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник...

— Кающему и повинующему милосердие, а вот старцам пора бы обрезать перья и поубавить пуха, — вставил вполголоса, в тон государя, Петр Андреевич, почувявший в мягком голосе государя сожаление к сыну и у которого мелькнул в голове вопрос: а что, если царевич спасется, каково тогда будет лично ему?

— Не будут летать скоро. Скоро! — закончил государь, принимаясь писать инструкцию Брюсу и Остерману.

По окончании розыска для обсуждения преступлений подсудимых и определения им наказаний государь назначил особый верховный суд из высокопоставленных особ, которых он называл своими министрами. В состав суда поступили: князь Иван Федорович Ромодановский, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, генерал-адъютант граф Федор Матвеевич Апраксин, вице-канцлер граф Гаврило Иванович Прозоровский, барон Петр Павлович Шафиров, Алексей и Василий Салтыковы. Не было никого из рода Долгоруковых, Нарышкиных, Голицыных и Гагариных — вероятно, по родству с некоторыми из подсудимых; не вошел также и Петр Андреевич Толстой — вероятно, по деятельному участию в розыске.

Верховный суд вследствие настоятельных понуждений царя имел только два заседания*, но успел рассмотреть все следствие о винах почти полусотни лиц, взвесить относительную важность преступлений и определить соразмерные кары.

По делу царевича первым по очереди и по важности обвинений стоял Александр Васильевич Кикин. По рассмотрении показаний обвиняемого и улик господ министры присудили: учинить ему смертную казнь жестокою, а все его движимое и недвижимое имение взять на его царское величество. Суд в постановлениях своих, как видно, различал два главных вида смертной казни — жестокою и простую. К первому принадлежали колесование и по-

* 14 и 16 марта. (Прим. авт.)

сажение на кол, к второму — отрубление головы. Александру Васильевичу назначили колесование.

Затем к простой смертной казни господина министры приговорили Федора Дубровского, которому царевич перед своим отъездом высказал намерение бежать и который не донес об этом своевременно. Впрочем, приговор над Дубровским исполнен не был, так как государь приказал перевезти Дубровского в Петербург, вместе с другими прикосновенными к делу царевича, для окончания там следствия новым розыском.

Покончив с Кикиным и Дубровским, суд обратился к рассмотрению вины князя Василия Владимировича Долгорукова. По оговору царевича, князь Василий оказывался виновным в участии к нему, выразившемуся в словах: «И давай писем хоть тысячу... когда еще что-то будет», — следовательно, как будто бы в наклонении царевича к отречению, именно с целью впоследствии отказаться от отречения. Однако ж этот оговор суд признал еще недостаточно уликою ввиду доказанного намерения царевича и Кикина умышленно навести ложное подозрение на князя. Признавая вследствие этого участия подсудимого к царевичу сомнительным, господина министры, не определяя сами наказания, передали это обстоятельство на высокое его царского величества рассуждение. «Что же касается до дерзновенных выражений Василия Владимировича в разговоре с Вороновым, в которых будто князь называл царевича дураком за возвращение в отечество, то за эти слова суд нашел князя Василия достойным лишения чина, всего движимого и недвижимого имущества и ссылки».

Более пришлось поработать верховному суду по сурдальскому делу, оконченному и производством совершенно полному. В приговоре о Степане Богдановиче изложены мотивы определения наказания: «За сочинение у него письма к возмущению на его царское величество народа и умысла на его здоровье и на поношение его царского величества имени и ее величества государыни царицы Екатерины Алексеевны учинить жестокою смертную казнь; а что он о письмах с розыску не винулся, что он их к тому писал, а говорил, якобы писаны о жене его, а иные и об отце и о брате и о сыне, переменяя речь, и то видно, что он чинил то, скрывая тех, с кем он умышлял, и прикрывая свое воровство, хотя отбыть смертные казни; но те его письма о том воровстве ясно исказуют, да и он от них и сам

не отпирался, что те письма писал цифирью он, Степан*; да и потому он смертной казни достоин, что с бывшею царицею, старицею Еленюю, жил блудно, в чем они сами винулись именно; а движимое и недвижимое имение все взять на государя».

Государь приказал Степана Богдановича посадить на кол — казни самой медленной и мучительной.

Затем Ростовскому епископу Досифею, или расстриге Демиду, верховный суд определил: «За лживые его на святых видения и пророчества и за желательство смерти государевой и за прочие вины учинить жестокою смертную казнь, для показания всем, чтобы другие впредь, смотря на такую казнь, так «никто на святых не лгали и на государево здоровье не злодействовали и лживо не пророчествовали».

Точно так же определена была смертная казнь, впрочем простая, и соборному ключарю Федору Пустынному, за то что «он бывшей царице, старице Елене, ведал, что она пострижена, и исповедовал исповедью монашескою, а поминал ее при служении царицею Евдокиею, да он же приносил к ней подарки от Степана Глебова, и потом своим ходатайством ввел его к ней в любовь».

Точно так же присуждена была смертная казнь и певчому царевны Марьи Алексеевны, Федору Журавскому, за то, что не доносил о пророчествах Досифея, говаривал с Лопухиным возмутительные слова и сам писал о тягостях народных, но по особому распоряжению государя Федор Журавский не был наказан, а сослан на вечную каторжную работу.

И наконец, господа министры присудили смертную казнь князю Щербатову, за переписку его с бывшею царицею Евдокиею Федоровною и за желание смерти государю, о чем неоднократно разговаривал с Лопухиным; но о князе Щербатове государь на докладе сделал собственною рукою надпись: «Взять его в Петербург и, по рассмотрении многих писем его, не казнить смертью, а учинить ему жестокое наказание, бить кнутом и, урезав язык и выняв ноздри, сослать в Пустоозеро».

* Вероятно, смущенные и оглушенные господа министры руководились влиянием или ходивших в то время убеждений, или мнений царя, так как в оставшихся цифирных в записках Степана Богдановича, наполненных богословскими рассуждениями, нет положительного указания на возмутительные замыслы. (Прим. авт.)

За смертными сентенциями о главных виновниках следовал разнообразный ряд более или менее тяжелых наказаний: поддьякону Ивану Пустынному, за недонесение о корреспонденции царицы и о пророчествах, учинить жестокое наказание, бить кнутом и, выняв ноздри, сослать на каторгу в вечную работу; Григорию Собакину, племяннику царицы Авдотьи Федоровны, за переписку с теткою и за продерзостные слова, сказать смерть, а потом, учинив наказание, сослать в каторгу; и многим другим в том же духе.

Отвыкла было Москва от даровых зрелищ. Прошло более четверти века от кровавых стрельческих смут, когда мирные городские обыватели дрожали за себя и за свои достатки, запирали дома от пьяных ватаг; прошло более двадцати лет и от последней страшной расплаты, когда тысячи тех же стрельцов унизывали телами своими зубцы городских стен, забыла Москва подобные увеселения и зажила было своею тихою жизнью, временами только расталкиваемой беспокойными наездами новатора, то в виде праздников по случаю викторий, то в виде требования жертвований людьми и деньгами. Пробуждалась тогда Москва от таких наездов, раскошеливаясь, и потом снова впадала в свою дрему, прислушиваясь вприсонках к отдаленному шуму, точно к морскому прибою, о новых затеях царя, о новой столице, о новых приморских приобретениях, о странном каком-то разделе в царской семье и, наконец, о побеге за границу сына-царевича.

Москва любила царевича; с спокойною уверенностью ждала она, когда минуется беспокойное время и снова пойдет все по-прежнему, при новом царе, дорожившем вековыми преданиями... И вдруг все это сонное спокойствие разлетелось прахом, улетучилось не от одних слухов, а от воочию совершающихся страшных событий. Приехал царь, съехались высокие персоны и приближенные царя, наехали духовные иерархи, привезли выманенного из-за границы беглеца-царевича, навезли каких-то колодников, начался розыск в Преображенском.

И все это не слухи от праздных кумушек. С царского двора несутся странные речи, которым не хочется верить, речи вовсе не по великопостному времени, когда говорятся слова о бесконечном милосердии, а не о крови и казнях. Однако ж слухи все растут, становятся очевидностью,

и не верить им нельзя — на Красной площади, перед дворцом, у всех на глазах, строятся странные машины, какие-то колеса, врывается кол и выводится из белого камня, в виде четырехугольного пьедестала, какой-то памятник, не то столп, не то пирамида, вышиною в шесть локтей, с железными острыми шпиками по сторонам и с наложенной наверху каменной плитой в локоть толщины. Наконец, в субботу на крестопоклонной неделе,— и самое даровое зрелище искупления если не чужих, то своих грехов.

В третьем часу пополудни на Красной площади идет процессия к колу, врытому против памятника. Шествие открывает сам царь с приближенными, а за ними едва передвигает ноги генерал Степан Богданович, весь изрезанный и искалеченный, но гордый, как будто вынесенные им нечеловеческие муки придали ему новые силы. Около него, по сторонам, духовные лица: архимандрит Спасского монастыря Лопатинский с монахом Анофрием да учителем иеромонахом Маркелом. Подошли к колу; Маркел наклонился к осужденному, что-то ему шепчет, видно, предлагает исповедь, но несчастный отрицательно качает головой и прикладывается к кресту машинально, только по обряду. Расширенные, готовые выйти из орбит глаза Степана Богдановича словно прикованы к острому колу, а по всем членам пробегает нервная дрожь. Кругом расставлены войска, а позади них народ с обнаженными головами и с тупыми, напуганными взглядами. Началась казнь... А с ближнего собора Василия Блаженного и со всех кремлевских церквей раздался мерный, точно похоронный, колокольный звон. Государь подходит к посаженному уже на кол генералу Глебову и запальчиво осыпает его резкими упреками за неблагодарность, но Степан Богданович упорно молчит и, только оглянув государя как будто насмешливым взглядом,— плюнул.

Страшные муки медленной казни переносил Степан Богданович. Каждое судорожное невольное движение мускулов производило невыносимые страдания, но он выносил их по-прежнему, как и на пытках, молча, стиснув зубы, не издавая ни одного стога. Казалось, страшный переход к другой жизни не примирял его с ничтожеством человечества, а, напротив, озлоблял с страстной напряженностью. Несколько раз подходили к нему почтенный архимандрит с иеромонахом Маркелом с тихими словами о покаянии и прощении, и каждый раз умирающий отвечал им отрицательным поворотом головы. Только к утру, перед рассве-

том, когда члены онемели и острые боли как будто стихнули, проявился поворот. Степан Богданович пристально взглянул на доброго отца Маркела и, когда тот подошел к нему и наклонился ухом к губам, едва слышно пролепетал:

— Ради Бога... причаститься...

Отец Маркел подошел к отцу архимандриту за советом. Дело было трудное и опасное. Они обязаны были убеждать преступника к покаянию и получить от него признание в его преступлениях, но не могли удостоивать причащения. Но как же и лишить умирающего последнего утешения, и как отказом взять на свою душу великий непрощенный грех в этой жизни в будущей? Посоветовались между собою святые отцы и согласились на просьбу, дав друг другу смертное заклятие никогда и никому не проговориться о таком преступлении. Отец Маркел тайно принес Святые Дары, и Степан Богданович, причастившись, умер спокойно утром, в половине девятого, в воскресенье, шестнадцатого марта.

Труп Глебова посадили на плиту, составлявшую верхнюю плоскость памятника.

Пусто на Красной площади. Бывало, в такой праздничный день густыми толпами валил народ к кремлевским святыням, через святые ворота с трудом пробираясь мимо сплошного ряда заштатных попов, настойчиво теребивших прохожих и назойливо предлагавших им свои услуги отслужить молебны перед своими святыми иконами, то св. Власию на сбережение скота, то св. Антонию — от зубной боли, то св. Варваре — от нечаянной смерти, а теперь нет ни назойливых попиков, ни прохожих, и напрасно звонят призывные колокола; разве только какой-нибудь бойкий малец точно украдкой пройдет мимо памятника, взглянет в лицо умершего и, убоявшись снять шапку и перекреститься, прочь отбежит к своему делу.

На другой день, в понедельник, с утра засуетились заплечные художники около хитрых машин.

На Красной площади ожидает никогда не пропускавший ни одной казни государь и весь участвующий персонал из войск, монахов и четырех осужденных, давно знакомых: епископа Досифея, протоиерея Федора Пустынного, Александра Васильевича Кикина и еще одного незнакомца, подъячего артиллерийского приказа Лариона Докукина.

Эпизод с подьячим Докукиным составляет характерную иллюстрацию к делу царевича.

Во время разгара розысков второго марта, в первое воскресенье Великого поста, в церкви Преображенской тюрьмы, после обедни подьячий Ларион Докукин подал лично государю челобитную. В этой челобитной говорилось: «За неповинное отлучение и езжание от всероссийского престола царского, Богом хранимого государя-царевича Алексея Петровича, христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не клянусь и на том животворящего креста Христова не целую и собственною своею рукою не подписуюсь».

Государь приказал арестовать дерзкого подьячего и тотчас же сам принялся допрашивать и допытывать розыском. На виске Докукин, подтвердив свое заявление, показал, что написал его по соболезнованию к царевичу как к настоящему наследнику престола, рожденному от истинной жены; что Петра Петровича за наследника не признает, как рожденного хотя и от государыни, теперь царицы и христианки, но иноземки, от которой по смерти государя неминуюемо должна произойти православным великая спона, что писал и подписал челобитную он сам, ни с кем не советуясь, и что готов пострадать за слово Христово. Докукина несколько раз пытали и, наконец, приговорили к колесованию.

Даровое зрелище не привлекло зрителей: небольшая кучка беловолосых ребятишек, несколько приказчиков, испуганными глазами выглядывавших из полуотворенных лавок, Степан Богданович, сидевший на пьедестале и зорко следивший за церемонией над своими товарищами, да ворона, смело уместившаяся рядом с генералом и жадно поглядывавшая то в неподвижные глаза соседа, то на прибывших гостей.

Перед совершением казни государь обратился к Александру Васильевичу с вопросом:

— Скажи мне, Кикин, что побуждало тебя, при твоём уме, враждовать со мною и ненавидеть меня?

— Что ты говоришь о моем уме! — отвечал Кикин, исподлобья посмотрев царя. — Ум любит простор, а у тебя было ему тесно.

Государь подал знак палачам.

Первого, как и подобает духовному чину, повели к колесу епископа Досифея, а за ним отца Федора, Александра Васильевича и подьячего. И полились отчаянные вопли

сначала резкие, раздирающие, а потом постепенно стихавшие до глухого хриплого стога. Операции с святыми отцами и подъячим продолжались недолго — колеса скоро покончили с холеными, упитанными телесами духовных и с жидким организмом Докукина; но совсем иная доля выпала на цепкое тело Александра Васильевича. Оттого ли, что кикинский род одарен был особенной тягучестью и жизненностью, или оттого, что заплечный мастер, получив свыше особое распоряжение, умышленно тянул мучения и управлял колесом медленно, с промежутками, но Александр Васильевич почти целые сутки жил на колесе, ощущая страдания постепенного отнимания членов.

На следующее утро, накануне своего выезда из Москвы, государь, проезжая Красною площадью, приостановился осмотреть, все ли его распоряжения исполнены в точности.

— Помилуй, государь... пощади... дозвожь... век кончить в монастыре... — долетел до слуха государя по свежему утреннему воздуху умоляющий шепот Кикина.

Александр Васильевич был еще жив.

Царь удивился живучести бывшего своего любимца и облегчил его, приказав скорее покончить!..

И покончили скоро. Тотчас по отъезде царя, отрубив головы, сначала у Александра Васильевича, а потом у святых отцов и подъячего, палачи воткнули их на спицы четырех сторон памятника; из трупов же, — тела духовных сожгли, вероятно, из опасения чествования их как мучеников, а тела Кикина и подъячего положили по правую и левую сторону Степана Богдановича.

По приговору министеров, отец Пустынный подлежал простой смертной казни и потому не должен бы фигурировать на Красной площади на колесе, но... тогда не было бы симметрии и памятник увенчался бы головами с трех сторон...

В то время как одно дело оканчивалось на Красной площади, другое только что начиналось на дворе «бедности», как называл государь Преображенскую тюрьму. Там были собраны все приговоренные к тяжким телесным наказаниям; впереди стояли знатные дамы, окруженные тесною толпою серых людишек, прибежавших — кто выказать усердную преданность, кто из любопытства видеть, как будут бить кнутом и батогами обнаженные пухлые тела княгинь и боярынь: княгини Настасьи Петровны, жены близкого человека к царскому двору Ивана Алексеевича Голицына, княгини Настасьи Федоровны Троекуровой,

родной сестры бывшей царицы Авдотьи Федоровны и боярыни Головиной. Больно секли кнутом Настасью Федоровну, но не меньше досталось и княгине Настасье Петровне, которую хотя били только батогами, но зато с особенным усердием. По приговору господ министров за недонесение о пророчествах Досифея и за переноску слов из царского дворца царевне Марье Алексеевне княгиню Голицыну должно было по наказанию сослать на прядильный двор, но государь смилостивился и вместо прядильного двора отослал ее к мужу, Ивану Алексеевичу. Но не лучше было от этой милости бедной княгине — муж не принял опальной и сеченной по нагому телу жены и отослал ее к отцу, старому князю Прозоровскому.

До бывшей царицы, старицы Елены, и до царевны Марьи Алексеевны министерский приговор не коснулся; об них позаботился сам царь. Авдотью Федоровну отвез в Старую Ладугу, на житье в девичий монастырь, надежный подпоручик Преображенского полка Федор Новокшенов, строго в пути наблюдавший, чтобы никто не смел по дороге близко подходить к бывшей царице и разговаривать с нею и никто не смел бы передавать каких-нибудь писем или денег. И прожила Авдотья Федоровна в Старой Ладуге десять лет, вплоть до воцарения внука.

А царевну Марью Алексеевну отвезли в Шлиссельбургскую крепость.

XIV

— Видел, сватушка, страсти-то?— спрашивал работник в тулупе, с Подгородной слободы, свата-сидельца, входя в шорную лавку, стоявшую лицом на Красную площадь.

— Как же, Андреич, видел, все видел и доселева эвта страсть-то в глазах стоит,— отвечал сиделец, троекратно целуясь с сватом и сняв свой немецкий картуз, начинавший входить в моду между сидельцами в городе.

— Боязно, сватушка?— любопытствовал работник.

— Да так боязно, Андреич, так страшно, что хоть бы самому провалиться сквозь землю.

— Чай, не давались, вопили сердечные?— допрашивал тулуп, видимо желавший узнать все подробности.

— Чего не даваться-то, все едино... служилые тут, вон опять же заплечные... Подьячий да пропоп и не пискну-

ли, словно не живые и были, мигом отработались, а вот с Кикиным, баринном, так долго возились, все вопил... отче Досифей тоже великие мучения претерпел.

— Слышь, сват, у нас болтают, будто святого отца Досифея разнимали напрасно, царь велел ему головку только срубить, а секлетарь обшибся. Вишь, опосля государь допрашивал этого секлетаря: зачем, мол, ты мучил архиерея, разве подобает так надругаться над святителем? А тот в ноги повалился, помилуй-де, государь, обшибся, думал всех сровня.

— Пустяки болтают, Андреич, секлетарь не смел бы совершить такое дело, ведь он, значит, бумагу читал об их провинностях и казнях, опять же приготовлено было по числу и машин,— шпиц тоже на четыре стороны.

— Вижу, сват, пустяки болтают. А как читал секлетарь, за что отче Досифея разнимали?

— За видения, Андреич, за гласы.

— Полно, сват, как за гласы святого человека казнить?

— Да так. Гласы будто ему были от святых икон, что вот, мол, царица опять воротится ко осударю, а царь-то не верит гласам и видениям... вот и казнил, не посмотрел, что святитель. Последние времена, Андреич; об антихристе болтают... Богу надо молиться...

Оба сняли шапки и набожно перекрестились.

— Сватушка, милый человек, я к тебе с жалобницей,— снова начал тулуп.

— Про што, Андреич?

— Добыл бы ты мне, милый человек, какой ни на есть махонький кусочек от телес святителя альбо протопопы...

— Никак не можно, Андреич, телеса их сожгли. Да пошто тебе?

— Вишь што, голубчик милый, Анютка моя болезнует. Уж я маялся, маялся с ней, к тетке Устинье бегал, сама бабушка Варвара заговаривала, ничего не действует. Вот я и смекнул зашить ей в ладонку кусочек от святых телес альбо кровинки, авось полегчает.

Такие, или подобные таким, разговоры велись между горожанами после казней. Слух об ошибке секретаря упорно держался у обывателей, не понимавших возможности публичного истязания святителя. Об этом слухе даже доносил и цесарский резидент Плейер своему правительству.

— О кондуите Алексея и обо всех воровских хитростях доподлинно можно уведать токмо в Вене, где всем акциям были свидетели воочию, а того ради, господин тайный советник, отпиши от меня нашему резиденту Авраму Веселовскому, дабы он досконально разведал от цесарского правительства, какие Алексей писывал бумаги, бывши там в заключении, и вытребовал бы от него послания к нашему сенату и архиереям, о которых сын наш Алексей нам лично признался. А цесарю напиши грамоту, дабы он немедля отозвал от нашего двора Плейера, яко мы за лжи и клеветы его лично на мою персону и на наше государство с ним об альянсах никакиѣх конфидентных трактатов держать не можем. Написав же, представь ко мне на апробацию оные бумаги в сей же день, понеже мы завтра отъезжаем в Питер, — приказывал государь графу Петру Андреевичу, через руки которого шло дело о царевиче.

Петр Андреевич и принялся за перо, а государь пошел во внутренние покои к государыне.

Во все время розысчного процесса государь постоянно находился в крайне возбужденном состоянии; от неудач в допросах, от умышленно и неумышленно бестолковых показаний, от непрерывных пронзительных воплей, раздражавших нервы и волнующих кровь, государь постоянно тревожился, со лба не сходила досадливая складка, не переставали дрожать и дергаться личные мускулы. Гнев и волнение не могли не влиять пагубно на организм, надорванный непосильным трудом и расстроенный недугом. И инстинктивно государь чаще стал искать покоя, чаще стал заходить на половину своей Катериночки выпить рюмочку-другую анисовки, отдохнуть и перемолвиться двумя-тремя словами по душе. Под влиянием всегда ровного участия жены он действительно освежался и успокаивался до тех пор, пока неугомонно работающий мозг не набегал на какой-нибудь новый проект.

Государыня видела тревожное состояние мужа, ясно понимала опасность от такого напряжения и старалась насколько могла развлекать и успокаивать его. Бывая у ней, государь отдыхал, засматриваясь в ясные глаза своей Катериночки, не предвидя, что и ясные глаза бывают способны не все выдавать напоказ. По наружности государыня казалась по-прежнему ласковой и приветливой, но более холодный равнодушный наблюдатель мог бы подметить и в ней едва уловимую перемену. Временами она делалась тревожной и раздражительной; часто, штопая

чулки для мужа или зашивая его старый кафтан, она вдруг останавливалась и беспомощно опускала руки на колени; часто, будто прислушиваясь к чему-то или ожидая чего-то, она уходила в себя, не замечая, как юркая Лизок обвивала ручонками ее талию и зацеловывала все ее лицо и шею. Временами и в ней проявлялась потребность деятельности, чаще она стала выезжать и чаще стала призывать своего красивого камер-юнкера, посылая его с какими-нибудь поручениями.

Государя во внутренних покоях встретила неожиданно выюркнувшая откуда-то и опрометью бросившаяся бежать по коридору любимая камеристка государыни.

— Эй, эй, постой, где Катеринхен,— закричал ей вслед государь.

— У себя там, ваше величество, изволят писать,— на бегу отвечала камеристка встревоженным голосом и не останавливаясь.

Государь нашел Катерину Алексеевну в будуаре, за письменным столом, с заметным усилием выводившую буквы; подле нее на столе лежало только что полученное письмо старой царицы Прасковьи Федоровны от 7 марта, сообщавшее о вожделенном здравии и благополучии оставшихся в Петербурге деток государя — объявленного наследника, царевича Петра Петровича и царевен Анны Петровны и Лизаветы Петровны.

Государь прочел послание царицы и заметно повеселел; потом, наклонясь над плечом жены, он посмотрел на ее письмо и усмехнулся.

— К кому это работаешь, мутерхен?

— К Александру Даниловичу пишу по твоему наказу, чтобы он изготовился к нашему приезду и приготовил бы для царевича Шелтинговский двор, где шведский шаутбенахт очистил бы там все, поправил бы и вымыл полы,— совершенно спокойно и не поднимая головы отвечала государыня.

Но если бы государю вздумалось взять послание жены в руки, то под ним открылось бы другое, совершенно иного содержания письмецо, которое его Катеринушка, узнав от камеристки о приходе мужа и слышав его тяжелые шаги, поторопилась накрыть начатым ею письмом к князю Меншикову.

— Резонно, мутерхен, весьма резонно; а от Данилыча нет цидулы? — спросил царь, целуя наклонившуюся голову жены.

— Как же, вчера получила, — вот возьми там, на этажерке.

Государь взял лежавшее отдельно письмо и отчетливо, с расстановкою начал читать вслух:

— «Хотя я твердо уповаю, что ваше величество от приключившейся печали (которая, по воле Божией от злодеев или от сынов дьявольских наступила) отвлекать изволите, однако же чрез сие все милостивейшую нашу мать государыню слезно умоляю, дабы от оной его царское величество отвращать, и ни малого сокрушения, от чего, как сами ваше величество довольно изволите рассудить, что ни малой пользы, кроме непотребного его величества здравью и тяжкого вреда, допускать изволили...»

— Спасибо ему за консуляцию, если она идет от чисто сердца и не от чего иного, — проговорил государь, как будто сам с собою.

В последнее время от развившейся подозрительности даже не избегнул и сам все сильный фаворит с детства. Многие наталкивало царя на не совсем честные побуждения и дела князя, на многое государь умышленно закрывал глаза, стараясь уверить себя в честности друга детства, но между тем, против воли его, в уме постоянно раздавались слова сына, узнанные из розысков: «Вот и умный человек батюшка, а и его обманывает Меншиков». И вспомнились государю слова вешего пророка «Всяк человек ложь». «Да... везде и во всем ложь и обман... Обманывает и Сашка, — развивал государь, — смеется, чаю, надо мной... вот-де олух несмысленный!.. А я ли его не любил смлада, не одарил паче всех заслуг*, из разносчиков сделал светлейшим, наделил такими богатствами, что позавидовал бы любой суверен Европы. Да... обман и везде обман. Разве не был одарен Кикин, а чем заплатил... желал моей смерти да умышлял на мою жизнь».

И по страстной, увлекающейся природе, не умевшей ни в чем останавливаться на полпути, подозрительность государя укреплялась и развивалась все больше и больше.

* Князю Меншикову было пожаловано государем три города: Ораниенбаум, Раненбург и Батурин, сто тысяч душ крестьян в разных поместьях, пятнадцать домов в Петербурге и один в Москве и до двухсот лавок и бань. Ценность движимого имущества светлейшего князя была так велика, что когда совершилась конфискация его имущества через два года после смерти Петра Великого, то оказалось у него в доме одной серебряной посуды более чем на двести пятьдесят тысяч рублей да наличной монеты на восемь миллионов рублей — богатство поразительное по ценности того времени. (Прим. авт.)

Апрельское солнышко весело смотрит с голубой выси, топит бурные сугробы снега на площадях и улицах Петербурга, гонит только что вскрывшиеся свежие невские волны от Ижоры до новой крепости, громоздит ледяные глыбы у троицкой пристани, оживляет истомленные лица вольных и невольных обывателей и нашептывает царю новые проекты: как бы вернее укрепить за собою, поскорее устроить и разукрасить любимое побережье. И новая столица растет не по дням, а по часам, прошло не более полутора десятка лет с первого осмотра неутомимым новатором безлюдного и болотного берега, а теперь царская резиденция выглядывает по ранжиру выстроенными мазанками и духовными домиками, Петропавловскою крепостью, Адмиралтейством, Троицким собором, церковью Исаакия Далматского и прокопанными каналами — будто и настоящим городом с торговой деятельностью и с богатыми надеждами на будущее.

Главный центр государственной и общественной жизни столицы того времени составляла площадь около Троицкого собора, в котором государь обыкновенно бывал у церковных служб, читал Апостола, — кругом которого отстроились дома приближенных лиц: Гаврилы Ивановича Головина, барона Петра Павловича Шафирова, Андрея Ивановича Остермана и Александра Даниловича Меншикова, на троицкой же площади, в карточном своем домике жил государь с своей Катеринушкой, малыши дочурками и шишечкой Петром, неусыпно наблюдая кругом за работой. Тут же недалеко, почти вплоть, в крепостных раскатах сидели под тяжелыми запорами и те люди, о судьбе которых теперь государь заботился едва ли не больше, чем о своем новом парадисе.

Утро первого дня Светлого Воскресения Христа. От карточного домика Петра, под неустанный колокольный звон, отъезжают экипажи высоких особ, бывших у царя с обычными поздравлениями по случаю радостного праздника. Вслед за экипажами, проводив гостей, вышел на берег и сам государь — осмотреть, скоро ли можно будет на давно приготовленной шлюпке прокатиться по мягким волнам. В домике остались только самые приближенные царицы: ее любимые статс-дамы и неразлучная с ней Матрена Ивановна с братом своим камер-юнкером Вилимом.

Катерина Алексеевна в последнее время похорошела.

В каждом грациозном движении ее белоснежного тела, стройно охваченного белой робой с розовыми лентами, в тщательно и красиво взбитых локонах и в оживленных голубых глазах сказывалась женщина, в которой говорила жизнь, не удовлетворявшаяся мелочными житейскими потребностями вроде чистки и штопанья чулок и кафтанов. Теперь Катерина Алексеевна смотрела царицей и женщиной, нисколько не напоминаями прежнюю пасторскую медхен. Точно так же, в три года от первого поступления ко двору, изменился и Вилим Иванович, смотревший уже не прежним робким, нежным юношей, не смевшим поднять глаза на свою повелительницу — Вилим Иванович сложился в очаровательного стройного придворного, верно сознающего свой вес и свое место при дворе, где он чувствовал себя дома, человеком близким и дорогим... В отношениях государыни и ее камер-юнкера постепенно и незаметно для них самих, невидимо для мужа, но заметно для зорко наблюдающих придворных, устанавливалась та короткость, в которой совершенно сравнивается разность общественных положений. Молодой камер-юнкер чувствовал в словах своей государыни другое значение, совсем не то, которое отдавалось ему сухо, как верному слуге, и в светлом, будто нечаянно брошенном на него взгляде, — иное выражение.

— Жаль бедную, погубила себя, — говорила Катерина Алексеевна, в раздумье играя белокурыми кудрями стоявшей подле нее старшей дочери Анюты.

— А диковинное это дело, как мы за ней ничего не примечали. Стыдливой такой казалась, от всего, бывало, краснела, а тут вот что наделала... ребенка бросить... да и бросить-то не так, как следует!.. Нет бы отдать кому-нибудь по тайности... Да, в таких делах надо быть очень осторожным, — рассуждала Матрена Ивановна, бросая искоса значительный взгляд на брата.

— От стыда, должно быть, думала, никому невдомек, — заметила государыня.

— От стыда да от неопытности, — подтвердила Матрена Ивановна, — все хоронилась, хоронилась, вела дело хорошо, а кончила глупо. Как можно было завертывать ребенка в белье с метками! Думала обойтись самой, без помощи... нет, без опытного человека никак нельзя...

Случай, который занимал тогда все высшее общество столицы, о котором толковали во всех кружках, как и теперь в интимной беседе государыни с Монсами, касался до

несчастной фрейлины царицы Марьи Гамильтон, или Гамелтовой. Бедная девушка, без поддержки близкой, родной руки и под влиянием тлетворной заразы, овладевшей тогда женщиною, вышедшею вдруг из заключения на полную свободу с развитой чувственностью и без нравственных начал, беззаветно поддалась страсти к ловкому царскому денщину Ивану Орлову и пала, как падали тогда многие и многие, но более ее счастливые или, лучше сказать, более ее опытные и находчивые. Следствие падения не замедлило обнаружиться в постепенно увеличивающейся полноте. К довершению горя и счастье красавицы продолжалось не долго: насытившись ласками невинной жертвы, увлеченной клятвами и обещаниями близкого брака, оболститель скоро охладел к ней и стал отдаляться. Марья Степановна страдала невыносимо; делая нечеловеческие усилия казаться в обществе веселой и скрыть от всех свое положение, у себя в комнате она по целым ночам рыдала, стараясь заглушить свои стоны, плотно прижимаясь мокрым лицом к подушке. Но время шло да шло, и скоро настал момент, когда она сделалась матерью... Одинокая, в порыве отчаяния и бессознательного исступления, она схватила шейку новорожденного обеими руками, притянула к себе, взглянула на сморщенное красненькое личико, в котором узнала черты отца, страстно поцеловала и, глухо вскрикнув, судорожно сдавила тонкими пальцами дряблое горлышко. Через несколько минут в ее руках лежал только труп... Далее она ничего не помнила; не помнила, как, инстинктивно накинув на себя платок и обернув младенца первым попавшимся под руку бельем, она неслышно выскользнула из спальни, прокралась через смежные комнаты, вышла в сад и там бережно сложила свою ношу...

На другое утро между гряд дворцового сада нашли холодный труп новорожденного и доложили царю. Так как по медицинскому свидетельству оказалось, что ребенок умер насильственной смертью, то начался деятельный розыск виновного. Как опытный следователь, государь сам осмотрел ребенка, обратил особенное внимание на белье и заметил помету царского двора. Подозрение упало на фрейлину Гамильтон, ее допросили и заключили в тюрьму до решения суда.

— Без знающего человека в таком деле никак нельзя обойтись,— продолжала Матрена Ивановна,— чаю, ее скоро решат.. к чему-то присудят?

— Муж говорит, что по регламенту следует смертная казнь,— нетвердо отвечала государыня.

Какое-то странное, не то пугливое, не то участливое, выражение пробежало по красивому лицу Вилима Ивановича, в уме которого невольно мелькнуло сравнение с своим собственным положением.

— Казнят несчастную?— с волнением спросил он, вскинув выразительные глаза на государыню.— Но ваше величество, верно, не допустите до этого и уговорите государя?

— Не могу тут ничего сделать,— отозвалась она закрашившись,— не то время... Муж стал таким недовольным и раздражительным, особенно теперь по этому делу царевича. Разве научить царицу Прасковью Федоровну, она мастерица его обходить...

— А вон и он сам!— вдруг объявила Монсова, усевшаяся было вдаль от государыни и брата у окна.

— Кто? Муж?— спросила Катерина Алексеевна далеко не прежним ровным голосом.

— Совсем не государь, а царевич идет сюда по площади; верно поздравить ваше величество с праздником,— успокоила Матрена Ивановна.

Вошел царевич, робко, пугливо озираясь во все стороны, точно преступник. Мачеха, не видевшая его более двух лет, совсем не узнала пасынка. Трехмесячный преображенный розыск положил страшную печать на мягкую природу царевича. Глубоко сидевшие в синих впадинах глаза смотрели тупо, неподвижно и бессмысленно, отвислая от худобы кожа оттянула углы открытого рта с обеих сторон и придавала всему лицу жалкое выражение забитого животного; даже прежний высокий рост умалился от сгорбленной спины.

— Здравствуй, Алексей Петрович, будь гостем!— приветливо встретила Катерина Алексеевна пасынка, но не решаясь называть его царевичем.

Она трижды похристосовалась с ним не без тайного отвращения.

— Матушка-государыня, смилуйся! Помоги мне, несчастному!— почти выкрикнул пасынок надорванным голосом, бросаясь пред нею на колени и лоя обеими руками ее руку.

— В чем, Алексей Петрович, я могу помочь тебе? Успокойся, садись и скажи мне,— утешала Катерина Алексеевна, которой действительно было жаль царевича и ко-

торой хотелось бы в чем-нибудь помочь ему; но вместе с тем ей вспомнились и постоянные советы Данилыча, его рассказы о том, что ее собственное благополучие зависит от окончательной гибели пасынка.

— Смилуйся, государыня,— умолял между тем пасынок, целуя ее руки,— умилостави и уговори государя.

— Готова бы я, да скажи, в чем уговорить?

— Скоро Афрося моя прибудет... Помиловал бы нас государь, позволил бы жить со мною, обвенчал бы нас, а потом пусть сойдет куда хочет, хоть на край света Божьего... Готов я сделать, что прикажет; все готов сказать, что ему будет угодно, только бы помиловал, обвенчал нас, сложил бы с моей души грех,— продолжал умолять Алексей Петрович, обливаясь слезами и прижимаясь головою к ее ногам.

— Полно, Алеша, встань, не плачь, все сделаю, что смогу,— успокаивала государыня, стараясь приподнять царевича. И в эти минуты она сердечно жалела пасынка, готова была ему помочь, забыла даже и о наговорах князя о собственной ее опасности, о том, что за пасынком стоит целый легион тайных недоброхотов, от которых не будет пощады ни князю, ни ей самой.

С большим трудом удалось наконец Катерине Алексеевне, вместе с Вилимом Ивановичем, поднять царевича и усадить его к столу, уставленному бутылками разных вин и остатками от закусок разговенья.

При известных душевных расстройствах обыкновенно замечаются чрезвычайно быстрые, без всякой последовательности переходы состояния духа. За столом царевич моментально забыл все свое горе, без умолку хохотал бессмысленным смехом, выпивал рюмку за рюмкою и глотал почти не разжеванными большие куски кушаний с жадностью животного, истощенного двухмесячной постной пищею*.

В эти минуты он забыл и о своей Афросе.

Афрося, проживая в Берлине более месяца и останавливаясь по пути немалыми роздыхами по случаю своей беременности, въехала в Петербург только на третий день Воскресного праздника. Об участи царевича и о московском розыске она не имела никаких известий и слепо

* По свидетельству Плейера, основанному на рассказах очевидцев, царевич в последнее время находился в помешательстве ума. (Прим. авт.)

веровала в розовую будущность. Да и как же было не верить и не надеяться ей, когда в последнем письме к ней милый царевич просил не печалиться и не верить немецким курантам и когда сам уполномоченный, граф Петр Андреевич, обнадеживал ее ласковыми письмами в добром исправлении и высказывал с нелицемерным чистосердечием: «Дай Бог вашу милость, мою государыню, вскоре нам купно при государе-царевиче видеть».

Под синим небом Италии Афрося сильно тосковала по родине, по ее широким полям с лазоревыми цветочками, по ее рекам, лесам и долам, по жгучему солнышку, по свежему ветерку; а теперь, в действительности, оказалось совсем иное, и все эти прелести явились созданиями собственного ее воображения. Широкие поля оказались утомительными бесконечными равнинами с липкой грязью на дорогах, до того глубокой и вязкой, что тощие лошаденки едва могли черепашьим шагом тащить ее тяжелый дорожный экипаж; вместо лазоревых цветочков — полусгнившие стебли прошлогодней травы, хмурый лес гудит и раскачивает вершинами неприветливо, реки катятся не светлыми освежающими струями, а какими-то тинистыми бурными потоками, бурливыми и опасными в весеннее время, вместо ласкового воздуха сырой, пронизающий до костей туман, от которого разносятся повсюду головные боли да насморки, а об солнышке и помина нет за сплошными серыми тучами, из которых сеется резкая крупа.

Не обращая внимания на холодный морской ветер, Афрося высунулась из экипажа, когда стали проезжать по столичным улицам. Много изменилось в Питере в два года: проведены новые улицы, выстроены новые дома, вся почти набережная Мии застроена; каналы с перевозами или перекинутыми через них мостами; больше движения, больше лавок и аустерий; по сторонам улицы густые толпы народа куда-то спешат, послышалась пушечная пальба и далеко разносившиеся дружные крики «ура».

— Что это?— вскрикнула Афрося, испуганная гулом пальбы.

— Из снаряда палят, значит, река прошла и царь изволит тешиться на кораблике,— сонно отозвался ямщик, передергивая вожжами по измученным лошадям.

— Стой, стой! Миновал поворот!— снова выкрикивает ямщику Афрося, указывая ему на проулок, прилегающий к дому Вяземского, но ямщик молча поддевает себе по лошадам и везет дальше, прямо к реке.

«Верно, Никифор Кондратьевич выстроил себе новый дом на той стороне, аль Алеша приказал провезти меня прямо к себе», — подумала Афрося и успокоилась.

Доехали до реки. Видно, что позаботились об Афросе — у пристани ожидает перевозная снасть, и не успела она подъехать, как мигом перемахнули ее, брата ее и слуг на другую сторону, прямо к крепости.

Довольна Афрося услужливостью, но отчего только сам он не вышел ее встретить, — думает она и собирается, при встрече, пожуричь милого. Вошли в крепость, везде солдаты, встретил их какой-то капитан и сделал распоряжение о размещении их всех, а Алеши все-таки нет. Удивляется Афрося и спрашивает набольшего: где Алеша, здоров ли он? Но набольший не ответил, а как будто изумился. По входе в длинное, узкое и низкое здание Афросю отделили от брата и слуг; их повели вниз по лестнице, а ее в особое помещение, из одной комнаты, где были приготовлены постель, умывальник и все белье, нужное для беременной женщины; но на всем этом лежал странный, форменный оттенок.

Напрасно Афрося приставала ко всем с расспросами. куда ее привезли, отчего нет царевича, не болен ли он; напрасно просила и грозила гневом будущего государя за такое с ней обращение: ее никто не слушал, не ответили даже и того, что ее Алеша более уже не наследник. Наконец, когда перенесли все ее пожитки и когда за захлопнувшейся дверью щелкнул замок, она поняла, что ее привезли не к барину Вяземскому и не во дворец царевича, а в тюрьму. С отчаянием Афрося бросилась к запертой двери, стучала в нее изо всей силы кулаками, кричала, что будет жаловаться, что, верно, ее заперли ошибкой вместо какой-нибудь другой женщины — ответа не было, только гулко отдавались шаги часового по безлюдному коридору

Утомившись порывистыми движениями, Афрося упала на постель и зарыдала с досады на дерзость солдат, на глупость начальника, заперевших ее даже без спроса, кто она; Афрося рыдала долго, несколько часов, вплоть до того времени, когда у дверей ее вновь щелкнул замок и в полуотворенных дверях показался знакомый человек, Петр Андреевич Толстой.

— Голубчик мой, Петр Андреевич, меня заперли сюда, обознавшись за другую какую-то, ослободи ты меня, накажи этих грубиянов да оповести моего Алешу, что я к нему приехала, — забросала жалобами и просьбами Афрося, об-

нимая старого знакомого и не замечая, что теперь перед ней не неапольский Петр Андреевич, а совсем другой человек. Тот был ласковый, услужливый, сладкими речами прямо залезал в душу; а этот холодный, точно словно и незнакомый.

— Запер тебя, Афросинья Федоровна, господин комендант не ошибкой, а по именному приказу государя и вывести отсюда я не смею,— холодно и уклончиво отвечал граф.

— Как по приказу государя? За что? Где мой Алеша? Разве прощенных казнят?— растерянно спросила Афрося.

— Алексей Петрович живет на свободе, его не казнят, а государь хочет только знать: зачем он бежал, кто ему в этом деле пособниками были и что он делал там у цесаря? Будет и тебя допрашивать государь. Так вот, помня твою милость к себе, я и пришел тебе посоветовать, когда будешь на допросе у государя, так ничего не утаивай ни о письмах царевича, ни о жалобах его на отца. Чем больше будешь говорить на него, тем для него и для тебя будет лучше. Сошлют тогда вас обоих, и будете вы жить припеваючи в вотчине; а будешь покрывать да утаивать, так, чего доброго, побываешь и на виске...

— А когда будет допрашивать? — испугалась Афрося.

— Доподлинно не знаю, а полагаю, что завтра; государь не любит никакого дела откладывать.

Но ни на другой, ни в следующие дни допросов не могло состояться. От волнений, тревог и испуга личного царского розыска Афрося, тотчас же по выходе Петра Андреевича, почувствовала себя дурно, стала страдать, а через несколько дней и разрешилась.

Несколько дней пролежала Афрося в крепостных казематах между жизнью и смертью и встала только в половине мая, благодаря крепкому организму и тщательному докторскому лечению.

Между тем время не терялось даром. Оставив Афросю лежать в родильной горячке в душных казематах Петропавловской крепости, государь лично допрашивал с висками служителей царевича, бывших с ним в цесарских владениях, Петра Меера и Якова Носова, подъячего Петра Судакова и брата Афроси, Ивана Федорова. Допросы производились приличные, с приличными же ударами кнутом, кому было дано десять, кому пятнадцать ударов, но никакого ясного результата не получилось. Все они показали одно и то же, что поехали с царевичем, не только совершенно не подозревая намерения побега, но даже объяс-

няя таинственность поездки приказанием государя, что во время пребывания в Эренбурге царевич действительно получал какие-то письма от генерала Роста, но от кого были те письма, они не знали и не знают.

Так как показания оказывались справедливыми до очевидности, были согласны с заявлениями царевича и были удостоверены самим Петром Андреевичем, то и оставили их всех четырех в покое вплоть до решения Правительствующего сената, который, впоследствии, в двадцатых числах июля определил: «Сослать их в Сибирь с запискою в пристойную службу, и для того, что здесь им быть неприлично».

XVI

Если почти каждое, даже самое незначительное местечко из окрестностей Петербурга, может сказать от себя хоть какое-нибудь словечко о великом русском новаторе, то Петергоф, бесспорно, — полная, живая поэма творчества своего основателя. Этот роскошный, волшебный букет финского побережья, весь целиком со всеми своими хитрыми системами водопроводов, водопадов, фонтанов и каскадов, с затейливыми гротами и бассейнами — создание воли, ума и рук Петра. Происхождение Петергофа не сложно. Государю необходимо было часто ездить на остров Котлин для наблюдения и руководства за постройкою укреплений как обороны столицы, и он обыкновенно отправлялся туда с того берегового пункта, который теперь занимает Петергоф.

Сначала на том месте, где обыкновенно государь садился в шлюпку для переезда на Котлин, выстроены были две станционные светлицы и съезжая изба, а потом была построена особая попутная палатка — монплеzir. Чем чаще стал государь бывать в своем монплезире, тем больше стала ему нравиться красивая местность и тем сильнее он привязывался к новому излюбленному месту. Но как природа царя не могла ограничиваться одними созерцаниями, то вместе с тем явились и практические прожекты воспользоваться выгодным положением берегов, доступных к проведению всевозможных каскадов, и создать из этого скромного и пустынного уголка один из тех очаровательных царских приютов, которыми он сам любовался не раз в заграничных поездках. За прожектами следовали исполнения. Молодым русским, обучавшимся за границей,

было поручено немедленно заняться составлением планов и фасадов замечательных европейских садов и парков, а затем приказано было как нашим резидентам и уполномоченным за границей, так и местным провинциальным правителям немедленно же доставить к Петербургу не малыми количествами растения для проектированных парков. Наши резиденты прислали из Амстердама липы, из Швеции яблоки и ильмы, из Данцига барбарис и розовые кусты; а местные губернаторы доставили из Москвы кленовые деревья, из Ростова буковые, а из Ревеля ветловые.

Сообразив присланные планы и фасады, государь составил свой план парка и свою систему водяных путей, сохранившихся и до настоящего времени почти без изменения. Потом, когда прибыли к новому излюбленному месту из внутренних губерний тысячи рабочих, новых жертв и новых удобрителей своими костями болотной почвы, опухавших с голода и холода в сырой бесприютной местности, — закипела работа, застучали топоры, заступы, кирки и лопаты; государь сам неустанно смотрел за всеми и за всем, сам надевал рабочий фартук, рыл землю, отмеривал и намечал, где быть каскадам и куда провести аллеи. Нередко работали вместе с государем и господа министры и даже иностранные резиденты, приезжавшие в монплеzir для свидания с царем по нужным дипломатическим делам. И им царственный строитель, зодчий и садовник тоже назначал уроки, смотря по силам и способностям каждого. Одновременно с устройством сада производилась и постройка архитектором Лебланом нагорного дворца на выбранном государем месте.

В половине мая, когда солнечные лучи достаточно обогрели землю, через два месяца по своем возвращении из Москвы государь отправился в Петергоф, захватив с собой царевича Алексея Петровича и приказав привезти на другой день туда же, из крепости, в закрытой шлюпке Афросю. Поездке предназначались две цели: осмотреть прошлогодние работы и назначить новые, а вместе с тем допросить Афросю и сына, каждого порознь и на очной ставке.

Государь поместился в своей попутной палатке-монплезире, а для сына и его караульных была опорожнена светлица, бывшая недалеко, на виду из палатки. В первый день приезда отцу за строительными хлопотами некогда было заняться розыском. Вся изрытая и перекопанная

местность с трудами каменного материала и срубленных деревьев, наваленных на каждом шагу, представляла такой хаос, в котором было трудно разобраться даже самому творцу. Многие оказывались исполненным не так, совсем не по инструкциям; многое было сделано небрежно и непрочо. Государь осматривал, толковал, указывал, награждал из собственных рук, то глядя по головке исправного, то пуская в ход дубинку на ленивого, и только поздно вечером воротился в свою палатку.

На следующее утро привезли Афросю и прямо представили в монплеизир. Государь встретил молодую женщину не особенно ласково, но и не грозно. Увлекаясь сам втихомолку от своей Катеринушки любовными утехами, он смотрел снисходительно вообще на всех виновных в подобных проступках, к Афросе же был повод показаться более благосклонным: по рассказам Петра Андреевича, только благодаря ее влиянию могло состояться возвращение царевича на родину и на нее только он мог рассчитывать для полного раскрытия всех доброхотов сына.

— Тебя зовут Афросиньей? Грамоте знаешь? спросил государь, привыкнув к следственному порядку и внимательно оглядывая миловидную, раскрасневшуюся от волнения женщину

— Афросей, ваше царское величество, и грамоту знаю,— отвечала Афрося.

Знание грамоты еще более расположило царя, знавшего, что многие женщины, даже боярского рода, не умели подписывать своей фамилии.

— Садись и пиши здесь, не утаивая и никого не покрывая, ответы на сии пункты,— распорядился государь, подавая ей лист, на котором крупными буквами были им написаны следующие вопросы: О письменах: писал ли кто из русских и иноземцев к царевичу и сколько раз в Тироль и Неаполь? Кого из архиереев хвалил Алексей и что про него говаривал? О ком добрые речи говаривал и на кого надежду имел? Когда у матери был, что он потом говорил и, наконец, драл ли какие письма?

Афрося хотя и знала грамоту, но письменная мудрость ей давалась с трудом. Обыкновенно вся ее корреспонденция ограничивалась или коротенькими приписками приветствий и пожеланий здоровья или записками о количестве белья, а тут вдруг потребовалась такая неведомая работа сочинять и ответствовать по пунктам, да еще в присутствии самого царя! С большими усилиями и дрожавшей

рукою она исписала, однако ж, несколько листов своих показаний, сущность которых, без постоянных повторений, можно было бы высказать в нескольких выражениях.

По ее рассказу обнаружилось, что царевич несколько раз писал письма из Тироля и Неаполя, но к кому именно, ей не известно; и также несколько раз писал жалобы к царю на отца, но получил только три письма в Эренберге через генерала. Помня наставления ласкового Петра Андреевича, Афрося не щадила своего Алешу, накладывая на все его действия густые краски неблагодарности и злых замыслов. Она передала, например, подлинные слова царевича: «Я-де старых всех переведу и возьму себе новых по своей воле», а когда она спрашивала, кто это такие друзья его, он будто бы обыкновенно отвечал: «Что-де тебе сказывать, ты-де не знаешь и сказывать-де тебе не для чего». Царевич, по словам Афроси, будто бы высказывал предположения свои о будущем, когда сделается государем, как будет жить по зимам в Москве, а по летним месяцам в Ярославле, Петербург же оставит простым городом; говорил, что заведенный флот поддерживать не станет, довольствуясь старым владением; войны ни с кем иметь не будет, а потому и войско держать будет только для обороны. Услыхав о каких-нибудь видениях или прочитав в курантах, что в Петербурге все тихо и спокойно, царевич высказывал: «Видения и тишина не даром. Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет. Отец мой, не знаю за что, меня не любит и хочет наследником учинить брата моего, младенца. Отец мой надеется, что жена его, а моя мачеха, умна, но когда, учиня сие, умрет, то-де будет бабье царство! Добра не будет, а будет смятение: иные станут за брата, а иные за меня». А когда же это будет, — спрашивала будто бы Афрося, — кто же станет, какого чина и как их прозвище? Тогда царевич уклонялся: «Что же тебе сказывать, когда ты никого не знаешь».

Это показание, очевидно, относилось к времени, предшествующему побегу, но Афрося не соображалась да и не понимала ясно вопросов, она писала все, что впадало ей на память, не различая времени и мест.

Потом, по словам Афроси, царевич имел большую надежду на сенаторов: «Хотя-де батюшка и делает что хочет, только как еще сенаты похотят, чаю-де, сенаты и не сделают, что хочет батюшка», — но кого именно из сенаторов считал своими доброхотами, того не говорил. Точно так же будто царевич хвалил и архиереев и называл даже кого

именно, но она не упомнит; письма же к ним писал о себе и хотел их отправить в Петербург для подкидывания, но к кому именно, тоже не говорил. Относительно отречения от наследства и о причинах побега Афрося объяснила, что царевич «желал наследства прилежно и ушел-де он от того, что государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не быть».

В заключение Афрося добавила, что в день выезда из крепости Сент-Эльмо «отдал мне царевич письма черные, каковые он писал к цесарю с жалобою на отца, и хотел их показывать вице-королю Неапольскому; однако ж велел мне оные письма сжечь, и я их сожгла. А письма были все по-русски, и было их много, а все ли были писаны к цесарю, того я не знаю, понеже прочитав их не могла, для того что писаны были связно, к тому ж и время было коротко. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к нему, царевичу, секретарь вице-короля Неапольского и царевич из этих писем сказывал ему некоторые слова по-немецки, и он, секретарь, записывал и написал один лист; а тех писем было всех листов в шесть».

Чистосердечное, скорее преувеличенное, чем утайное, обширное, на нескольких листах, показание Афроси окончательно снимало всякую тень подозрения на существование заговора, хотя вместе с тем оно и подтверждало коренной протест сына против всей деятельности отца, протест, неминуемо бы поворотивший все на старую дорогу, в случае невозможности его осуществления. Но была ли возможность такого поворота? Положительно не было.

Даже и по рассказу Афроси не выказалось ничего опасного, имеющего вид организованного замысла, а формальное отречение от наследства царевича, его приниженность, объявление наследником Петра Петровича, а главное нравственное состояние царевича, конечно, отнимали всякую вероятность предъявления прав. Впрочем, теперь возник другой вопрос, кровный, самый жестокий в человеческих отношениях. Между отцом и сыном обнаружилось странное и ненормальное явление, замечаемое в особенности в природах нервных, страстно увлекающихся. Отец возненавидел сына и возненавидел во всю ширь своей природы. Теперь уже владело государем не опасение за свое дело, оно было вполне обеспечено от поворота бессилием протестантов в сравнении с новыми силами, настолько окрепшими, что могло выдержать впоследствии полувековое правление императрицы, а ничем не сдерживае-

мое стремление уничтожить и стереть ненавистное существо. Если бы государь боялся призрака старины, то с устраниением сына он устранил бы и внука, за право которого могли схватиться поборники старины; но он не коснулся прав внука, он только их игнорировал.

В попутной палатке за одним столом усердно работали государь и Афрося. Она, с выступившими крупными каплями пота от непривычного напряжения, каллиграфически выводила плоды своего соображения и воображения, а он, не теряя времени напрасно, дописывал инструкции рабочим: «Перед большою кашкадою наверху делать историю Еркулову, который дерется с гадом седмглавым, называемом гидроу, из которых голов будет идти вода по кашкадам».

Государь, дописав инструкцию, перечитал ее снова, с расстановкою на каждом слове, потом, заметив робкий взгляд Афроси, пытавшейся по окончании непосильного труда, украдкой стереть с листа насевшее чернильное пятно, спросил благосклонно:

— Кончила ли пункты? Если кончила, то отдай мне свою депозицию.

Государь с должным вниманием прочел депозицию Афроси и, сказав: «Добре, получишь подобающую рекомпансацию», — приказал отвести ее за перегородку в соседнюю комнату. Афрося вышла, едва передвигая ноги от страха за рекомпансацию, в которой поняла приказ о лютой казни, бывшей тогда в моде.

Вслед за уходом Афроси привели царевича. Моментально изменилось добродушное расположение царя, лицо которого вдруг приняло одно из тех выражений, которых так боялся сын и за которыми обыкновенно следовало знакомое дрожание личных нервов, жестокий взгляд и грозное поднятие тяжелой руки. Однако ж на этот раз отец сдержался и, по-видимому, равнодушно проговорил сыну, отдавая показание Афроси.

— Чти депозицию и ответствуй на оную досконально, не как прежде сего, памятуя мои речи, что за утайку пардон не в пардон.

Легко было требовать, но не легко было исполнить царевичу. Вся жалкая его фигура выражала забитость и приниженность, зубы его стучали, пальцы конвульсивно крючились, впиваясь ногтями в ладони. Утренний ветер ворвался в открытое окно, обвеял покрытый холодным потом лоб царевича, приподнял его густые кудри и, поиграв

ими, отбросил на ухо, яркий луч, пробежав по столу, ударил ему прямо в глаза, но царевич не чувствовал ни оживляющего луча, ни свежего ветра, не слышал ни говора народа, ни стука топора, ни кузнечного молота — в нем все словно замерло. Депозиция дрожала в руке с строками, смутно переплетающимися между собою.

— Чти депозицию,— сурово повторил государь.

Алексей Петрович взглянул на депозицию и вдруг весь изменился. Он узнал знакомые кривые буквы Афроси, над которыми, бывало, сам так часто смеялся, заставляя их переписывать по нескольку раз. «Стало, здесь... где ж она?» — мелькнуло в его голове, и слезы ручьями покапались по впалым щекам.

Государь сердито вырвал депозицию из рук царевича и стал допрашивать словесно, прочитывая соответствующие места из показания.

— О чем писал к цесарю и где оные письма? — прежде всего спросил государь.

— К цесарю писал с жалобами многие письма и из них сказывал в Неаполе секретарю, зачем не хотел ехать сюда; а письма те велел сжечь,— сознался царевич.

— В какой образ писал к архиереям из крепости?

— Письма к архиереям писывал, чтоб подкидывали их, а не саморучно отдавали.

— О видениях и о смерти моей не говорил ли?

— Может, такие слова и говаривал.

Государь пошел за перегородку и вывел оттуда Афросю. В первый раз теперь увидались царевич и Афрося после почти годовой разлуки, после того как они расставались с такой уверенностью на счастливую будущность.

Алеша бросился было к Афросе, но вдруг остановился и съезжился еще приниженнее — испугался ли он сурового отцовского взгляда, или он дошел до того положения, в котором пугаются самых близких, дорогих лиц. А Афрося в первую минуту как будто не признала своего Алешу. В этом забитом, полубессмысленном существе не было ее царевича, которого она никогда не видела вместе с отцом, а, напротив, в почете и уважении от окружавших лиц, заискивавших его благосклонность.

На очной ставке Афрося как уличающая повторила царевичу свои показания, но повторила спутанно, робко и бессвязно; точно так же и царевич отвечал странно и невпопад, не то соглашаясь, не то возражая; у них обоих нет ни улик, ни возражений. Увидав, что от очной

ставки никакого толка не будет, государь с досадою приказал отвезти Афросю в закрытой шлюпке обратно в крепость, а сына отослал в светлицу, наказав дожидаться присылки новых вопросов.

Не более как часа через два принесли новые допросы, написанные рукою царя, в каждом слове которых ясно выказывается желание доказать в прежних ответах царевича утайку, лишаящую его права на пардон, доискаться имени пособников и единомышленников, а еще яснее, желание выжать от сына сколько возможно более компрометировавших его ответов. Не приводя всех этих пунктов, для полной характеристики их, достаточно познакомиться с некоторыми.

Начало допросов озаглавилось: «Царевич в повинной своей утаил, а об иных написал, да не все их обстоятельства».

В первом пункте государь, разумеется, обратился к письмам: по повинной «от Шенборна было только два письма и притом копия с Блеерова письма, а ныне явилось три, а не два, из которых в третьем написано, что из Питербурха пишут, то прилагается притом, но оно в повинной не упомянулось?»

— От Шенборна было три письма, но из них в котором упомянуто, что пишут из Москвы, такого письма и копии к нему не было,— отвечал царевич,— а было то, что из Питербурха от Блеера, и прислано оно при февральском письме, а при апрельском было не приложено.

Во втором пункте государь спросил: по повинной о присылках в сенат и к архиереям принуждал писать секретарь, а как видно, писал собою, а не по принуждению, потому что в сенатском письме приписано: «и беспорядок и без всякой вины»... а в половинном письме о том не писано?

— Конечно, писал по принуждению, а не собою, а такие слова есть ли в письме, не упомяну.

Затем следует ряд вопросов, относившихся к выражениям царевича, сказанным в разное время.

— Когда сердит бывал на Толстую и на других, обещал ли на кол и говорил ли: «Я-де плюну на всех, здорова б де была мне чернь»?

— Говаривал спьяна.

— Говаривал ли: «Когда-де будет время без батюшки, тогда молвит архиереям, а они священникам, а священники прихожанам, тогда-де и не хотя меня владетелем учинят»?

— Таких слов, конечно, не говаривал.

— Говаривал ли, сердитую о Головкине с сыном и о Трубецком, что женился на кронпринцессе от них: «Навя-зали-де чертовку; разве-де умру — забуду, а сына-де Головкина голове быть на коле?»

— Говаривал.

— Говаривал ли о Питербурхе, что-де не долго за ними будет?

— Говаривал со слов Сибирского царевича.

— Говаривал ли: «Батюшка-де умный человек, а светлейший князь его обманывает?»

— Говорил ли того, не упомню.

— Говаривал ли, когда зывали кушать, и для спуска (кораблей): «Лучше-де быть на каторге или б лихорадкою лежать, нежели бы там быть?»

— Может быть, что и говаривал.

— Говаривал ли о Невском архимандрите: «Разве-де за то батюшка его любит, что он вносит в народ люторские обычаи и разрешает на вся?»

— Говаривал, кроме того слова, что люторские обычаи.

— Говаривал ли Эверлакову (в 1715 году): «Либо-де уехать или б де жить в Киеве в Михайлове монастыре или б де в полону быть, нежели здесь»,— в повинной о том не написано.

— Говорил, а в повинной не написал за беспамятством.

— Говаривал ли: «Два-де человека на свете как Боги — папа Римский да царь Московский; как хотят, так и делают».

— Про папу говаривал, а про государей московских говаривал про всех, а не про одного.

— Принимал ли лекарство, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтоб от того тем отбыть?

— Притворяя себе болезнь, лекарство нарочно, чтоб не быть, принимывал и в том виноват.

XVII

Успела ли Афрося шепнуть царевичу о том, что их будущее счастье зависит от словоохотливости в показаниях, или по дружеским убеждениям Петра Андреевича, или по расстройству соображения, или от жестоких истязаний, но только с¹ половины мая показания царевича стали

особенно говорливыми. Он рассказывал обо всем, что вспоминал, что говорил сам пьяным или трезвым, что слышал от кого в разное время и в разных местах, и понятно, какой роскошный материал сам подготовил для своего обвинения.

В показании, данном через два дня после словесного допроса, царевич писал о тетке своей Марье Алексеевне: «От царевны Марьи я слышал такие слова: у нас-де осуждают отца твоего, что он мясо ест в посты — то-де ничего, то-де пуще, что он мать твою покинул. У нас-де архиереи дураки: это ни во что ставят и поминают эту царицу особливо. Иов-де Новгородский труся сие делает; иноземцы-де знают лучше божественное писание. Дмитрий да Ефрем Рязанский да нынешний архиерей Суздальский не добр к нему. Русской дурак, а Ефрем добр был?.. А про сенаторей я говорил таким образом: это ныне что батюшка ни делает, то будет ли впереле так или нет, Бог знает. Ныне его боят-ся, а по смерти не станут боят-ся; а чаю, меня здесь не оставят. А говорил ли так не про какую персону особли-во — только что мне не все враги и не все доброхоты»

Относительно же писем своих в этом своем показании царевич объяснил: «А Афросинье я сказывал, что письма по заставливанью секретарскому писал — только, мол, не к таким людям, которые бы со мною много обходились. Я чаю, что сенаторы объявят мое письмо, или, чаю, не станут разыскивать, что их не много, а хотя бы и стали и им про меня сказывать нечего для того, что у меня с ними слов о побеге не было. Архиереев хотя обоих сожги, у меня с ними ничего не бывало. И она молвила: и архиереев-де пытаются! И я ей сказал: что, мол, за диковина? У нас-то уж было над Тамбовским, что пытан и сослан в ссылку»

Одним словом, царевич начал высказывать все, что впадало на ум, что удержалось в его памяти, нисколько не подозревая, насколько приводил в исступление и так уже до крайности раздраженного отца.

Вслед за последним показанием царевича перевезли на мызу, где, вдали от города, от непрерывно сновавшего народного движения было более удобно скрыть кровавую форму розыска. На мызу дня через два приехал и сам государь для продолжения допросов. Тяжелые дни начались для отца и сына — и едва ли не более тяжелые для отца. У сына не было борьбы, не было никакой нравственной ломки; царевич терпел муки допросов как в первое время, так и в последующее, когда эти допросы сопровож-

дались физическими истязаниями, но он мог утешать себя надеждою на лучшую будущность, блестящую для него зарею новой жизни с своей милой Афросей в деревенской глуши; у отца же, напротив, беспокойные, вечные борьбы сомнения и ярость. Сначала только холодный к сыну по неприязни к его матери, он потом, незаметно поддаваясь ловким внушениям любимца и любимой жены, повторявшей слова любимца, дошел, наконец, до озлобления, до той же страстной ненависти, какой обыкновенно поддаются страстные, нервные, преступные женщины-детубийцы. Но между убийцею-матерью и царем была громадная разница. Первые бессознательно увлекаются силою чувства и совершают преступление невольно, в ослеплении; но практический ум царя не мог не задаваться вопросами и сомнениями, надобно было успокоить внутренний строгий голос хитрыми софизмами и отыскать оправдание. «Страдаю, а все за отечество, желая ему полезное; враги пакости мне дают демонские. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, Бог знает правду», — нелицемерно говорил государь, наконец убедивший себя в необходимости смерти сына во имя пользы отечества и необходимости такой великой жертвы от себя.

Под давлением постоянной мысли о своих врагах, растравляющих демонские козни его пламенному стремлению принести пользу отечеству, допросы государя главным образом стремились к отысканию этих врагов-пособников сына. И вот в угоду отцу царевич изложил все подробности отношений к своим пособникам и это донесение представил царю по приезде его на мызу. «А в сенаторах, — писал Алексей Петрович, — я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть моему отцу случилась в недорослых летах братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и это было б князю Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно.

И понеже он, князь Яков, и прочие со мною л а с к о в о о б х о д и л и с ь, то б, чаю, когда б возвратился я в Россию, были б моей стороны. В сем же уверился я, когда при прощании в сенате ему, князю Якову, молвил на ухо: «Пожалуй, меня не оставь», — и он сказал, что: «Я всегда рад только больше не говори: другие-де смотрят на нас». А прежде того, когда я говаривал, чтоб когда к нему приехать в гости, и он говаривал: «Пожалуй, ко мне не езд; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит». А больше я к ним в ту меру слов не говорил.

А противность вышепомянутую признавал я от явной их противности с князем. А о сем с ним, что я думал, не говаривал и надеялся, что к нему и все Долгоруковы пристанут.

А о прочих сенаторах и министрах: Гаврило Иванович, Петр Павлович, Петр Андреевич, Федор Матвеевич с братом, Иван Алексеевич, Тихон Никитич и прочих, имел надежду для того, чтобы когда был князь Меншиков или бы хотя кто иной управителем долгое время, то б не без того, чтоб кому не досадить, то б желали быть лучше подомною, нежели под своим равным.

А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государи меня и не приняли все, для обещания и клятвы (а чаю, что и я, ради клятвы в отречении от наследства в первом письме, не принял короны), а в управители при брате всеконечно б все приняли до возраста братня, в котором бы мог, буде Бог допустил, лет десять или больше быть, что и с короною не всякому случается; а потом бы когда брат возрос, то бы и оставил, понеже бы и летами не молод был, и жил бы так или пошел в монастырь; а может быть, что б до того и умер.

А на князя Дмитрия Михайловича (Голицына) имел надежду, что он мне был друг верный и говаривал, «что я тебе всегда верный слуга». А князь Михайло Михайлович мне был друг же, к тому ж стал и свой и на него надеялся, что он меня не оставит.

А когда был я в победе, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также был мне друг и когда б по смерти отца моего (которой, чаял я, быть вскоре, от слышанья) поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боуром в Украину, то б там князь Дмитрий и архимандрит Печерский, которой мне и ему отец духовный и друг. А в Печерского архимандрита и монастырь верит вся Украина, как в Бога. Также и архиерей Киевский мне знаем: то б все ко мне пристали.

А в Москве царевна Марья и архиереи хотя не все, только чаю, что большая часть пристала б ко мне.

А в финляндском корпусе князь Михайло Михайлович, а в Риге князь Петр Алексеевич также мне друг и от своих бы не отстал же.

И так вся от Европы граница моя была б и все бы меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно.

А в главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья же.

А о простом народе от многих слышал, что меня любят. Так же и царицу Прасковью Федоровну, ведая, что она ко мне добра гораздо, хотя и без большой конфиденции, чаял же к сему склонну.

Также и на князь-цесаря и папу покойников, яко на друзей, надеялся ж.

А при животе батюшкином мне отнюдь не возвращаться иным образом, кроме того, как ныне возвратился, то есть по присылке от него.

И о сем и на мысли не было для того, что ведаю, чтоб меня никто не принял.

А с вышеписанными ни с кем о побеге не говаривал и к ним не писывал, и от меня они о сем никто не ведал.

А говаривал мне Рязанский: надобно-де тебе себя беречь; будет-де тебя не будет, отцу-де другой жены не дадут; разве-де мать твою из монастыря брать, только-де тому не быть, и нельзя-де тому статья, а наследство-де надобно.

А что Иван Афанасьев про меня пьяного писал, что я говаривал с ним, в том я не запираюсь, хотя и не помню всего слова от слова. Однако ж пьяный всегда вирал всякие слова и имел рот не затворенный и такие слова с надежи на людей бреживал.

Сила же письма моего к архиерею Киевскому такова:

«Вашей святыне неизвестен мой отъезд из России, понеже от меня писем к вашей святыне давно не было; но ныне объявляю, что сей отъезд мой случился от принуждения в монашество, отчего сюда принужден отъехать, а когда благоволит Бог из-под охранения благодетелей моих возвратиться в Россию, паки к вам, прошу меня прияти, а ныне кто хочет о мне ведать, изволите сказывать, что в добром здравии и для чего отъехал*».

Сие письмо послал к посылке через Вену, через секретаря неапольского вице-короля, а дошло ль оно, также и прежние, что с секретарем графским посланы, того не знаю, понеже из Вены отповеди о приеме не имел».

В этих показаниях вылился весь царевич, мечтатель

* В тот же день получения показаний царевича государь отправил в Киев Скорнякова-Писарева с приказанием взять киевского митрополита, краковского и печерского архимандрита Иоаникия, все бумаги их опечатать и привезти иерархов вместе с бумагами в Петербург для розыска. Старый митрополит от испуга на дороге, в Твери, умер, а архимандрит Иоаникий возвращен тоже с дороги как взятый будто бы по ошибке. (Прим. авт.)

ный, слабый и доверчивый, рассчитывавший на дружбу по одному ласковому взгляду, по одному доброму слову. Но, конечно; эти подробности не могли удовлетворить царя, так как в них не было той виновности, в которой все принятые меры должны были бы показаться если не справедливыми, то возможными. Раздражение отца доходило до тех крайних пределов, за которыми только одна развязка — смерть.

По приказу царя Алексея Петровича повели в сарай, где хранился разный хозяйственный хлам, и вскоре оттуда слышались сначала какая-то возня, точно кто-то боролся, отчаянные мольбы, а потом пронзительные, раздражающие вопли и стоны, какое-то хлестание... Стихло, словно все вымерло кругом, все бежало от сарая, будто от дикого, страшного дела... Рискнул было общий любимец на мызе, старый пес Жучка, побежать за господами и дожидаться возвращения барина своего из сарая у припертой двери, уткнув свою чуткую морду в узкую щель между дверью и приступком; но и тот, услышав крики знакомого голоса, бросился, поджав хвост, в любимое свое местечко под господское крыльцо, куда скрывался всегда от напастей. Даже старая ворона, расположившаяся было на соломенном навесе спокойно отдохнуть после сытного завтрака, и та отлетела с шумом, от испуга, к своим товаркам на пустое гумно. Услыхал эти крики и приехавший на мызу по своей хозяйственной нуждишке из соседственной деревни графа Мусина-Пушкина какой-то крестьянин, испуганно придержал он лошадь, прислушался, побледнел от страха, задрожал, снял шапку, набожно окрестил себя и, как охмелевший, что было силы, стегнув усталую лошаденку, ускакал домой. И долго в избе своей он все крестился да моргал глазами и только к вечеру проболтался домашним о страшном деле с царевичем на мызе.

Через час царевича обратно привели в комнаты или, вернее, принесли на руках, так как он ходить не мог. Здесь отец снова подвергнул его допросу, на этот раз более успешному: царевич готов был говорить все, что угодно.

Грозно, с острасткою повторения в случае отрицания, государь спросил сына:

— Когда слышал, будто бунт в Мекленбургии в войске, радовался и говорил: «Бог не так делает, как отец мой хочет». А когда радовался, то, чаю, не без намерения было. Ежели б впрямь то было, оно, чаю, и пристал бы к оным бунтовщикам и при мне?

И сын покорно отвечал:

— Когда б действительно так было, бунт в Мекленбургии, и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, паче опасался без присылки ехать. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того, что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильные были, то б мог и поехать.

Казалось, теперь все сделано; теперь нет сына, теперь государственный преступник, которому не должно быть пощады, для которого безразличен тот или другой конец; но несмотря на то, государю все-таки хотелось документальных доказательств преступной виновности сына в государственной измене, хотелось заручиться именно теми письмами, которые писал сын к сенаторам и архиереям из австрийских владений и которые так настоятельно потребовал наш резидент Веселовский.

Дипломатическая переписка царя по этому поводу, однако ж, потерпела полнейшее фиаско. Вскоре после пыточных допросов на мызе государь получил письмо от цесаря, в котором тот, выражая свое удовольствие на благодарность московского царя за отпуск царевича, вместе с тем энергически высказывал удивление и сожаление свое о неправильности слов царского манифеста, будто царевич был побужден к возвращению в отечество настойчивыми советами, убеждениями и угрозами цесарского правительства. «Напротив, возвращение совершенно зависело от воли царевича,— писал римский император,— и как мы не препятствовали по случаю его согласия, так бы точно и не отказали в покровительстве и убежище, по праву народному и родству».

Точно так же неутешительны были и донесения Веселовского относительно требования возвращения трех писем царевича, отозвания из Петербурга австрийского резидента Плейера и назначения для переговоров с русским двором другого министра, помимо вице-канцлера Шенборна. Вместо выдачи писем, принц Евгений, словно дразня, только показал их резиденту издали, запечатанными и без надписи. На настойчивые же просьбы выдать их принц отвечал советом обратиться с этой просьбою опять-таки к тому же вице-канцлеру графу Шенборну.

Нечего делать, пришлось резиденту, против царского наказа, ехать в Люксембург к вице-канцлеру и снова при-

шлось вынести оскорбительный прием. Вместо передачи всех писем граф Шенборн, ссылаясь на приказание цесаря, дал резиденту только прочитать одно письмо в сенат, будто бы распечатанное самим императором. Резидент не только успел прочитать это письмо не один раз, но даже и запомнить его выражения. По словам Веселовского, в письме заключалось объяснение им причины отъезда царевича за границу такими словами: «Хотели меня неволею облечь в черное платье и чтоб не верили, если будет слух, будто он умер, напротив, он обретается под протекцией одной высокой особы».

— Для какой же надобности цесарь, имея письма в руках, не изволит отдать их для отсылки к российскому государю? — спрашивал Веселовский вице-канцлера.

— Мне приказано показать только одно письмо, — коротко отвечал граф.

— Почему же только одно, а не все три? — продолжал настаивать резидент.

— О том мне неизвестно, — отозвался вице-канцлер, улыбаясь и видимо издеваясь.

Оскорбленный такими «ругательными поступками», резидент нашел себя вынужденным высказать собеседнику с угрозою:

— Его величество примет это за великую неприязнь и станет жаловаться всему свету о такой наглой обиде. Я требую у цесаря аудиенции.

— Хорошо, — холодно заметил граф и поехал с докладом в замок к цесарю. Веселовский отправился тоже за ним, но вместо аудиенции добился только обещания о назначении приема через неделю.

По истечении же этой недели вместо аудиенции вице-канцлер окончательно объявил резиденту:

«Его величество (цесарь) ничего так не желает, как содержать дружбу с российским государем, доброжелательство его очевидно из того, что тайный советник Толстой в Неаполе до царевича допущен и всякое облегчение в деле показано, также и письма, данные царевичем, не посланы и резиденту предъявлены. Ныне его цесарское величество признал за лучшее их сжечь; чему российский государь изволил бы верить заподлинно».

Однако ж письма эти не были тогда сожжены, они и до сих пор хранятся в секретном венском архиве. Что же касается до назначения вместо графа Шенборна для переговоров с русским двором другого министра, то и в этом

австрийский император решительно отказал, высказав, что не хочет быть облигован от иностранной державы переменять своих министров: одна держава другой не может предписывать законов.

В прежнее время, до получения последнего показания царевича, неудача в переговорах с венским кабинетом раздражила бы нетерпеливого государя и, вероятно, повела бы к серьезным политическим столкновениям, но теперь царь терпеливо перенес оскорбительный отказ, прекратил дальнейшие настояния и ограничился только запрещением Плейеру являться ко двору. Да и действительно, теперь можно было обойтись без венских писем, стоило только полученным показаниям придать преступный оттенок, осветить их своим взглядом. Но это было исполнено самим отцом, искусно сгруппировавшим факты в известном, им самим написанном объявлении о виновности сына.

В этом объявлении государь с замечательным искусством выказывает свои заботы и неусыпные старания об исправлении сына, о воспитании его достойным наследником престола и как эти заботы были пренебрежены лукавством сына. Совершенно отрицая свое намерение отрешить сына от наследства и постричь его в монахи, государь говорит, что, напротив, понуждал к наследству и желал только исправления сына: «Я в монахи его не принуждал, но паче оттого отвращал и полагал все на его произволение, а он являлся, будто избрал себе монашество своим произволением. И те его обещания и клятвы явно означились быть ложными». Далее в объявлении доказывает лукавое намерение сына достать себе наследство не добрым порядком, а побегом в цесарию за вооруженною помощью: «Того ради он не только ожидал отцовой смерти и радовался б тому, но и приискивал, а когда слышал о бунтах, также задавался же и к бунтовщикам, ежели бы его позвали не только по смерти отцовой, но и при животе его ехать хотел». Что же касается до оправдательных показаний сына, то все эти показания положительно отвергаются как лживые, по разным утайкам в первых показаниях. В заключение объявления говорится, что данное им, государем, прощение сыну, по случаю его возвращения в отечество, не должно иметь силы, так как прощение было дано только под условием полного открытия сыном всех обстоятельств побега.

Одновременно с объявлением отправлено было духовному собору требование о доставлении мнения относитель-

но преступлений сына и издано распоряжение о переводе царевича Алексея Петровича в гарнизоне петербургской крепости, в Трубецкой раскат, где и был устроен розыскной застенок; а самое дело передано на обсуждение особого верховного суда.

XVIII

— Инако изобразили вы, святые отцы, и не такого репонса я чаял получить от вас, — говорил Троицкого Александро-Невского монастыря архимандриту Феодосию царь Петр Алексеевич, спустя несколько дней после опубликования своего объявления о передаче преступлений сына на рассмотрение особого верховного суда и после требования своего от духовного собора мнения.

Государь не любил монахов, называл их тунеядцами и считал их самыми непримиримыми, заклятыми виновниками народного возбуждения против себя. Рельефное исключение из общего числа составляли только отец Феодосий да еще немногие и очень немногие духовные лица, за которыми он не мог не признать высокой нравственной жизни и чистоты христианского учения. В особенности в последние годы, при расстройстве здоровья и в трудные часы своей жизни, государь стал чаще призывать к себе отца Феодосия, спрашивать у него совета, и хотя часто не соглашался с этими советами, еще чаще не исполнял их, но тем не менее все-таки в душе уважал святые убеждения почтенного архимандрита, симпатичного, доброго, беспредельно снисходительного к другим и неутомимо строгого только к самому себе.

И теперь, когда наступал момент окончания кровавого дела и исполнения давно задуманного решения, государь пожелал услышать одобрение отца Феодосия. В душе государя уже не было борьбы, им не испытывалось никакой острой боли колебания; государь всецело успел убедить себя в необходимости жертвы, которую он приносил на благо отечества.

Не из одного соблюдения законности государь организовал громадный состав верховного суда, в который вошли высокие персоны, приближенные царя, одобрение которых было известно заранее, стольники, подпоручики, даже дьяки и секретари; и не лицемерил он, когда одновременно с назначением суда спрашивал у всего духовного чина мне-

ния, не в виде декрета, а в виде наставления пастырей церкви, высказывая в заключение:

«В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей божественных заповедей и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, дабы без всякого лицемерства и пристрастия в том поступили».

— Да, святой отче, на многие мои супсоны и препозиции вы не упомянули ни единого пароля,— продолжал царь, пытливо смотря в голубые, кроткие и глубокие глаза отца Феодосия.

— Отцы и братия всем собором, по повелению вашего царского величества, изобразили все подходящие к настоящему прискорбному событию изречения Священного писания, как из Ветхого, так и из Нового Завета,— тихо отвечал отец Феодосий, уклоняясь от прямого ответа, как будто не понимая, что вся цель царя была получить положительное разрешение от пастырей на прекращение всякой силы клятвенного обещания, данного царем за возвращение в отечество сына.

— Все изображенные изречения ваши, святитель, к моему скорбному делу неподходящи, да и не узрел я в них никакого светильника к уврачеванию моего страшного недуга и к наставлению себя,— возразил государь, видимо недовольный уклончивым ответом архимандрита.

— Собор, великий государь, яко из нижайших рабов, не осмелился возвысить своего дерзновения преподать советы своему, Богом венчанному царю, сердце которого в руке Божией.

— Знаю, знаю, святитель,— нетерпеливо перебил государь отца архимандрита,— но ведь я есмь человек, а следовательно, и подвержен человеческим немощам... Скажи же ты мне сам свое мнение о резолюции представить сына суду гражданскому?

— Мне, как самому нижайшему из твоих рабов и самому недостойнейшему из пастырей, не подобало бы дерзать на подобную смелость, но как ты сам повелеваешь сие, то скажу тебе, государь: повремени, помысли мало, да не будеши потом каяться...

— Нет, святой отче, не чаю я никакого исправления. Злу мера грехов сына моего преисполнилась, и всякое милосердие от сего часа в тяжкий грех мне будет и пред Богом, и пред славным царством нашим,— решительно высказал государь.

Если бы кроткий голос отца Феодосия был высказан более твердо и если бы он был поддержан другими головами, то, быть может, он и имел бы благотворное влияние, но другого голоса не нашлось...

Несмотря на громадность — из ста двадцати семи лиц — судебного верховного персонала, со всеми его разнообразными тайными стремлениями, видами, надеждами и интригами, каждый член этого высокого персонала невольно чувствовал себя в положении автомата, действующего по воле внешней силы, подавляющей всякую тень самостоятельности. Сила эта олицетворялась в особе светлейшего князя Александра Даниловича как представителе мненья, желанья и воли самого государя. Правда, многие из приближенных персон к государю видели, насколько прежнее беспредельное доверие к любимцу пошатнулось, многие имели случай слышать от самого государя не совсем лестное мненья о любимце-князе*, но тем не менее никто не решился бы идти открыто вразрез княжеской воли, так как все знали, что эта воля, поддержанная государынею, в конце концов все-таки возьмет верх и заставит дорого поплатиться за попытку. Конечно, многие из членов верховного суда тайно относились сочувственно к царевичу, сердечно жалели его, сам князь Яков Федорович Долгоруков при первой вести о возвращении его в отечество рыдал и трясся от горести, по рассказу очевидца, но ни он и никто другой не мог помочь, да, может быть, и не хотел, ввиду уничиженного, низко упавшего нравственного состояния царевича. Все понимали, что каждое неосторожное, даже косвенное слово в защиту заранее обвиненного было бы принято за сообщничество, бунтовство и навлекло бы на смельчака такую же кровавую расплату.

Верховный суд выслушал все показания царевича. Казалось бы, вся сущность дела была выяснена до очевидности, но, несмотря на то, по желанью Александра Даниловича суд нашел неясности, неполноты и определил снова допросить царевича в своем присутствии, собиравшемся в здании сената, а потом подвергнуть как царевича, так

* Для доказательства небезынтересно привести подлинные слова царя, сказанные им государыне Катерине Алексеевне на ходатайство ее о прощении Александра Даниловича после известной ссоры светлейшего князя с бароном Шафировым: «Меншиков в беззаконии зачат, в грехах родила мать его и в плутовстве скончает живот свой. Если он не испрится, то быть ему без головы». (Прим. авт.)

и других обвиняемых обыкновенному розыскному производству.

Царевича привели в сенат. Переезд с мызы в Трубечкой раскат Петропавловской крепости произвел на царевича даже отрадное впечатление. Жизнь на мызе, под строгим присмотром неусыпных аргусов, под караулом преображенских солдат, не отходивших от него ни на глаз, казалась ему невыносимо тяжелою уже по одному напоминанию о прежней жизни на этой же мызе с милой Афросею. И тогда было то же солнце, та же роскошная зелень; но тогда не было ноющей боли в вывихнутых суставах, не было еще более ноющего ожидания прибытия грозного отца с новыми страшными подарками. Здесь, за толстыми стенами, как будто безопаснее от грозных отцовских наездов, здесь может, наконец, встретиться какая-нибудь случайность свидеться с Афросею, тоже запертою в этой же крепости. Тогда, при свидании на очной ставке в Петергофе, в присутствии отца, он от смущения не мог рассмотреть Афроси, не мог даже заметить, разрешилась ли она... Если разрешилась,—спрашивал себя царевич,—то кем, когда и где ребенок, милый селебенушка, которого они оба так любили и берегли еще до появления его на свет.

Дни проходили. Ни просьбы и мольбы, ни подарки и обещания не доставили свидания; но царевич все-таки не терял надежды, вдруг пробуждавшейся с новой силою с каждым гулом сменявшихся часовых. Известие о назначении над ним верховного суда еще более его оживило. «Отец желает самым торжественным образом закрепить отречение от наследства»,—подумал царевич и обрадовался. Скоро будет конец всем страданиям, скоро ему будет возможно уехать из этого ненавистного Петербурга куда-нибудь в деревню с милой Афросей и селебенком. От суда царевич не ожидал для себя ничего дурного: на суде будут его доброхоты, его Петр Андреевич, который выйдет, наконец, случай заступиться за него...

Через несколько дней царевича позвали в присутствие суда.

Перед грозным ареопагом он снова выслушал прежние вопросы и снова отвечал на них с живою откровенностью. Вопросы относились главным образом к содержанию письма, переданного ему графом Шенборном, затем к выдаче имен всех доброхотов и к разъяснению обстоятельств, в которых выражалось это доброхотство.

На первый вопрос царевич припомнил донесение резидента Плейера венскому кабинету о том, как Абрам Лопухин при свидании в Петербурге спрашивал Плейера: «Где-де обретается ныне царевич и есть ли об нем весть? Здесь-де за царевича стоят и заворачиваются кругом Москвы для того, что-де об нем, царевиче, ведомостей много». Относительно же своих доброхотов, царевич указал на любовь и преданность к себе черни, о которых ему неоднократно передавали Сибирский царевич, учитель князь Вяземский, Федор Дубровский и духовник, протопоп Яков.

Потом, отведа в сторону светлейшего князя, барона Петра Павловича Шафирова, Петра Андреевича Толстого и Ивана Ивановича Бутурлина, царевич высказал: «Имел я надежду на тех людей, которые старину любят, как Тихон Никитич Бирешнев, а познавал-де их из разговоров, когда с ними говаривал и они старину хвалили. Больше же де в том подали надежду слова князя Василия Долгокурова: «Давай-де писем хоть тысячу» и слова: «Ты-де умнее отца своего, отец твой хоть и умен, только людей не знает, а ты-де умных людей знать будешь лучше». А о том, будто князь Василий матерно лаял отца моего, я сам не слыхал, а слышал от других, но от кого — не упомяну».

Как ни ничтожны были эти уже и прежде известные показания, но и они послужили поводом к решению верховного суда под руководством князя Александра Даниловича о назначении новых пыточных розысков.

Вслед за царевичем привели в присутствие суда Абрама Лопухина, Федора Дубровского и протопопа Якова Игнатьева.

Абрам Лопухин сначала совершенно от всего отрекся — Плейера будто бы никогда не призывал, о царевиче у него не спрашивал, ничего не говорил и писем никаких не пересылывал, но потом, в застенке перед дыбой, изменил свои показания, сознавшись, что действительно, встретясь с Плейером осенью какого-то года на пристани барона Шафирова, спрашивал у него, где царевич, и, получив в ответ, что у них в цесарии, высказал: «Чаю, царевича там не оставят, а у нас многие тужат об нем и не без замешания будет в народе». Слова же «За царевича здесь стоят и заворачиваются кругом Москвы», — никогда не говорил, и вообще никаких разговоров и пересылок о царевиче не имел. Это показание Лопухин подтвердил и под сечением двадцатью одним ударом кнута.

Федор Дубровский в своем показании передал следующий разговор с царевичем:

— Была ль у отца твоего, государя, болезнь эпилепсия? — однажды спрашивал он царевича.

— Не знаю, — отвечал тот.

— Сказывают, у него эпилепсия и такие люди недолго живут; а слышал о том от Новгородского архиерея Иова, — продолжал Дубровский. — Отъезжать же в вольные города и о любви черни не говорил, а говорил, что у царевича в деревнях живут раскольники и все они любят его.

Это показание Дубровский подтвердил и в пытке, в которой ему дано было тринадцать ударов.

Что же касается до расстриженного московского духовника царевича протопопа Якова Игнатьева, то он откровенно признался как в своих словах царевичу о том, что в народе его любят и про здоровье его пьют, называя надеждою российскою, так и в своих словах на исповедь царевича о желании смерти отцу: «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти».

Несчастливого протопопа пытали три раза.

С облегченным сердцем и радужными надеждами воротился Алексей Петрович в свою замуравленную камеру. Совесть его не тяготило черное преступление; все свои за тайные мысли высказал он во всей наготе, даже с теми окрасками, которые налепились ему невольно под тяжелыми ударами. Теперь, кажется, больше и спрашивать не о чем и суд без затруднения может лишить его наследственных прав, а потом... «Потом мы с Афросей будем свободны как птицы Божии», — думал царевич.

В это время, проходя по крепостному коридору, он вдруг услышал за одной запертой дверью плач ребенка. «Мое дитя!» — крикнуло его отцовское сердце, и он, бросившись к заветной двери, с такой отчаянной силой прижался к ней, что немало труда стоило караульным преображенцам оторвать его.

Во весь этот вечер и всю ночь царевич обдумывал и приискивал средства увидаться с Афросей.

Из всех людей, приставленных к нему на стражу, более мягким и способным поддаться обещаниям и ласке казался ему Лукаша, кухонный мастер, носивший ему кушанья. И вот на другой же день царевич с особенной приветливостью обратился к Лукаше с расспросами, откуда он, где прежде жил, есть ли у него семья и любит ли он

свою семью. Лукаша отвечал охотно, добродушно, и как будто в морщинистых складках глаз блеснули слезинки. Царевич решил на следующее же утро переговорить с Лукашей и передать через него весточку Афросе.

ХІХ

В следующий день, девятнадцатого июня, царевичу не удалось поговорить с Лукашей. Утром приехали в крепость самые влиятельные члены верховного суда: светлейший князь Александр Данилович, граф Гаврило Иванович Головкин, Иван Иванович Бутурлин и граф Петр Андреевич, а вслед за приездом последнего повели царевича в застенки.

Новый допрос царевичу состоял из четырнадцати вопросов, общий смысл которых ясно выразился в оглавлении: спросить царевича, все ли то правда и не поклепал ли кого в своих прежних повинных? В самых же отдельных пунктах указывалось на показание царевича о князе Вяземском, о духовниках, о князе Василии Владимировиче Долгорукове, о Нарышкиных, о царевне Марии Алексеевне, о Рязанском архиерее и о других. Спрашивалось, например, подтверждение показания на фельдмаршала Шереметьева о том, что когда-то Борис Петрович будто говорил царевичу: «Что-де не держит такого малого, который бы знался при дворе отцовском, чтоб ты все ведал». На князя Бориса Куракина в словах того царевича: «Это де к тебе мачеха добра, покаместь у нее сына нет, а как сын будет, не такова будет». Или, например, на графа Мусина-Пушкина: «Есть ли де тебе полегче и пора покинуть, которую ты держишь?»

Более интересный и более новый вопрос в этом допросе был только один последний: когда имел надежду на чернь, не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить или не слышал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?

На все эти вопросы царевич показал только ссылкой на прежние свои ответы: «На кого-де я в прежних своих повинных написал и перед сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял, и никого не утаил».

И в подтверждение таких-то ответов царевича подвергнули самой ужасной пытке. Дано ему было двадцать пять ударов кнутом, таких ударов, которые мог вынести, не шатнувшись, лишь здоровый и крепкий организм, а не хи-

лое тело царевича. В беспамятстве, всего изломанного и окровавленного, из застенка перенесли его в камеру и уложили в постель. Но в настоящее время еще не в расчете было покончить с жертвою. К постели явился лекарь с бинтами, мазями и примочками по крепкому наказу поправить и поставить на ноги для новых мук. Почти весь день царевич пролежал, охая и стоная, почти не приходя в сознание, но на другой и на третий день ему стало лучше; бинты, мази и примочки облегчили невыносимые боли, и больной мог вставать, делать при помощи постельного несколько шагов по комнате и даже мог проглотить, несмотря на Петровский пост, несколько ложек куриного бульона, принесенного Лукашей. Об Афросе царевич не спрашивал; он даже не замечал приходов Лукаши, как тот ни старался обратить на себя внимание, как ни усердно прислуживал, видимо желая утешить и сказать страдальцу какое-то доброе словечко об Афросе и селебене. Так и ушел Лукаша с своими столовыми приборами незаменным.

Физический организм начинал поправляться, но умственные способности ослабели и работали плохо.

Царевич мог понимать, но не мог связать стройной логической мысли, мог повторять, как будто с сознанием, чужие мысли, но не мог взвешивать значения каждого слова.

В таком положении человек обыкновенно становится самым послушным орудием чужой воли.

Через три дня больного навестил граф Петр Андреевич Толстой, и навестил, конечно, не даром, не по доброте сердечной. В этот день, двадцать второго июня, он получил от государя записку: «Сегодня после обеда съезди и спроси и запиши не для розыску, а для ведения — что за причина, что не слушал меня и нимало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно? Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? И для чего иною дорогою, а не послушанием хотел наследства?»

Странны казались бы эти чисто психологического характера вопросы и именно в такую пору, когда нравственное состояние сына давало полную возможность придавать его ответам какую угодно форму и когда сам отец более всех знал характер сына и все обстоятельства его виновности, если бы они не объяснялись вполне природой отца. Необходимо было законное основание. У себя дома можно было все ломать и рубить, можно было заставить

говорить как угодно, пытками и наказаниями молчать; но нельзя же заставить молчать потомство или говорить как угодно, нельзя же было заставить думать и судить по своей воле иностранцев, а суд потомства и иностранцев был для него дорог, даже слишком дорог. Практический ум государя сказался в выборе Петра Андреевича для настоящей цели.

Никто лучше графа Петра Андреевича не понимал желаний царя, и никто лучше его не мог бы их исполнить. И вот благодаря умению графа действительно получились желательные ответы.

На первый вопрос царевич, по внушению и разъяснению Петра Андреевича, написал: «Моего к отцу моему непослушания и нехотения делать того, что ему угодно, хотя и видел, что того в людях не водится и что то грех и стыд, причина та, что с младенчества моего несколько жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от природы склонен, а потом, когда меня от мамы взяли, то также с теми людьми, которые при мне были, а именно Никифором Вяземским, Алексеем да Василием Нарышкиными». Далее царевич, развивая последовательно влияние окружающей среды, говорит: «Вяземский и Нарышкины, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конвeрсацию иметь с попами и чернецами и к ним часто ездить и подпаивать, в том мне не только претили, но и сами со мною охотно делали»

«А что я был бесстрашен,— изложено во втором пункте самообвинения царевича,— и не боялся за непослушание от отца моего наказания и то происходило не отчего иного, как от моего злонравия (как сам истину признаю), понеже хотя я и имел от отца моего страх, однако ж не такой, какой подлeжит сыну иметь». В подтверждение своих слов царевич далее приводит известный пример об обжогe выстрелом себе правой руки для избежания экзамена в черчении.

На последний же вопрос, самый главный для обвинения себя, царевич ответил таким образом: «А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему следовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, как я делал и хотел оное получить чрез чужую помощь? И ежели бы до того дошло и цесарь на-

чал бы то производить в действо, как мне обещал, и вооруженною рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, достигал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск российских в помощь себе против какова-нибудь своего неприятеля или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, тако же и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы достигать короны российской, взял бы я на свое иждивение, и одним словом сказать: ничего бы не жалел, только чтоб исполнить в том свою волю».

Вполне довольный собою, имея в руках патент на бессмертие в собственном чаде своего изобретательного мозга, написанном рукою царевича, вышел из камеры граф Петр Андреевич. Милости царя теперь к нему обеспечены этим гениальным произведением, которым не только оправдывались все ужасные меры против сына перед целой Европой и перед потомством, но даже этим мерам придавалась окраска великого подвига, высокого акта отцовского самопожертвования на пользу отечества. Довольным остался и сам царевич. Почти бессознательно он написал свой обвинительный приговор, но тем не менее он все-таки смутно понимал общий смысл своего признания — и это его радовало. «Чем больше соберется против меня обвинений, тем лучше, тем скорее отошлют меня отсюда с женою и ребенком, тем вернее и ближе развязка», — думал он.

Светло и легко стало на душе царевича. Точно обновленным показался ему Божий свет, каким-то новым, живительным и благоуханным воздухом повеяло на него из небольшого окошка с железными решетками. Царевич подошел к решетке и весь отдался тому чудному раздумью, которому так, бывало, дивилась Афрося. Тихо спускается белоглазая петербургская ночь, окутывая все бледным междурассветным покровом, в котором ясно вырезаются мачты кораблей и фрегатов, стоявших на якоре близ крепости, да ярко колышется вдали на берегу пламя костра, около которого лежат и греются озябшие рыбаки; на небе сверкнули было две-три звездочки и мгновенно утонули в мерцающем свете; постепенно замирает человеческий говор праздничного дня, словно тонет в торжественном шепоте ночи и в каком-то таинственном ожидании; только изредка проносятся по чуткому воздуху окрики караульных в крепости и фрегатах, да неустанно

слышится плеск волны, ласкающей к зеленому пушистому берегу. И вспомнилось царевичу все прошлое — безотрадное детство, тревожная юность, вечное опасение дубинки, свое лицемерие, хитрости и мелкие обманы, которые привели его сюда, под железные запоры. Ясно, но поздно сознал он свои ошибки и свое горе...

Позднее обыкновенного и в том же светлом настроении встал Алексей Петрович на другой день. От ощущения ли возвращающихся сил или от того таинственного предвидения, которое помимо нашего разума и воли порою совершенно овладевает нами и заставляет наслаждаться тем, что от нас навсегда уходит, но царевича во весь тот день не покидал торжественный душевный мир. С особенной доброю и ласкою простился он вечером с прислугою и сладко заснул последним сном здоровой жизни.

Утром повели Алексея Петровича снова в застенки. Так как спрашивать было не о чем, то прочли ему все прежние показания и повторили вопрос, который был и три дня назад: «Сказал ли он истину, все ли правда, не поклепал ли кого и нет ли чего-нибудь больше?»

И царевич повторил то же, что все, написанное им в повинных и сказанное в расспросах, сушая правда, ни на кого не поклепал и ничего не утаил. В подтверждение допросов опять повторили мучительную пытку; дали только пятнадцать ударов, но таких нещадных, что от них не совершенно еще оправившийся от прежней пытки и вообще слабый организм царевича окончательно подломился. Полумертвым, изрезанным мясом перенесли царевича на постель.

А между тем в то же утро и в те же часы в сенате собралось полное присутствие верховного суда для окончательного решения участи царевича, на незамысловатую работу увенчания законными формами незаконного дела. В особенности на этот раз многолюдному собранию досталась легкая задача — не было ни споров, ни опровержений, ни разъяснений, ни замечаний. Приговор был составлен заранее витиеватым Петром Андреевичем, дополнен светлейшим князем и отредактирован самим отцом. Этим единогласным приговором определилась царевичу смертная казнь. И действительно, нельзя не отдать справедливости искусному перу Петра Андреевича, его ловкому уменью рельефно выставить все обвинения доказанными и цель преступления ужасною. Точно так же с замечате-

льным искусством выведена им необязательность данного отцом и государем клятвенного обещания о помиловании и вместе с тем государственная необходимость казни. «Хотя его царское величество,— говорится в приговоре,— в своем письме из Спа, 10 июля 1717 года, обещал ему прощение в побеге, если добровольно возвратится, и потом 3 февраля в столовой палате повторил свое обещание, но с ясным выговором, ежели он все то, что противное делал или умышлял и всех сообщников без всякой утайки объявит; иначе обещанное прощение не будет в прощение.

В ответном же письме своем царевич отвечал весьма неправдиво и утайл бунтовный, с давних лет задуманный, против отца и государя подыск и произыскивание к престолу даже при жизни родителей, имел надежду на чернь и желал отцу и государю своему скорой кончины.

Из собственноручного письма его, от 22 июня, явно, что он не хотел получить наследства по кончине отца прямою и от Бога определенною дорогою, а намерен был овладеть престолом чрез бунтовщиков, чрез чужестранную цесарскую помощь и иноземные войска с разорением всего государства при животе государя-отца своего. Весь свой умысел и многих согласных с ним людей тайл до последнего розыска и явного обличения в намерении привести в исполнение богомерзкое дело против государя-отца своего при первом удобном случае».

В этом приговоре очень ясно выразилась полнейшая натяжка в ущерб истине. Напрасно Петр Андреевич упомянул в приговоре о всем известном тогда царском письме из Спа, так как в этом письме было обещано прощение безусловно, независимо от каких бы то ни было обстоятельств, кроме возвращения в отечество, и только поверив этому обещанию, царевич воротился. Точно так же фальшиво раздуты и бунтовный замысел царевича, его обращение к чужестранной помощи, с разорением своего отечества — весь этот бунтовный замысел состоял только в желании укрыться от тиранства отца, правда выразившемся в побеге, но без всякого обращения к чужой вооруженной помощи. Выслушав заявление графа Толстого о невозможности царевичу по болезненному состоянию явиться в сенат для выслушания решения, верховный суд, для объявления приговора ему в камере, выбрал из среды

своей особых уполномоченных в лице светлейшего князя, канцлера графа Гаврилы Ивановича Головкина, графа Петра Андреевича и капитана Румянцева.

При входе уполномоченных в камеру царевич, собрав последние силы, встал и на ногах выслушал решение. От чрезмерной ли боли и крайнего напряжения при вставании и потом стоянии во время медленного чтения много-словного приговора или от испуга и потрясения при известии о назначенной ему смертной казни, но царевич мертвенно побледнел, зашатался и упал бы, если бы услужливые руки Петра Андреевича и Румянцева не поддержали его и заботливо не уложили бы в постель. Исполнив поручение и приказав лекарю заботиться о больном, уполномоченные из крепости прямо отправились к государю с докладом о благополучном и желаемом окончании следствия и суда.

Действительно ли содержание приговора поразило ум царевича — об этом никто не знал; вероятно, не сознавал и он сам. Но во всяком случае трудно предполагать смертельного последствия: ряд нещадных пыток мог достаточно подготовить к испугу и потрясению, да и вся жизнь теперь не могла не казаться ему тяжелою, нескончаемо-мучительною цепью...

Пришел духовник для последнего примиряющего напутствия в другой мир. Царевич, отличавшийся и в счастливые годы глубокой религиозностью не по одной формальной стороне, набожно совершил исповедь и с благоговением принял Святые Дары в очищение и отпущение всех вольных и невольных прегрешений. С этого момента никто и ничто, даже и любовь к Афросе и ребенку не привязывало его к жизни. «Без меня им будет лучше, будут счастливее», — подумалось ему. Попробовал было попросить караульного офицера позволить ему проститься с Афросей, в первый и последний раз увидеть своего ребенка, но когда офицер отозвался неимением приказа от начальства, то царевич безропотно покорился и мысленно благословил дорогих лиц.

После исповеди и причастия царевич лежал, вытянувшись всем телом, неподвижно, боясь малейшим движением усилить физические страдания. Казалось, тело его уже было мертво; только в больших полузакрытых глазах еще светилась жизнь в каком-то тихом, неземном и всепрощающем свете. Но вдруг это святое выражение сменилось гневом, зрачки неестественно расширились и загоре-

лись огоньком — в камеру входил от бомбардир капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев с объемистой тетрадью в руках. Царевич сделал движение, как будто хотел вскочить и бежать, но это продолжалось мгновение.

— Его царское величество приказал показать тебе эти писания, взятые у тебя в доме, и спросить тебя: из чего и для чего выписывал ты оные?— спросил Скорняков-Писарев, бесцеремонно садясь у постели больного и развертывая перед его глазами тетради, все написанные рукою царевича.

Алексей Петрович взглянул на рукопись и узнал своих старых знакомых, свои былые думы, заметки и выписки, деланные лет пять тому назад, во время заграничного лечения.

— Писал я... выписывал из книги Барониуса... на себя, на отца и на других... когда был в Карлсбаде... показывал их Никифору-учителю,— отвечал царевич, останавливаясь почти на каждом слове.

— С какою целью выписывал? Не рассеивал ли оные в народе для умышления бунта?— продолжал допрашивать Григорий Григорьевич.

Царевич горько улыбнулся.

— Выписывал затем... что прежде было не так... как ныне... в народе рассеивать не хотел... учитель своего мнения не сказывал...

Григорий Григорьевич, удовольствовавшись этими ответами, вышел.

Только крайне подозрительный и односторонне настроенный ум мог отыскать в этих тетрадях какой-нибудь повод к сомнению. Все эти выписки относились или к церковным делам, или к указаниям на исторические факты, или к заметкам философского содержания. Государю же, прочитавшему эти выписки с большим вниманием, они показались подозрительными, и он сомнительные места отметил на боках страниц крестом. Так были отмечены крестом такие выражения: «Феодосиево приготовление к войне и заповедь к воинам, чтоб не брать дров и постели у хозяев на квартирах» или, например: «Аркадий-цесарь велел еретиками звать всех, которые хотя малым знаком от православия отличаются» и другие подобные заметки; а между тем не отмечено выражение знаменательное, делавшее честь здравому уму царевича: «Пост в среду в Риме издавна». «Не цесарское дело вольный язык уни-

мать, не иерейское дело что разумеют не глаголати».

Последнюю ночь свою Алексей Петрович провел в спокойном сне.

Настало роковое двадцать шестое число. Утром приехали в крепость государь, светлейший князь, граф Толстой, Бутурлин и Румянцев, все те, которые принимали непосредственное участие в деле царевича. Государь казался мрачным. Молча, не обратив против своего обыкновения никакого внимания на честь, отданную ему караульными солдатами из любимых своих преображенцев, он прошел с своими приближенными прямо в застенок, куда приказал привести царевича и изготовиться заплечным мастерам.

Царевича принесли.

Увидя отца, сын, не имея сил подняться на ноги, пополз к нему и, обнимая его ноги, с отчаянным воплем умолял о прощении, умолял снять с него проклятие, благословить на будущую жизнь и молиться за него. Но лицо государя оставалось по-прежнему холодно, не дрогнул ни один нерв, не сложилась обычная складка на лбу, не скривились судорогами личные мускулы: он был облик античного героя, совершавшего великий подвиг самоотвержения и сознававшего свою жертву за отечество. Государь махнул рукою к стороне пыточных орудий; царевича подняли, обнажили исхудавшее, изрезанное тело с висевшими лоскутьями кожи, и мастера принялись за операцию.

Удар... один... два... три... ни одного крика, ни одного стога, ни одного движения в членах царевича... Побледневшие палачи переглянулись между собою, опустили руки и обратились к государю с немим вопросом. Царь понял, в чем дело, подошел к трупку сына, приложил к его сердцу руку, внимательно посмотрел в тусклые глаза и, не сказав ни слова, пошел из камеры. За ним вышли светлейший князь, Бутурлин и Румянцев; остался лишь на минуту граф Петр Андреевич сделать необходимые предварительные распоряжения о переносе тела из застенка в тюремную камеру, где и положить на постели, как будто еще не умершего, да еще распорядиться о запрещении входа в крепость всем посторонним лицам до того времени, когда приказано будет официально объявить о кончине.

В тот же день, в седьмом часу пополудни, приехал во дворец Андрей Иванович Ушаков формально доложить

царю о смерти царевича, и вслед за тем соборный колокол возвестил о том жителей столицы.

Собравшемся дипломатическому корпусу и всему русскому государственному чину сам царь объявил о смерти сына от апоплексического удара, последовавшего от испуга и потрясения при объявлении ему смертного приговора; дальнейшею же иллюстрациею этому лаконическому объявлению служили витиеватые рассказы Петра Андреевича об умирительном прощании отца с сыном и о нелицемерной горести отца и государя. Что же касается до наложения траура, то на вопрос об этом иностранных резидентов было оповещено, что никакого траура не должно быть, так как царевич умер преступником.

XX

Солдаты перенесли тело Алексея Петровича в камеру и там бросили его на постель. И пролежало это тело целые сутки поперек постели с обнаженною спиною, к крайнему изумлению мух и всей летающей твари, безбоязненно насевших около густых кусков запекшейся крови. Камеру не заперли, да и зачем? Арестант теперь не убежит, никто не войдет, никто не рискнет проститься с заснувшим страдальцем и отдать ему последний земной почет: без приказа — неусыпно и верно сторожили пытка и розыск. Сам комендант крепости, капитан Бахметьев, приказавший гарнизонным мастеровым сделать гроб, боялся отдавать дальнейшие распоряжения относительно трупа и все ожидал приказа свыше, а этого приказа не получилось во весь этот день. От радости светлейший князь забыл доложить царю и спросить указания; к тому же и время было особенно занятое — надобно было озаботиться приготовлениями и устройством торжественного чествования знаменитой Полтавской виктории.

Наконец, получено было ожидаемое предварительное распоряжение от светлейшего князя. Вследствие этих распоряжений местный соборный священник отец Феодор уложил тело царевича в черный бархатный гроб с белым парчовым покровом и отнесли этот гроб четыре преображенских солдата, впредь до составления царского церемониала, в деревянные, так называемые тогда губернаторские хоромы, около соборного храма и комендантского двора, на правой стороне от петербургских крепостных ворот. Отец Феодор решился даже самовольно назначить

сборных священников попеременно читать Псалтырь над гробом усопшего. Во весь этот день никто из высоких сановников не посетил губернаторских хором. Все были заняты праздником: утром слушали литургию в Троицком соборе, где приносили поздравления государю, потом производился парад войск на площади, с пальбой по батальонам и с пушечными выстрелами с болверков, от которых вздрагивало и дрожало измученное тело в гробу; после парада обеденный стол в новом почтовом дворе, где, по обыкновению, преизрядно пили, и, наконец, гуляли в саду его царского величества до двенадцати часов ночи.

Все веселились по примеру радушного хозяина, полтавского победителя.

Но забавляясь и веселясь, государь нашел, однако ж, время сочинить подобающий похоронный церемониал.

Согласно с этим церемониалом, гроб из крепости двадцать восьмого числа, в девятом часу утра перенесли в Троицкий собор, в сопровождении епископа Корельского и Ладожского Аарона, двух архимандритов и нескольких священников; из светских чинов в процессии участвовали: только неизменный канцлер Гаврило Иванович да близкие знакомцы покойного и знатоки пыточного дела: Андрей Иванович Ушаков и капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. При гробе, поставленном в левой стороне собора, учредилось постоянное чтение Псалтыря священниками и церковниками собора и дежурство двух преображенских сержантов.

Затем, после установки гроба, было позволено народу в продолжение следующего Петрова дня приходить в собор и прощаться с покойным.

И повалил народ толпами к святой Троице, и неліцемерно молился у гроба, не мало дивясь и перешептываясь между собою о страдальческом лице своей надежды российской и о том, отчего прикрыта голова и плотно кругом обвязана шея усопшего.

Занятные тогда были дни — даровых зрелищ много... вероятно, никогда и нигде не было таких веселых похорон. Там, в церкви, безгласно лежит надежда российская, а в городе пушечный гром и переливчатый колокольный трезвон благодатного именинного дня. С утра по Петербургу засновали экипажи высоких персон, спешивших в царский дворец с радостными лицами выразить всю свою рабскую, беспредельную преданность и получить от именинника благодарность с приглашением пожаловать на обед

Вслед за официальным приемом следовал обед в летнем дворце, за которым тостам и здравиям не было конца. Но главное празднество было впереди.

Прямо из дворца все гости отправились в адмиралтейскую верфь, на спуск прекрасного 94 пушечного корабля, выстроенного по рисунку самого дорогого именинника. Известно, каким пьяным разгулом мужчин и женщин сопровождался каждый корабельный спуск, но теперь разгул должен был еще дополниться радостью появления на завоеванных водах собственного детища.

Кутили все, пили много, пили безмерно, до истощения сил; а силы у птенцов великого новатора были не нынешние; но всех веселее, счастливее и радостнее был светлейший князь с своим семейством, точно он сам справлял свои именины.

Александр Данилович перестал считать свои кубки, перестал даже с затаенною тревогою наблюдать за своим патроном и своей милостивой Катериною Алексеевною. Сам родитель новорожденного детища казался весь этот день в каком-то возбужденном состоянии, он пил много, не менее, если не более обыкновенных крестин; но порывисто, временами как будто какое-то тайное горе охватывало его открытое лицо, становившееся мрачным, он даже непривычно опускал курчавую голову, но потом вдруг гордо выпрямлялся, поднимал горевшие глаза, зорко обводил ими всех и принимался снова пить.

Государыня Катерина Алексеевна, напротив, всех поражала необыкновенною грустью. Во все время праздника она почти ничего не пила, ни на кого не поднимала опухших и покрасневших глаз, казалась робкою, какою-то запуганною; точно так же невесело смотрел и ее любимый камер-юнкер Вилим Иванович...

Поздно вечером или, вернее, ночью для потехи обывателей на берегу Невы, против царского дворца сожжен был великолепный фейерверк с букетами и снопами всевозможных световых огней. Ярким светом озарилась вся окрестность: берег, царский дворец и Троицкая церковь; потешные огни вливались блестящими волнами в церковь, эффектно отражаясь на иконных окладах и странно играя на бледном лице царевича с его охладевшею скорбною улыбкою.

Отпраздновав Полтавскую викторию и тезоименитство, тридцатого июня совершили и торжественное погребение тела царевича Алексея Петровича.

В четыре часа пополудни приехало в Троицкий собор духовенство: три митрополита, шесть епископов, архимандриты, священники, иеромонахи и ризничие всех столичных церквей, с причтами и певчими; светские государственные чины, министры, сенаторы, генералы, штаб- и обер-офицеры гвардии, их жены и все знатные, бывшие в столице, а в седьмом часу прибыли пешком из дворца государь и государыня. По входе в церковь их величеств митрополит Рязанский Стефан, в сослужении с прочими митрополитами, епископами и архимандритами, начал совершать отпевание тела по обыкновенному установленному чину, во время которого при пении стиха «зряще мя безгласна» происходило прощание с усопшим сначала духовенства, потом их величеств целованием лба царевича и потом всех присутствовавших целованием его руки. Государь простился холодно и торжественно, государыня плакала.

По окончании литии наглухо закрытый гроб понесли из Троицкой церкви стольники и именитые дворяне, в числе двадцати четырех человек, сменявшихся между собою, в крепостную соборную церковь Петра и Павла, назначенную быть усыпальницею царского дома. Церемониал перенесения в подробности определялся царским указом. Впереди процессии несли икону, за которою шли певчие, а потом священники, иеромонахи, архимандриты, епископы, митрополиты, протодиаконы и диаконы с кадилами; за духовенством непосредственно следовал гроб, позади которого шел государь, имея за собою генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Александра Даниловича, министров, сенаторов и прочих высоких персон; за государственными чинами следовала государыня, имея позади знатный женский штат. По прибытии кортежа к притвору крепостного соборного храма гроб с пением установленных стихов опустили в приготовленное место у задних дверей, на левой стороне, близ могилы кронпринцессы Шарлотты. Все было чинно и торжественно. Точно так же чинно прошел и поминальный обед всех участвовавших в церемонии, в тех же деревянных губернаторских хоромах, куда первоначально было перенесено из камеры тело царевича.

От дня погребения в течение шести недель у гробницы Алексея Петровича читался Псалтырь и продолжалось дежурство знатных петербургских дворян, с переменами по четыре человека.

Афроси не было на похоронах Алексея Петровича, с которым она не видалась после выезда из Рима в октябре прошедшего года, за исключением принужденного свидания на очной ставке в Петергофе, при царском допросе и при обстоятельствах, самых невыгодных для царевича. Восемь месяцев разлуки для сердца каждой молодой женщины — такой долгий срок, в котором испытывают крушения привязанности даже с очень глубокими корнями. Бесспорно, Афрося любила царевича и отдалась ему по потребности чувства, но все-таки это чувство зародилось в сфере понятий о рабской преданности и безусловной покорности господской воле, а тем более царской. На барском дворе, а потом в сближении с царевичем Афрося умственно развилась, многое стала понимать, что прежде ей, как сельской дикарке, было непонятно, но встать на одну доску с царевичем в такое короткое время, при всем богатстве способностей, она, конечно, не могла.

Афрося, как девушка деревенская, здоровая, крепкая, питавшаяся насущными потребностями, никогда не могла понять заоблачных мечтаний своего чахлого, странного друга. Они составляли между собою две противоположности. Вначале на ее ум имела влияние внешняя обстановка царевича, но это обаяние, конечно, по мере сближения и соединения их между собою, должно было стираться, тогда как рознь их природы не только не стиралась, а, напротив, крепла и разрасталась все больше и больше. В душе Афроси все чаще, бессознательно для нее самой, появлялась ирония над мягкостью и слабостью своего любовника, друга и господина. И этого-то господина и любовника, через восемь месяцев после выезда из Рима, она увидела на очной ставке униженным, трусливым, трепетавшим от одного взгляда отца. При крутом изменении обстоятельств и при такой розни их природе оставалась только одна скрепа в физической любви и детях — скрепа хрупкая, легко поддающаяся каждому испытанию, а тем более когда жизнь в полном цвету и требует наслаждений.

В благодарность за обличительные показания Афросе предоставили большую свободу с позволением выходить из душной и замуравленной камеры без особого разрешения, не выходя только из окружности крепостных стен. Да впрочем, теперь Афросе и некуда было идти: ни у царевича, ни у бывшего барина князя Вяземского безопасного

пристанища не было, а с другими преданными лицами царевич ее не знакомил. Притом же если б и было куда скрыться, то она не убежала бы никуда от своего дорогого ребенка.

Вскоре к крепостным стенам ее привязало и другое, новое чувство.

Афросе полюбилось недалеко от своего каземата одно тенистое местечко, куда она после знойного дня обыкновенно уходила подышать свежим воздухом из душной тюремной атмосферы. И вот раз, подходя к своей любимой скамейке, она увидела на ней красивого преображенца, здорового гиганта с белыми крепкими зубами, большими выпученными глазами, загорелого, с роскошными формами, так и выпиравшими из тесной военной формы. Это был караульный офицер, дожидавшийся смены. Увидя приближение Афроси, офицер встал и с утонченною вежливостью уступил ей место; за учтивость и она заплатила учтивым поклоном.

На другой день встреча повторилась. Молодые люди разменялись несколькими словами и узнали, что они земляки: офицер принадлежал к помещицкому роду, владевшему вотчиной недалеко от родины Афроси. Общая родина вдруг сблизила их до короткости, и свидания стали повторяться каждый вечер, с нескончаемыми расспросами и воспоминаниями. В этих разговорах Афрося иногда расспрашивала и об Алеше, но расспрашивала без сердечной боли, как о человеке для нее навсегда потерянном. Поплакала она от рассказов о пытках царевича, заплакала о смерти его, помолилась за упокой его души и утешилась.

После смерти царевича Афрося была освобождена совершенно и отдана, по указу царя, под покровительство коменданта, у которого она и поселилась. Прежнее знакомство с караульным офицером продолжалось и закончилось благополучным браком*.

XXI

Утром знойного июльского дня по большой Стрелинской дороге, в двадцати верстах от новой столицы, в

* В виде приданого Афрося получила из движимого имущества царевича немалое количество на довольно крупную сумму ценностей в различных материях и лентах, бархате и шелке. (Прим. авт.)

графской мусин-пушкинской мызе Кирпуле тихо, едва-едва перебирая жидкими ножками, плетется тощая крестьянская лошаденка, запряженная в одноколку. Дорога ровная и груз небольшой — в одноколке только один седок, — но уставшая лошаденка вся в мыле, лениво кивает головой и сонно, нехотя отмахивается реденьким хвостиком от облепивших ее сплошь шмелей и ос. Воздух словно в раскаленной печи; ни одного движения ветерка, ни одной тени не пробежит от облачка, а от высоко поднявшегося солнышка так себе и льются, не уставая, жгучие лучи, и обливаются ими и томятся от их горячих ласк мягкая, зеркальная ширь моря, обожженный пожелтевший берег, вся потрескавшаяся широкими и извилистыми щелями дорога и хмурый беззвучный лес, в сторону отбежавший от дороги. Ни одного звука, ни плеска волны, ни шелеста листа, ни шороха птицы: все вымерло и истомилось; лишь изредка в иссохшей траве прошелестит да перепрыгнет раза два серый кузнечик, лениво протрещит свою немудрую песенку и снова ни одного звука.

— Эх денек-то Бог дал, так и парит, так и парит... смерть, словно как пекло, — промолвил сам с собою проезжий в одноколке Дмитрий Макарович Салтанов, торгующий крестьянин князя Александра Даниловича Меншикова, снимая шляпу гречишником и обтирая клетчатым платком плоский лоб и жирную шею, покрытые обильными струями пота; хоть бы горло промочить, все-то, окаянное, пересохло. Дмитрий Макарович недаром начал жаловаться на свое окаянное горло, он вдруг вспомнил, что тут близко, в каких-нибудь двух верстах за поворотом дороги ютится знаменитый «Мартышка». «Мартышка» — любимый кабачок мызы Кирпуле, был самым заманчивым и приветливым приютом для всех прохожих и проезжих. Охваченный с трех сторон густою листвою и выбежавший фасадом на дорогу, он своими раскрашенными окнами и вечно зеленой елкою на коньке всем и каждому обещал летом прохладу, зимою тепло, а во все времена года — доброе, чистое винцо и ласковое угощение.

Сам хозяин «Мартышки», отставной драгун Андрей Порошилов, умел привлекать в свое заведение приветливой речью и разными рассказами о виденных им по свету курьезах; а видел он их не мало на своем бойком веку, когда был служкой Владимирского монастыря, потом молодцеватым драгуном и, наконец, любимым бессменным денщиком у барина своего и у командира, графа Ивана

Алексеевича Мусина-Пушкина, на мызе которого ему удалось снять на откуп кабачок «Мартышку».

Дмитрий Макарыч подъехал к кабачку, заботливо поставил измученную лошаденку под навес сарая и затем пошел в переднюю светлицу, в растворенные окна которой так и блестели фляжки, бутылки да разного цвета и формы бутылки. На этот раз в кабачке никого не было, кроме самих хозяев, отставного драгуна Порошилова, товарища его по торговле, усердной компанейщицы Арины Ивановой, бабы здоровой, расторопной и еще довольно красивой, да брата ее Егора Иванова, приехавшего из столицы погостить к сестре. Войдя в светлицу и набожно помолившись перед образами, приезжий отвесил обычный поклон хозяевам с пожеланием:

— Бог в помочь!

— Спасибо на добром слове,— отблагодарил хозяин,— куда путь держишь?

— В Питербург по своему делу, в хоромы к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву — я ведь эйный — да изморился совсем дорогою, в горле пересохло, словно опалило,— рассказывал приезжий, усаживаясь к столу и потребовав немецкого пива, входившего тогда в употребление, в особенности у торговых людей.

В действительности Макарыч принадлежал к числу крепостных князя Александра Даниловича Меншикова, но назвался шереметевским по особому случаю. В то время, после смерти царевича Алексея Петровича, крепостные и даже ближние люди светлейшего князя старались, где только представлялась возможность, отрешившись от близости к патрону, слышшему в народе за злодея и предателя.

Арина Ивановна принесла бутылку пива; приезжий налил стакан, выпил его одним глотком и наполнил другой.

— Хорошее у тебя пивцо, хозяин,— одобрил приезжий,— право слово, хорошее, но я знаю пивцо получше твоего и подешевле.

— А где бы добыть твоего хорошего да дешевого пивца,— спросил хозяин.

— Добыть-то его трудно, очень трудно другим, а мне свет дело нипочем, сколько хошь возьму и почем хошь,— хвалился гость, опорожнивший бутылку, и потребовал другую.

— Научи уму-разуму... не знаю, как величать тебя?

— Митрием, хозяин, Митрием, по отчеству Макарычем.

— Так вот научи, Митрий Макарыч. Всем службу окажешь, да и сам как заедешь, будешь пользоваться,— просил хозяин.

— Можно... отчего нельзя?.. Оченно можно, отчего не сделать добро хорошему человеку? — говорил видимо повеселевший и размякший от пива, а еще больше от духоты Дмитрий Макарыч.— Оказия, братец ты мой, в том, что самый набольшой дворецкий в хоробах Бориса Петровича, у которого все погреба на руках, мой благоприятель старинный... душа в душу мы... Так вот евтот благоприятель меня в чем хошь ублаготворит... какого ни на есть вина французского аль венгерского... ему все нипочем... В шереметевских погребах всякого вина видимо-невидимо и счету ему нет. Понял, добрый человек?

— Как не понять, Митрий Макарыч, шереметевские погреба всему свету известны.— Порошилов был сам добрым приятелем шереметевского дворецкого и нередко пользовался от него разными винами, привозимыми с немецкой стороны, но счел за лучшее скрыть свое знакомство, рассуждая, что если проезжий говорит правду, так отчего ж не заполучить лишней порции, а если соврал, так и то нет резона болтать о своих делах со всяким проезжим..

— Так как же, Митрий Макарыч, уж посулил, так и сведи нас с своим благоприятелем.

— Можно... сказал, можно, так, стало, и можно... когда хошь сведу... Поедем в Питер?

— Мне-то самому никак нельзя, Митрий Макарыч, а вот уж если милость твоя будет, свези бабу.

— Бабу? Что ж, можно и бабу... оно и повольготнее, коль не боишься греха... Баба-то у тебя угорь!

Арина Ивановна по проворству и ловкости действительно была угорь-баба. Присматривая за всем, она успевала в одно и то же время одному ласково улыбнуться, другого приголубить глазами, с иным чокнуться чаркою вина, а иного так и оттолкнуть здоровым кулаком.

Затем беседа снова началась о жарах, продолжавшихся несколько дней и грозивших полной засухой, потом незаметно перешла к рассказам о разных проезжих и, наконец, коснулась до события, которое тогда волновало умы всех жителей, от княжеских палат до убогих крестьянских мазанок. О насильственной смерти царевича говорили все и везде — на площадях, на улицах, на обжорном рынке,

на Троицкой площади, около самого царского дворца; но говорили тихо, шепотом, на ухо друг другу. Государь знал об этих рассказях и, по обыкновению, принял энергические меры, запретив настрого, под опасением самого жестокого наказания, не только писать, но даже и говорить о царевице у себя дома при запертых дверях. Доносчикам обещана награда, и шпионы были рассеяны по всем местностям. Но чем суровее принимались меры, тем больше разрастались слухи и тем более грандиозные размеры они принимали. Народ любил царевицу, смотрел на него как на будущего избавителя от всех своих непосильных тягостей, и потому, понятно, каким страшным злодейством казались ему суд над надеждой-государем и потом мученическая смерть.

— Видишь, какую планиту Бог послал, сын на отца, отец на сына... Да что ныне какие судьи? Неправедные... судят не право... а вот государь, так и сына своего не пощадил. Какой же он царь? — высказал разгорячившийся и выпивший лишнее хозяин Порошилов. — Сына своего блаженной памяти, — при этом все присутствующие встали и осенили себя крестом, — нашего надежу-наследника, государя Алексея Петровича, заведши в сарай, пытал своими руками!

— Что ты? Почем знаешь? — с ужасом спросил проезжий.

— Сам видел, — подтвердил Порошилов.

— Какой он царь! Не царь, а антихрист! — крикнула и баба Арина, не отстававшая от мужчин в пробах вина. — Да вот погодите, скоро, скоро конец будет! Слышала я доподлинно, что преображенские солдаты хотят в строю его убить.

— Променял он, государь, большего сына своего на меньшего, на шведский дух! Да нынче не одни преображенцы, нынче и господа хотят ухлопать его за неправду... многую неправду в корне он показал... весь народ его бранит, да и сам-то он ходит теперь без памяти, — вставил и с своей стороны брат Арины, петербургский посадский человек Егор Леонтьев.

Обед кончился, а вместе с тем кончилась и затрапезная беседа. Проезжий улегся на сеновале переждать духоту и отдохнуть в прохладном местечке.

По пословице, утро — мудренее вечера, а у Дмитрия Макарыча вечер вышел мудрее утра. Когда в воздухе схлынул удушливый зной и отдохнула лошаденка, Мака-

рыч, усадив рядом с собою Арину Ивановну, покати́л мелкой рысцою в столицу. Невеселые мысли забродились в голове Дмитрия Макарыча. Нахвалившись в полупьяную руку важным знакомством с шереметевским дворецким, которого вовсе не знал и в глаза никогда не видал, он теперь придумывал, как бы выпутаться из своего курьезного положения. Но и это было еще ничего. Отбиться от бабы немудрено, стоит только ее пихнуть с одноколки под каким-нибудь предлогом и самому ускакать, будто лошадь испугалась и понесла, а беда оказывалась другого рода, и беда страшная. Свежий вечерний ветерок, обвеявший грузную голову Дмитрия Макарыча и просветливший мозги, напомнил ему все подробности обеда и о неподобающих речах о смерти царевича, и о злодействе государя. Захолодел совсем Макарыч от страха, и мелкая знобь забегала во всю его широкую спину. Ведь за эдакие речи прямо в Преображенский приказ или тайную канцелярию, а там известно какая расправа — искалечат сперва, а потом и голову снимут! Встревоженным мозгам Макарыча мерещился высокий-превысокий столб, а на том столбе воткнута голова, собственная его голова и глаза его большие, вытарашенные, оловянные смотрят вверх, точно звезды считают. Пробовал было он успокаивать себя рассуждением, что, мол, пройдет, мало ли каких делов на свете не бывает, но успокаивался ненадолго, на какую-нибудь минуту. У страха глаза велики, и увидели вдруг эти глаза в петербургском посадском человеке, брате Арины, подозрительную персону, какого-нибудь доносчика или шпиона. Да если б и не был этот посадский человек шпионом, так все-таки от этого не легче. Государь запретил даже и думать о таком деле у себя, в запретной горнице, а тут шутка ли: чуть криком не кричали в кабаке, на большой дороге, с растворенными окнами, где каждый прохожий все слышал и каждый может объявить слово и дело. Бледный, весь съезжившийся, сидел в одноколке Дмитрий Макарыч, выпустив даже вожжи из рук. И не может надивиться Арина, что сделалось с новым знакомцем, словно какой оголделый. То заглядывала она ему в глаза, то прижималась поближе, то ногой толкалась как будто невзначай от тряски — ничего не слышит даже. У бабы Арины было любвеобильное сердце; любила она своего мужа, любила своего кампанейщика по кабацкому хозяйству, но это не мешало ей заигрывать и с другими; не любила она одного — тратить время даром. «Что это

с ним попритчилось? — думалось ей. — Сам же давечка за обедом наметки мотал, а теперь, поди, вот как пень какой!» Арина никак не могла отгадать раздумья Дмитрия Макарыча; ей, привыкшей чуть не каждый день слышать подобные речи, и в голову не приходило придавать им какую-нибудь силу.

Приехали, наконец, в Питер, проехали несколько улиц и остановилась у палат фельдмаршала Бориса Петровича. Здесь только очнулся Дмитрий Макарыч, и то оттого, что нетерпеливая Арина крикнула ему остановиться у затейливых графских ворот. Остановились, Арина проворно спрыгнула с одноколки и лишь только открыла рот спросить о чем-то спутника, как тот вдруг взмахнул по лошади кнутом, резнул им что было силы и скрылся за углом соседней улицы.

Окружив несколько улиц, Салтанов сдержал лошадь и стал размышлять, что ему делать дальше и как увернуться от застенка, знакомство с которым казалось ему теперь совершенно неизбежным. Самым лучшим средством, додумался он, было бы предупредить, самому донести первому и получить за это награду; но как и кому донести? Надежнее было бы донести самому государю, но он не знал, где найти его, да и боялся стать прямо на грозные очи. Вспоминалось и то, что доносчику, не доказавшему извет, первый кнут, а обеденным речам свидетелей посторонних никого не было и уличить некому. Думал, думал Макарыч и наконец решился ехать в господские палаты своего барина, светлейшего князя Александра Даниловича, повидаться там с родственником своим, денщиком светлейшего, и посоветоваться с ним — может быть, племяш и сам вызовется передать князю. На этом Макарыч и остановился.

Подъехав к знаменитому меншиковскому дворцу, Дмитрий Макарыч вызвал племяшу, рассказал ему все и просил доложить обо всем барину.

— Не занимается наш князь этими делами, — высказал, подумав, денщик, — да и дело-то это опасливое, немало достается нам, из княжеского дома, в народе сраму да и пинков где в потайном месте. Поищи-ка лучше кого другого, — добавил сродственник и ушел в комнаты.

Дмитрий Макарыч отправился домой, но и дома все та же дума о пытке и казни, засевшая гвоздем в голове и без устали сверлившая весь его студенистый мозг. Всю ночь продолжался странный бред: то чудилось ему, будто

он в царском дворце как человек близкий и желанный, сам государь его принимает, ласково треплет по плечу «Спаситель Макарыч ты мой,— говорит будто царь,— озолочу я тебя и поставлю тебя превыше всех земных тварей»; то чудились ему какие-то страшные орудия, о которых немало ходило тогда толков; и двигаются будто эти орудия к нему, протягивают длинные руки и стараются охватить его шею. «Не хочу... не хочу... не надо... не меня...» — вскрикивает в ужасе Макарыч и просыпается, а потом снова все то же и то же...

На другой день Дмитрий Макарыч захворал серьезно — горячкой и воспалением легких. Подавленный ужасом и весь ему отдавшийся, он всю дорогу от «Мартышки» до Петербурга не замечал, как широко распахнулся кафтан на его груди, обнажив грудь и бок, и как усердно охватывал свежий морской ветер его разгоревшееся тело.

Пролежал Дмитрий Макарыч осень и всю зиму и только весной, исхудалый и изнуренный, стал выходить на свежий воздух посидеть за воротами и полюбоваться оживляющейся природою, которая теперь ему показалась еще краше и любовнее. Но вместе с возрождением сил снова в нем еще больше и упорнее засверлила прежняя мысль. Страх мучительно расстаться с Божьим светом теперь ему казался еще невыносимее; почти ежеминутно он вздрагивал от каждого легкого шума, в тоскливом ожидании присылки за собою нежеланных гостей с роковым «слово и дело».

Получив, наконец, возможность посещать знакомых, Дмитрий Макарыч стал осведомляться, где находится тайная канцелярия, когда и к кому там обращаться с важным государственным делом. Узнал он таким образом, что тайными делами, а в особенности по розыску над царевичем, занимается новожалованный действительный тайный советник граф Петр Андреевич Толстой с помощниками-членами Григорием Григорьевичем Скорняковым-Писаревым и Андреем Ивановичем Ушаковым. В то время Андрей Иванович был еще человек новый по пыточной части, но верно оцененный царем, показывал большие способности к грандиозному развитию. Он быстро начал приобретать популярность ласковостью, обходительностью, добродушием и доступностью к своим клиентам. И вот в одно прекрасное июньское утро Дмитрий Макарыч, усердно помолившись Богу, направился к Андрею Ивановичу. Не обманули люди: Андрей Иванович встре-

тил его ласково, обещал милости и награды, приятельски потрепал по щеке, расспросил во всей подробности, как, где и что было, осведомился, где живет доносчик, виновные, и отпустил с миром, приказав явиться на другой день к князю Ивану Федоровичу Ромодановскому, как верховному заправителю всех подобных дел, только что приехавшему на некоторое время из Москвы в Петербург.

На другой день, тоже утром, Дмитрий Макарыч повторил свое «слово и дело» самому князю Ивану Федоровичу, который выслушал его внимательно и хотя не был таким приветливым, как Андрей Иванович, но тоже обещал награду в случае справедливости доноса.

Макарычу приказано было явиться на следующее утро в тайную канцелярию. Между тем финансовые дела кабачка «Мартышка» шли в гору. Дешевое, доброе шереметевское вино с приветливою услужливостью хозяев манили посетителей, и редкий из проезжих не останавливал лошадей и не заходил отдохнуть под заманчивую елку. О проезжем год тому назад Дмитрию Макарыче Салтанове хозяева давно успели забыть. Мало ли перебывало гостей и мало ли переговорилось запретных речей под пьяную руку! Порошилов и баба Арина мирно делились барышами, жили душа в душу и не замечали, как вдали надвигались над ними грозные тучи.

В такое же безоблачное июньское утро, как и год тому назад, подъехали к кабачку «Мартышка» две подводы, из которых проворно выпрыгнули сержант и два преображенские солдата. Хозяин весело встретил гостей, но не весело обошлись с ним гости. Вместо того чтобы, как следовало, помолиться Богу и приветствовать хозяина, они бросились на него, закрутили руки назад, накрепко связали веревками и заковали в железо. Потом, покончив с ним, они вытащили из соседней каморки полумертвую от испуга Арину, ее тоже заковали и, запечатав кабачок, вместе с арестантами ускакали назад к Петербургу. Во всю дорогу Порошилов и Арина не успели перемолвиться между собой ни одним словом, а по приезде в столицу их заперли в крепость по разным казематам.

Начался обыкновенный практикуемый розыск. На первом же допросе Порошилов, узнав, в чем дело, откровенно сознался в своих речах о пытке царевича и высказал:

— «Когда царевич содержался на мызе своей, в четырех верстах от Петербурга, под присмотром у графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина, я ездил туда к графу

по своей надобности и видел сам, как царевич лежал пытаный».

От поносительных же речей на царя Порошилов совершенно отперся.

Потом Иван Федорович допросил бабу Арину, которая, впрочем, от всего отперлась, забожилась и заклалась, что поклепали ее напрасно.

Точно так же в поносительных речах не сознался и брат ее, посадский человек Егор Иванов.

Дали обвиняемым очную ставку с доносителем, но каждый из них остался при прежних своих показаниях.

На следующий день пустилось в ход пристрастие. На пытке под двадцатью пятью ударами кнута оговоренные повинились: как Порошилов, баба Арина, так и брат ее Егор в поношениях царя; но только объяснили свои непутные речи пьяным бессознательным состоянием.

Казалось бы, таким ясным сознанием в винах, совершенных даже и по показаниям доносчика в пьяном виде, розыск должен был бы кончиться, но по практике того времени каждый пыточный розыск обыкновенно повторялся до трех раз, если не оговаривались новые обстоятельства; в последнем случае порядок пыток исчислялся снова. А так как Иван Федорович считался не последним современным формалистом, то при настоящем важном извете он, конечно, не мог отступить от правил установленного производства.

Через два дня Порошилова снова пытали. На этот раз он, вероятно, из желания ослабить несколько свою вину передачею части ее на другого, видоизменил свои ответы, по некоторым обстоятельствам, и показал, что сам он не видел, а слышал о пытке царевича от пушкинского человека, Ивана Григорьева.

Иван Федорович тотчас же распорядился послать к графу Мусину-Пушкину за Иваном Григорьевым, но такого человека не отыскалось, а по отзыву графа даже никогда и не бывало.

Порошилова опять потянули к пытке, и он снова видоизменил показание:

— «Когда я ездил в мызу государя-царевича к графскому сыну Платону, то в то время при графе Платоне был человек Андрей, а чей сын и прозвище запомнил, и у той мызы тот Андрей мне в разговорах сказывал один на один, что государь царевича пытал и чтобы я о том

иным никому не говорил. Вчера же при пытке в беспмятстве и второпях сказал напрасно.

Отыскали и привезли в тайную канцелярию старинного пушкинского слугу, жившего с графом Платоном на мызе царевича, старика Андрея Рубцова, которого тотчас же и допросили, сначала без пристрастия.

Андрей Рубцов показал, что Порошилов действительно приезжал на мызу к графу Платону, но с ним, Рубцовым, никаких разговоров о пытке царевича не имел. При этом, однако ж, старик добавил, что «когда приехал в ту мызу царское величество, то из избы его, Андрея, выслали вон, и он, Андрей, стоял в лесу от той мызы далече и в то время в той мызе в сарае кричал и охал, а кто не знает; а после того спустя дня с три видел он, что государь-царевич говорил, что у него болит рука и велел ту руку подле кисти завязать платком, и завязали, а для чего и от чего та рука болела, не знает».

Таким образом, в ответах Рубцова и Порошилова оказывалось явное противоречие. Рубцов не только не признался в передаче хозяину «Мартышки», но даже отперся и в том, что и сам знал о пытке царевича. Для разъяснения этого обстоятельства произведены были очные ставки, на которых, по обыкновению, все обвиняемые только повторили свои ответы.

Между тем от доносчика поступили новые дополнения относительно бабы Арины и ее брата, посадского человека. Первая будто бы называла государя немилостивым, а второй будто бы говорил, что государь на радости (после смерти царевича) вырядил во флот фрегаты и вышел перед летний дворец. Так как обстоятельство о праздновании флота объяснялось естественно празднованием дня Полтавской виктории, то поэтому и не требовалось новых допросов; но бабу Арину снова потянули к пытке, на которой она, сознаваясь в названии государя немилостивым, объяснила это тем, что «когда Андрей Порошилов воротился из мызы государя-царевича домой, то ввечеру, в комнате своей сидя, все плакал, когда же она, Арина, спрашивала его, о чем плачет, так он отвечал: государь в мызе сына своего царевича пытал, а от кого он про то знал или от кого слышал, про это он ей не сказывал». И опять Порошилова к допросу с пытками, о чем плакал и от кого именно слышал о пытке царевича? И снова Порошилов сослался на Андрея Рубцова, высказав: «Как-де пришел из мызы царевича домой, то плакал от того, что

в той мызе ввечеру Андрей Рубцов, вышед из избы, ему говорил один на один: «Не ходи-де для Христа, поезжай-де прочь, что-де теперь делать», — и он его, Андрея Рубцова, спросил: «А что-де?» И на те слова он, Рубцов, молвил: «Государь царевича пытал... для Бога о том не сказывай!»

Наконец, под жестокими пытками старик Андрей Рубцов рассказал все подробности своего невольного и невинного преступления: «Когда я был с помощником своим Платоном в мызе, где жил государь-царевич, то в одно время помещик приказывал мне по пришествии туда царского величества не мотаться. И я по пришествии царского величества на мызу отошел в лес и смотрел, как вели государя-царевича под сарай и потом слышал в том сарае крики, а кто охал, не знал. Испужавшись же, отошел в тот лес дальше; больше ничего не видел и не слышал».

Весь розыск продолжался три месяца. Сначала пытки производились часто, чуть не каждый день, но потом ввиду крайне истомленного и искаленного состояния обвиняемых пытки повторялись с промежутками двух, трех и более недель. Последняя пытка совершилась в половине сентября, после которой на другой же день выехал из Петербурга в Москву сам главный заправитель пыточных дел того времени, князь Ромодановский.

С отъездом князя Ивана Федоровича о мартышкинских арестантах, казалось, совершенно забыли; и три месяца еще томились заключенные в сырых казематах крепости, ежедневно ожидая или позыва на кровавую резню, или объявления казни. Впрочем, смертный приговор теперь казался им желаемым концом.

В первых числах декабря наконец состоялась милостивая резолюция: действительный тайный советник и кавалер от гвардии капитан Петр Андреевич Толстой, бригадир и лейб-гвардии майор Андрей Иванович Ушаков, полковник и лейб-гвардии от бомбардир капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, слушав выписки, приказали: денщику Андрею Порошилову и посадскому человеку Егору Леонтьеву и женке Арине за непристойные их слова про его царское величество, которые на них крестьянин Дмитрий Макаров Салтанов показал, в чем они в расспросах запирались, а с очных ставок с ним, Макаровым, и с розысков в том повинились, и за такое их воровство по Уложению учинить им смертную казнь, отнять головы, а человеку же графскому Андрею Рубцову

за то, что он помянутому денщику Порошилову про царевича, блаженной памяти Алексея Петровича, говорил непристойные же слова, учинить наказание, бить кнутом нещадно и отдать его помещику по-прежнему».

Через полторы недели после приговора, в половине декабря совершилась самая развязка. Изувеченных, едва живых, с изломанными членами вывели хозяев «Мартышки» и посадского человека Егора за кронверк Петропавловской крепости, где прочитал им смертный приговор отчетливо и ровно дьяк тайной канцелярии. Взведенные на роковой помост осужденные беззлобно простились с Божиим светом, крепко поцеловались друг с другом и покорно положили свои головы на плаху. Палач, наметавший руку в обильной практике, не длил их последние минуты... да и некогда ему было — торопился на именины к знакомому человеку. К тому же и зрителей дарового спектакля почти никого не было, побоялся проводить до могилы бабу Арину даже и муж ее... В то время дорого приходилось расплачиваться за чувствительность и за сочувствие к несчастным; не думал же Андрей Порошилов, оплакивая муки царевича, после возвращения с мызы, что слезы его смываются кровью.

Не дешево расплатился также и старик Андрей Рубцов. Тут же, в стороне от эшафота, тотчас после казней хозяев «Мартышки», совершилось и нещадное сечение кнутом старика.

Зато выиграла меншиковский крестьянин Дмитрий Макарович Салтанов, получивший в день казни пятьдесят рублей награды, да птенцы орлиного гнезда, получавшие чины и милости за усердие.

XXII

Умер мученик-царевич, прах его давно истлел, а имя его еще долго служило предметом народных толков, развиваемых и дополняемых творческою фантазиею. И странные узоры выводило народное творчество, не умирное, а, напротив, возбужденное жестокими запретительными карами за мысль и слово. В народе упорно разносился слух, передаваемый за наверное, на ухо от одного другому, то о том, что будто царевич спасся, ускакав за границу вместе с фельдмаршалом Борисом Петровичем, то будто переодетый царевич скрывается в шайках голытьбы, бродит по степям, по казацким станицам, и что буд-

то бы донские казаки решительно отказались признавать наследником царевича Петра Петровича и крепко стоят за царевича Алексея. Иногда подобные неуместные толки прорывались наружу и делались пищею пыточных приказов, вследствие доносов шпионов или поссорившихся друзей друг на друга, но тревога не утихала. И напрасно скатывались простодушные головы за недозволенную болтливость языка, напрасно шагали партии на вечную каторгу, на ссылку в отдаленную Сибирь или выносились широкими спинами кнут да батоги — языки не унимались.

Проходит нищий через деревню, измученный и весь иззябший, просится он отогреться и переночевать в первой избушке, где светится приветливый огонек. В избе у хозяйина-крестьянина сидит гость, местный дьячок, балагур и большой приятель хозяйина.

Нищего впустили, обогрели и накормили.

— Откуда бредешь, старина?— спросил хозяин нищего.

— Из Питербурха, родимый,— отвечал нищий.

— А что там делается?— полюбопытствовал дьячок.

— Да что делается... все нехорошее... Меншиков убил царевича, а сын царевича пожаловался на это своему деду-государю, и Меншикова, говорят, сковали.

Отогретый и отдохнувший, нищий разговорился и выложил весь запас новостей, который подобрал дорогой; рассказал даже и о себе: кто он, откуда и где обыкновенно живет. Прошел год; в конце этого года дьячок, к несчастью, поссорился с приятелем-крестьянином и в злобе объявил на него государево «слово и дело». На розыске и допросах, в подтверждение своего доноса он рассказал слухи, сообщенные год тому назад нищим.

В Преображенский приказ собрали всех собеседников: дьячка, крестьянина, нищего — и подвергнули их обычной процедуре пыток. Дело кончилось тем, что их всех высекли нещадно кнутом и отправили в Сибирь на каторжную работу, вырвав предварительно ноздри.

Возможности насильственной смерти царевича и возможности сокрушения его наследственных прав — народ не верил; а в особенности не верили церковные чины, считавшие себя в исключительной милости у покойного наследника. Долго, почти год спустя после смерти царевича, от одного из обывателей Басманной слободы Мохательнинова подан был в Преображенский приказ донос на сторожа Благовещенского собора, Еремея, говорившего будто

бы такие непотребные слова: «Как-де будет на царстве наш государь-царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш царь Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним; и смутится-де народ: он-де государь неправо поступил к нему, царевичу».

Разумеется, сторожа Еремея подвешивали на дыбу, нещадно стегали кнутом и сослали в Сибирь; но такими мерами, конечно, не могли стираться народные чувства и убеждения.

В особенности была торовата на доносы природа подъячих во всем тогдашнем русском царстве, начиная от Белокаменной и кончая самыми отдаленными окраинами.

Жили в Астрахани двое подъячих, старинные друзья, всегда безобидно делившие между собою радости и горе. Но вот пробежала между ними черная кошка, и один из них тотчас же подал местному губернатору, Артемию Петровичу Волинскому, извет на бывшего друга в сочинении поносительных писем о чести государевой. Артемий Петрович заковал доносчика и обвиняемого, опечатал все бумаги последнего и отправил обоих арестантов с бумагами в Москву к Ивану Федоровичу Ромодановскому.

У обвиняемого, действительно, нашлось какое-то заклинительное письмо странного содержания:

«Лежит дорога, через ту дорогу лежит колода, по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку да ушат воды; песком ружье заряжает, водою ружье замыкает, как в ухе сера кипит, как в ружье порох кипит, так бы оберегатель мой навсегда добр был, а монарх наш царь Петр буди проклят, буди проклят, буди проклят».

Обвиняемый на пытке отозвался, будто письмо это нашел года три назад, в огороде какого-то зарайского купца.

Кляузная природа подъячих рельефно выказалась еще в одном замечательном процессе того времени. Четыре месяца спустя после смерти царевича подъячий камер-коллегии, какой-то Александр Березкин, представил Петру Андреевичу Толстому извет такого содержания:

«Ехал я летом 1718 года с Москвы в С.-Петербург с казенными письмами, и из Новгорода отправлен был водою. На судне со мною находился какой-то человек, называвший себя денщиком светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. В разговоре я сказал денщику: «Явно как Господь сохранил от злоумышленников и от смущения и от междоусобного смятения, но слава Богу,

что царскому величеству известно учинилось, о чем манифест царевича Алексея Петровича повествует во весь народ, за что лишен наследства, а наследником быть царевичу Петру Петровичу».

Денщик на это отвечал: «По которых месте государь жив, а ежели умрет, то-де быть другим».

Полтора года искали этого денщика светлейшего князя Александра Даниловича и, наконец, нашли, важного преступника в Киеве, в курьере князя Дмитрия Михайловича Голицына, Антон Наковалкин.

На допросе Наковалкин показал, что он действительно дорогою в пьянстве говорил Березкину, но совсем иные речи: «Ныне при царском величестве,— будто бы говорил он,— все под страхом и может-де быть твердо, покамест его царское величество здравствует, а ежели каков грех учинится и его царского величества не станет, то может быть, что все не под таким будут страхом, как ныне при его величестве, для того, что может-де быть, что он, государь-царевич Петр Петрович, будет не таким, что отец его, его величество».

За такие продерзостные речи курьер Наковалкин отделался неимоверно дешево — батогами; вероятно, благодаря сильному влиянию князя Дмитрия Михайловича.

О подробности смерти царевича Алексея Петровича наши официальные документы упорно молчат, ограничиваясь выражением «преставился» или «переселился в жизнь вечную»; но зато сохранилось не мало частных, напечатанных и рукописных записок того времени, совершенно противоречащих друг другу. В одних записках смерть царевича объясняется растворением жил, в других — казнью самим отцом секирою или топором, в третьих — задушением, в четвертых — отравлением. Особенно из них интересны два рассказа: какого-то иностранца Генриха Брюса и нашего русского Александра Румянцева — противоречащих друг другу, но до того замечательных по мелочной подробности описания ужасного дела, что нельзя отказаться от удовольствия привести их подлинником.

В записке Генриха Брюса* говорится: «В следующий

* P. H. Bruce memoirs containing an account of his travels in Germany, Russia et caetera. London. 1782. (Прим. авт.).

день (после объявления смертного приговора царевичу) царь, сопровождаемый сенаторами и епископами, явился в крепости, в том каземате, где содержался царевич. Вскоре вышел оттуда маршал Вейде и приказал мне (Генриху Брюсу), служившему будто бы адъютантом у генерала Вейде, сходить к аптекарю Беру, жившему вблизи, объявить ему, чтобы заказанное питье было крепко, потому что царевич очень болен. Услышав от меня такое приказание, Бер побледнел, затрепетал и был в большом замешательстве. Я так удивился, что спросил его: «Что с ним сделалось?» Он ничего не мог отвечать. Между тем пришел сам маршал, почти в таком же состоянии, как и аптекарь, и объяснил, что надобно поспешить, потому что царевич очень болен от удара паралича. Аптекарь вручил ему серебряный стакан с крышкой, который маршал сам понес к царевичу и всю дорогу шатался, как пьяный.

Через полчаса царь удалился со всеми провожавшими его особами: лица у них были очень печальны. Маршал приказал мне быть в комнатах царевича и, в случае какой-нибудь перемены, немедленно его уведомить. Тут же находились два врача, два хирурга и караульный офицер: с ними я обедал за столом, приготовленным для царевича. Врачи были немедленно позваны к царевичу: он был в конвульсиях, и после жестоких страданий, около 5 часов пополудни, скончался. Я тотчас дал знать о том маршалу, который в ту же минуту донес царю. По царскому повелению внутренности из трупа были вынуты; после того тело положено в гроб, обитый черным бархатом».

По рассказу же Александра Румянцева, изложенном в известном письме его, сохранившемся у многих в рукописи, какому-то Дмитрию Ивановичу Титову, 27 июля 1718 года, смерть царевича произведена была задушением, по приказу царя, для избежания публичной казни, Петром Андреевичем Толстым, Иваном Ивановичем Бутурлиным, Андреем Ивановичем Ушаковым и им, Румянцевым.

«А как пришли мы в великие сени (перед камерой царевича), то стоящего тут часового Ушаков, яко от дежурства начальник дворцовые стражи, отойти к наружным дверям приказал, яко бы стук оружия недужному царевичу беспокойство творя, вредоносен быть может. Затем Толстой пошел в упокой, где спали его, царевича, постельничий да гардеробный да кухонный мастер, и тех от сна возбудив, велел не мешкатно от крепостного караула

трех солдат во двор послать и всех челядинцев с тем солдатами, яко бы к допросу, в коллегию отправить, где тайно повелел под стражею задержать. Итак, во всем доме осталось лишь нас четверо да единый царевич, и той спящий, ибо все сие сделалось с великим опасательством, да его безвременно не разбудить.

Тогда мы слишком возможно, тихо перешли темные упокои и с таким же предостережением дверь опочивальни царевичевой отверзли, яко мало была освещена от лампы, пред образами горящей. И нашли мы царевича спящего, разметавши одежды, яко бы от некоего сонного страшного видения, да еще по времени стонуша; бе бо и в правду недужен вельми, так что и святого причастия того дня, вечером, по выслушании приговора, сподобился из страха, да не умрет, не покаившись в грехах; с той поры его здравие далеко лучше стало, и по словам врачей, к совершенному оздоровлению надежду крепкую подавал. И не хотяще никто из нас его мирного покоя нарушати, промеж собою сидяще говорили: не лучше ли де его во сне смерти предати и тем от лютого мучения избавити? Обаче совесть на душу налегла, да не умрет без молитвы. Сие мыслив и урепясь силами, Толстой его, царевича, тихо толкнул, сказав: «Ваше царское высочество! восстаните!» Он же, открыв очеса и недоумеая, что сие есть, седе на ложнице и смотряще на нас, ничего же от замешательства не вопрошая. Тогда Толстой, приступив к нему поближе, сказал: «Государь-царевич! По суду знатнейших людей земли Русской, ты приговорен к смертной казни, за многие измены государю-родителю твоему и отечеству. Се мы, по его царского величества указу, пришли к тебе тот суд исполнити; того ради молитвою и покаением готовься к твоему исходу, ибо время жизни твоей уже близ есть к концу своему». Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь; но, из этого успеха не возмев, нача горько плакаться и глаголя: «Горе мне, бедному, горе мне, от царские крови рожденному! Не лучше ли мне родитися от последнего подданного!» Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: «Государь, яко отец, простил все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но яко государь-монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог, боясь да в некое злоключение отечество свое повергнет через то; того для отвергли вопли и слезы, единых баб свойство, приими удел твой, яко же подобает мужу царские крови и сотвори

последнюю молитву об отпущении грехов своих!» Но царевич того не слушал, а плакал и хулил его царское величество, нарекая детоубийцею. А как увидели, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно, от страха не помню, говорить за ним начал: «Господи, в руци твои предаю дух мой!» Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Той же мною, яко Бутурлин, рек: «Господи! Упокой душу раба твоего Алексея в селении праведных, презирая прегрешения его, яко чело-веколюбец!» И с сим словом царевича на ложницу спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, дондеже движение рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалося скоро, ради его тогдашней немощи; и что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума помрачение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, яко бы спящего и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близ дома остались, да кто-либо из сторонних туда не войдет; Бутурлин же да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали».

Оба рассказа ложны, как доказала историческая критика. Генриха Брюса, если только он существовал, в России никогда не было, по крайней мере его фамилии не встречается в списках тех должностей, которые, по его словам, он занимал, а в письмах Румянцева находятся такие грубые ошибки, которые никак не могли быть сделаны им самим. Более верно смерть царевича угадало народное чувство. По общему народному убеждению, выразившемуся в показаниях по розыскным делам, царевич Алексей Петрович умер под пыткой самого отца. «В 1721 году столяр Королек, например, говорил: «Пока государь здравствует, по то время и государыня царица жить будет; а ежели его, государя, не станет, тогда государыни-царицы и светлейшего князя Меншикова и дух не помянется, того для что и ныне уже многие великому князю (сыну Алексея Петровича) сказывают, что по ее, государыни-царицы, наговору государь царевича своими руками забил кнутом до смерти, а наговорила она, государыня царица, государю так: «Как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья не будет»; и государь, послушав ее, бил его, царевича, своими руками кнутом, и от того он, царевич, и умер».

В таком же смысле говорила и старуха Кулбасова: «Чаю, вестимо великому князю, что батюшки его не стало. Быть было царицею светлейшей княгине, да поспешила Екатерина Алексеевна. Бог знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками. По ее наговору и царевич умер; подчас будто его жалеет, да не как родная мать. Она же государю говорила: «Как царевич сядет на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына житья не будет». И по тем ее словам государь пошел в застенки к царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его, царевича, бил кнутом, и уже потом Бог знает что сделалось».

XXIII

Прошло шесть лет неустанной работы по русской наковальне тяжелого молота, разбрасывавшего вокруг себя огненные искры и все крошившего нещадно на своем пути. Выковывалось новое общество в формах, вылитых по западным образцам, выковывалась новая империя, много голов взлетело на высокие шести; но к этому уже привыкли и страсть к даровым зрелищам, после смерти надежды российской, притупилась.

Новшества без перерыва чередовались между собою, и чем дальше, чем они заходили глубже, тем болезненнее поворачивалось неуклюжее общественное тело в беспощадной шлифовке. Не успела кончиться разорительная Северная война Ништадтским миром, не успел колосс громко заявить права свои на императорский титул, как на смену появилось новое предприятие о расширении своей власти в Азии, породившем так называемый неудачный персидский поход.

Но рядом с новшествами шел и другой вопрос, вопрос о том, кто же будет их продолжителем? Милый шишечка, на ребяческие руки которого колосс мечтал сложить непосильное бремя, умер, не дожив и до отроческих лет, а другого сына и наследника не было. Думал новый император об этом вопросе, думал немало, но до окончательного его решения только потребовал от своих подданных клятвы повиноваться тому, кого он изберет наследником. Раз даже и решился было он: составил завещание; но потом уничтожил и вместо завещания совершил коронование императрицею своею Катерины Алексеевны.

Думал ли он этим государственным актом указать на свой выбор наследника в лице жены или только поставить ее в ряды царского дома — об этом он ясно и положительно никогда никому, даже и приближенным своим, ничего не высказывал. Его доверенный статс-секретарь Макаров, которому удавалось слышать не раз задушевные мысли государя, впоследствии, после смерти царя передал только то, что государь иногда будто говаривал о необходимости составить завещание, для избежания народного смущения после его смерти, а иногда будто высказывался и так: «Если народ, выведенный мною из невежественного состояния и поставленный на степень могущества и славы, заявит себя неблагодарным, то не поступит согласно моему завещанию, хотя бы оно было и написано: а я не желаю подвергать своей последней воли возможности оскорбления. Но если народ будет чувствовать, чем обязан мне за мои труды, то станет сообразоваться с моими желаниями, а они были выражены с такою торжественностью, какой нельзя было бы сообщить никакому писанному документу».

Насколько правды в словах Макарова, насколько он наложил своей окраски в пользу милостивицы Катерины Алексеевны — это осталось на совести доверенного статс-секретаря; но и нет никакого веского повода ему совершенно не верить. Царь не видел около себя другого лица, достойного занять его место. Очень он любил дочерей своих, более чем любила их даже мать, но они не могли быть наследницами; Лиза была еще так молода, а старшая Аннушка слишком кротка, боязлива; да и притом же муж ее, герцог голштинский, человек вовсе не такого покроя, которого можно было бы посадить на русское государство. Правда, было еще лицо, имевшее самые сильные права, — родной внук, сын убитого Алексея Петровича; но между дедом и внуком стояла грозным призраком тень отца... Дед всеми силами старался забыть о внуке, старался не обращать на него никакого внимания и, видимо, избегал его; затем Катерина Алексеевна оставалась единственным лицом, которое могло еще поддерживать его создание теми же птенцами, которых он вырастил. А между тем приближение конца неутомимой деятельности заставляло себя чувствовать все заметнее и заметнее. Чаше стали появляться признаки болезненного напряжения нервов, разрешавшегося необыкновенной слабостью и усилением старинного недуга.

Вместе с упадком сил все более и более стали развиваться недоверчивость и подозрительность; государь не доверял даже близким к себе людям. Не говоря уже о некогда нежно любезном ему Саше, Даниловиче, в глубоком плутовстве которого он теперь убедился, царь стал не доверять даже своей Катериночке и, странное дело, стал более не доверять именно со времени совершения того государственного акта, которым она приуравливалась с мужем — со времени коронации. Теперь ему показались подозрительными близкие отношения жены к красавцу Вилиму; он стал наблюдать, замечать, слушать со стороны отдаленные намеки и читать анонимные письма.

Постоянным медиком государя был Блуменротт, объяснявший страдания царя началом каменной болезни и поэтому лечивший все появляющиеся болезненные симптомы согласно с своим убеждением.

Самообольщение Блуменротта немало поддерживалось и тем обстоятельством, что государю, по-видимому, прежде делалось лучше от его лекарств; хотя действительно облегчения происходили не от лекарств, а по естественному ходу: болезненных припадков. Царь, по нетерпимости своей, обыкновенно не исполнял врачебных предписаний и часто, нетронутые лекарства выбрасывал вон.

Вероятно, болезнь предоставленная естественному ходу, продолжалась бы много и много лет с обыкновенными периодами улучшения и ухудшения, если бы через несколько месяцев после коронации Катерины Алексеевны, в конце 1724 года, не подействовало разрушительно стечение многих несчастий, нравственных и физических.

Во все последнее время недоверчивому и подозрительному государю казались странными близкие отношения жены к очаровательному Вилиму Ивановичу, ее настойчивые просьбы, источником которых он не без основания предполагал желания камер-юнкера, влияние его, не заслуженное никакими государственными делами, почетное место, которое любимец занял в общественном положении, и — государь стал ревниво наблюдать за этими отношениями. И вот в разгаре этих подозрений в ноябре государь вдруг получил анонимное письмо, открывавшее ему тайну любви Катерины Алексеевны и Вилима.

За несколько лет прежде государь не обратил бы никакого внимания на подобное письмо и показал бы его жене, но теперь он захотел лично удостовериться в лживости извета и удостовериться в верности жены обыкновенной

уловкою обманутых мужей. Простившись с женою и отправившись как будто на несколько дней для осмотра работ в Шлиссельбургской крепости, он воротился с дороги и тихонько вошел в комнаты жены, где и застал камерюнкера... Потрясение от бурной сцены было слишком жестоко...

Красивая голова Вилима Ивановича скатилась с высокого эшафота, но казнь его не могла воротить прежнего семейного счастья. К нравственному удару, поразившему всю нервную систему царя, почти в то же время присоединилось и несчастье другого рода, чрезвычайно повлиявшее на физическое здоровье. В народе и даже в верхних слоях общества упорно держалась мысль о возможности полного затопления столицы, несмотря на все уверения царя в совершенной безопасности и несмотря на работу водопроводных каналов. И теперь этим зловещим предсказаниям суждено было оправдаться. После нескольких дождливых дней и сильных ветров с моря воды Невы, поднимаясь все выше и выше, вылились, наконец, из берегов и в страшную бурю с ливнем глубоко затопили всю низменную окрестность. Обитатели бедных хат бедствовали, имущество их уносилось волнами, сами они погибали.

Для спасения несчастных государь принял все меры: разослал всю свою флотилию и сам, весь обледенелый и измокший, все время неустанно разъезжал по городу, спасая все, что возможно было спасти.

После Монсовой казни и наводнения государь стал чувствовать себя нехорошо, по временам ощущать сильные боли, но перемогался и по-прежнему не обращал большого внимания на докторские наставления, по-прежнему пил и кутил; даже как будто из желания забыться кутил более обыкновенного. К еще большему несчастью в первых числах января происходило избрание нового князя-папы всешутейшего и всепьянейшего собора, и государь, предводительствуя членами этого собора, кутил более чем неумеренно. Болезнь развилась быстро и приняла самые опасные размеры. От нестерпимых болей государь кричал, в исступлении вскакивал с постели и потом падал в полном изнеможении. Собрался консилиум почти из всех столичных докторов под руководством того же, постоянно пользовавшего царя, Блументроста. По исследовании больного на консилиуме мнения врачей разделились. Призванный в первый раз лекарь, итальянец Лазарини, совершенно разошелся с мнением Блументроста и с

полной уверенностью объяснил страдания царя внутренней язвиной, накопившимся нагноением которой остановились естественные отправления. Лазарини вызвался вылечить больного государя; но с его мнением не согласилось большинство врачей, веривших слепо авторитету Блументроста. Лечение продолжалось по прежней системе и привело, конечно, к печальным последствиям. Страдания с каждым часом увеличивались с ужасающей силой. Отчаянные крики больного слышались далеко за стенами дворца.

«Познавайте из меня, какое жалкое животное человек», — говорил он своим приближенным, когда минутно утихали боли.

Так продолжалось недели две. Государь, почувствовав, что ему не жить более на свете, потребовал устройства подле своей спальни походной церкви, в которой богослужение он мог бы слышать, не вставая с кровати. Церковь устроили, государь выслушал литургию, совершил исповедь и принял Святые Дары.

Ввиду ухудшения болезни созван был новый консилиум; и на этот раз большинство, даже сам Блументрост, согласились с мнением Лазарини. Решили совершить операцию и исполнение ее поручили английскому хирургу Горну. На другой день после консилиума исполнена была и самая операция с совершенным успехом. Страдания быстро утихли, больной почувствовал себя легко, а хирург Горн положительно объявил, что никакого камня нет и не было, а находится только предполагаемая Лазарини язва. За видимым облегчением от страдания у всех явилась надежда на полное выздоровление государя, который весь этот день провел бодро и ночь спал спокойно.

Но это было только временное облегчение. Если бы операция произведена была десятью днями ранее, после первого же предложения Лазарини, то, без всякого сомнения, ее ожидал бы положительный успех, но теперь помощь пришла слишком поздно. Язва превратилась в гангрену. Однако ж следующий день после операции, то есть двадцать шестое января государь все еще продолжал чувствовать себя хорошо, явился даже аппетит, и он проглотил несколько ложек овсяной кашицы. Но едва он успел принять третью или четвертую ложку, как вдруг появились жестокие судороги, а вслед за тем и лихорадочные припадки. Лазарини и Горн освидетельствовали больного и нашли несомненные признаки быстрого развития

гангренозного состояния, неизбежного предшественника смерти. После полудня архиереи совершили елеосвящение и затем, вечер, ночь и весь следующий день, государь провел в страшных страданиях, в грезах и в горячечном бреде, с небольшими только проявлениями ясного сознания и воли. Но и в эти небольшие промежутки умирающего тревожили грозные тени казненных, их головы с холодными глазами, с ядовитой усмешкою удовлетворенного мщения и окровавленное, изрезанное тело сына.

И бессильно отбиваясь от настойчиво преследующих призраков, этот железный гигант делается мягким и милосердным.

Во искупление своих прежних жестокостей он объявил прощение всем преступникам, осужденным в каторжную работу, за исключением лишь убийц и виновных против первых двух пунктов, то есть против религии и самодержавной власти, объявил прощение осужденным по военному суду к смертной казни и всем не явившимся на смотр по царскому указу, за что должны были бы подвергаться лишению всего движимого и недвижимого имущества, с одним только условием — молиться Богу за выздоровление царя.

В одно из таких светлых проявлений воли государь выразил желание сделать распоряжение о наследстве; ему подали бумагу и перо. Дрожавшею рукою он взял перо и стал писать, но из-под пера выходили не слова, а какие-то странные, уродливые и кривые знаки, в которых невозможно было разобрать букв. Потом, уже после его смерти, весь собор высоких персон рассматривал это письмо, толковал значение каждой черточки, соображал и, несмотря на все старания, мог только догадаться, что первые слова в кривых знаках означали: «отдайте все»... Но кому отдать и что это такое, все осталось тайною умирающего. Перо выпало из рук, и государь едва слышно мог только проговорить слова: «Позовите Аннушку».

Призвали Анну Петровну. Отец с любовью взглянул на любимую дочь, но потом закрыл глаза и бессильно опустил курчавую голову на подушку. Начиналась агония. По временам умирающий открывал глаза, в которых видны еще были проблески сознания, но уже не говорил ни слова. Из груди выходили раздирающие стоны и хриплое, прерывистое дыхание. В эти страшные, последние минуты, как и во все время болезни, от постели императора не от-

ходила его Катеринушка, оказывая мелкие, незначашие, но для больного важные услуги.

Точно так же не отходил от одра смерти и Троицкий архимандрит отец Феодосий, напутствовавший в другой мир словами любви и прощения. Заметив агонию, отец Феодосий наклонился над умирающим и тихо спросил, не желает ли он еще раз причаститься Святых Таин и если желает, то изъявил бы свою волю движением руки. Государь, не имевший уже силы двигать членами, с заметным усилием едва мог шевельнуть пальцами. Его снова причастили. С этого момента государь не показывал никаких признаков сознания. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский стал читать отходную. Дыхание переводилось все реже и реже, прерывистее и труднее; моментами по лицу пробегали судорожные движения, но вот и они стихли. Отец Феодосий и государыни склонились к нему с двух сторон, чутко прислушались и приняли последний вздох. Светлейший князь, мимо внука, посадил на престол Катерину Алексеевну.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. До побега .	3
Часть вторая. Побег и смерть	156

ГОСУДАРИ РУСИ ВЕЛИКОЙ

Литературно-художественное издание

Полежаев Петр Васильевич

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Исторический роман

Редактор **Л. М. Исаева**
Художник **Б. Н. Чупрыгин**
Художественный редактор **Н. Б. Егоров**
Технический редактор **Л. Б. Демьянова**
Корректоры **Г. А. Голубкова, Т. Г. Люборец**

ЛРМ № 010006
03.10.1991 г.

ИБ № 6612

Сдано в набор 18.04.94. Подписано к печати 7.07.94. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 17,64.
Усл. кр.-отт 17,85. Уч.-изд. л. 19,22. Тираж 50 000 экз. Заказ № 5134.
С048.

Издательство «Современник»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Факс 941-35-44
Тел. 941-36-69 (приобретение тиража)

Книжная фабрика № 1
Комитета РФ по печати
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

Многотомная серия «Государи Руси Великой» познакомит читателя с наиболее значительными произведениями исторического жанра — как широко известных авторов, так и надолго преданных забвению и теперь открываемых заново. Тысячелетняя история России, от легендарного Рюрика до последнего Романова, предстанет в разнообразии оценок и интерпретаций. Книги сопровождаются справочным аппаратом.

В 1991—1994 годах издательством выпущены романы:

Дмитрия Балашова

«Младший сын», «Отречение»;

Валентина Пикуля

«Фаворит»;

Владислава Бахревского

«Тишайший»;

Валерия Язвицкого

«Иван III— государь всея Руси»;

А. К. Толстого

«Князь Серебряный»;

Антонина Ладинского

«Последний путь Владимира Мономаха»;

Алексея Толстого

«Петр Первый»;

Алексея Югова

«Ратоборцы»;

Всеволода Соловьева

«Юный император», «Касимовская невеста»,

«Капитан гренадерской роты», «Волхвы»,

«Великий розенкрейцер»;

Валентина Костылева

«Иван Грозный»;

Ивана Лажечникова

«Басурман», «Последний Новик», «Ледяной дом»;

Валентина Иванова

«Русь Великая»;

Михаила Волконского

«Мальтийская цепь»,

«Слуга императора Павла»,

«Ищите и найдете»;

Евгения Карновича

«Любовь и корона», «Самозванные дети»;

Дмитрия Мережковского
«Петр и Алексей», «Александр Первый»,
«14 декабря. Николай Первый»;

Григория Данилевского
«Мирович», «Княжна Тараканова»;

Евгения Салиаса де Турнемир
«Петербургское действо»;

Николая Гейнце
«Дочь Великого Петра»;

Льва Жданова
«Стрельцы у трона»;

Сергея Бородин
«Дмитрий Донской»;

Даниила Мордовцева
«Лжедмитрий», «Державный плотник»;

Рафаила Зотова
«Таинственный монах,
или Некоторые черты из жизни Петра I».

В 1994 году издательство предполагает выпустить романы:

Фаддея Булгарина
«Димитрий Самозванец»;

Николая Гейнце
«Коронованный рыцарь»;

Льва Жданова
«Последний фаворит», «Третий Рим»,
«Грозное время», «Смутная пора»;

Даниила Мордовцева
«Великий раскол», «Царь и гетман»,
«Царь Петр и правительница Софья»,
«Поиманы есте Богом и великим государем»;

Михаила Волконского
«Тайна герцога», «Брат герцога»;

Грегора Самарова
«На троне Великого деда. Жизнь и смерть Петра III»;

Петра Полежаева
«Фавор и опала», «Бирон и Волынский»,
«Царевич Алексей Петрович»;

Теодора Мундта
«Император Павел», «Царь Павел»;
Нестора Кукольника
«Иван III, собиратель земли Русской»
Николая Полевого
«Клятва при Гробе Господнем»;
Петра Краснова
«Цареубийцы».

